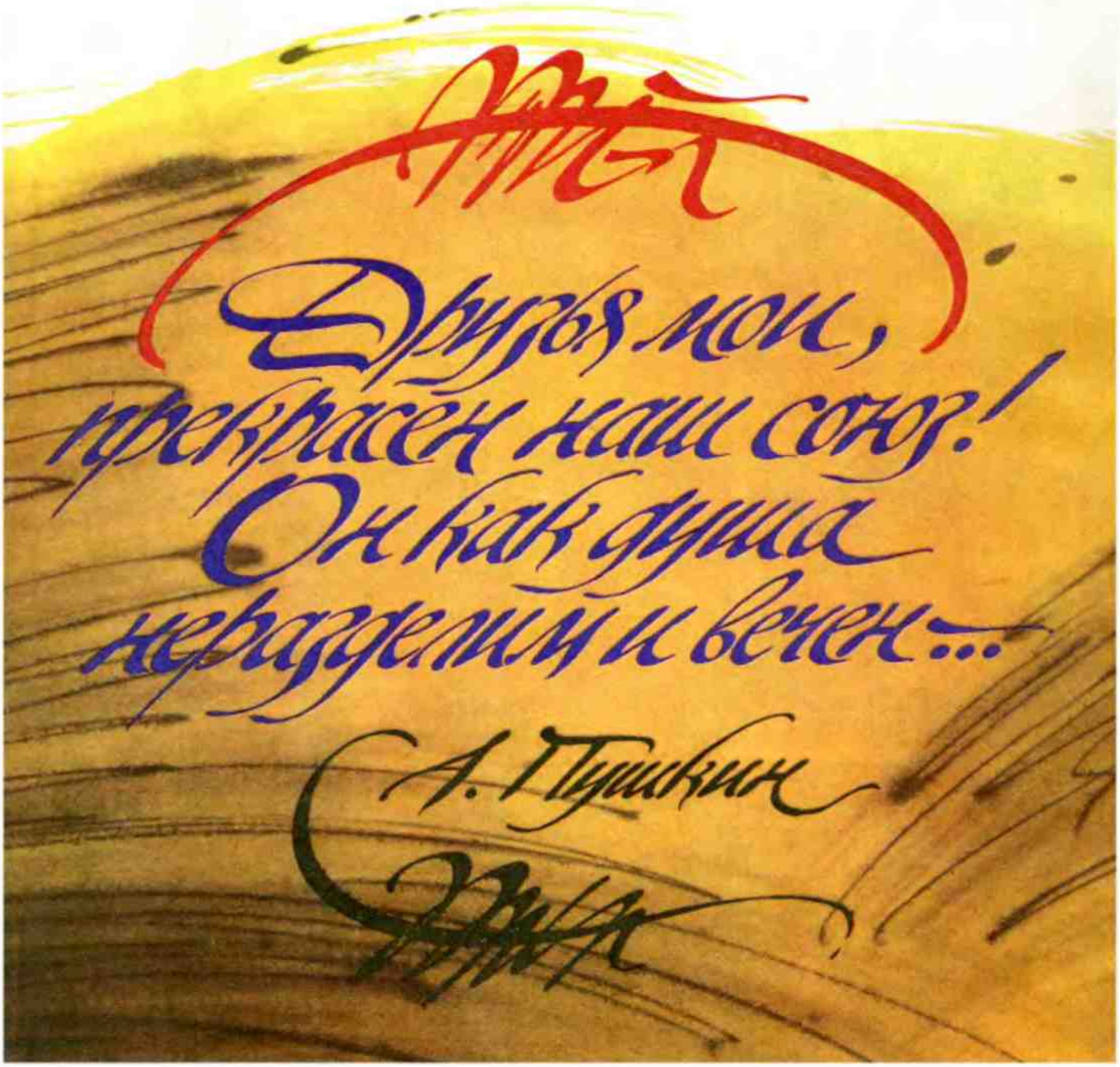
ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

2 '87



Е. МОИСЕЕНКО. Памяти поэта.

ЮНОСТЬ

2 (381) '87

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Мария ОЗЕРОВА
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Анатолий АЛЕКСИН. Добрый гений. Повесть 14
Сергей МИХЕЕНКОВ. Ночь расставаний. Повесть. Окончание 36
Татьяна НАБАТНИКОВА. Рассказы 61

Поэзия

Евгений ВИНОКУРОВ 29
Александр БАЛИН 30
Лев ОЗЕРОВ 31
Кадыр МУРЗАЛИЕВ 31

Публицистика

20-я КОМНАТА
Этого разговора могло не быть 3
Новая старая Москва — это возможно? 5
На красный свет 6
Билет в один конец? 7
Михаил ХРОМАКОВ. Письма из райкома. Окончание 72

Критика

Григорий ПОЖЕНЯН. А был ли Абажуров?!. 71
Алла КИРЕЕВА. Поэзии парное молоко (на анкету автора статьи отвечают А. Вознесенский, Р. Гамзатов, Е. Евтушенко, В. Коротич, Ю. Кузнецов, Б. Окуджава, В. Соколов) 80
Критика и критики 88

Культура и искусство

Елена БОКШИЦКАЯ. Поучительная история 9

Наша публикация

Валентин БЕРЕСТОВ. «И этот юный стих небрежный...» . . . 32

Спорт

Аркадий АРКАНОВ, Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Сюжет с немыслимым прогнозом. Часть 3 89

Зеленый портфель

Андрей КУЧАЕВ. Тяга к отказу 96

© Издательство ЦК КПСС «Правда». «Юность», 1987.

Оформление обложки
В. Фатехова

Главный художник
О. Кокин

Художник
Ю. Цишевский

Технический редактор
О. Трепенок

Адрес редакции: 101524, ГСП.
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Телефоны:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел критики — 251-96-76.
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 08.12.86.
Подп. к печ. 06.01.87.
А 02403.
Формат 60×84¹/₈
Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,63.
Уч.-изд. л. 17,75.
Усл. кр.-отт. 16,74.
Тираж 3 100 000 экз.
Изд. № 350.
Заказ № 4208.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

«Надоели компромиссы: раньше в школе и дома, теперь — на работе. Я придумал усовершенствование, от которого на нашем заводе получили реальный экономэффект более 100 тысяч рублей. Неплохо, правда? Но только никакого вознаграждения я не получил. Дело в том, что еще раньше в нашем цехе оформили ряд рацпредложений, за которые «вознаградили» руководителей. Но экономия, как выяснилось, была только на бумаге.

В принципе дело не в деньгах. Мне 23 года и получаю я достаточно. Но нет-нет и защемит сердце. Не за себя, нет. За других, которые в аналогичной ситуации ломаются. Дело доходит до того, что ребята тайком от администрации завода внедряют придуманное. Почему тайком? Да чтобы не дать чиновникам поставить лишнюю галочку в отчете...

Что же делать? Судиться, доказывать свою правоту? Тратить нервы в обмен на славу сутяжника? Это не для меня. Поэтому прошу ни фамилии, ни города не называть. Только ответьте... Виктор Т.»

Едва мы открыли двери, как сразу явились к нам трудные заботы молодежи, большие серьезные проблемы, которым не так просто уместиться в рамках 20-й комнаты. Сегодня мы обсуждаем: ПУТЬ К ПРИЗНАНИЮ. УРОК РОК-МУЗЫКИ. НОВАЯ СТАРАЯ МОСКВА. ИСПОВЕДЬ НАРКОМАНА.

20-я КОМНАТА

Тревожные проблемы с точки зрения молодежи

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ

ЭТОГО РАЗГОВОРА МОГЛО НЕ БЫТЬ

Что привело меня в «20-ю комнату»? Наверное, то, что на цветных вкладках «Юности» была репродуцирована моя работа. Я живописец. И поэтому буду говорить о том, что тревожит моих товарищей по цеху. Самое страшное, конечно, полная разобщенность. Все копошатся в одиночку, каждый сам за себя. О том, что когда-нибудь можно где-то встретиться, поговорить за самоваром, работы показать, хотя бы просто расставить у стен, мы и не мечтаем. Официальная опека губит все на корню. Любая выставка только через два тура выставкомов. Хотя совершенно непонятно, почему мы не можем показать, что хотим? Почему нам не доверяют? Для встреч у нас на все Молодежное объединение — одна комната. Девять квадратных метров на тысячу человек. И раз в год конференция, где нам говорят, что мы должны делать и чего не должны. А уж прессы для молодого искусствоведа вообще как таковой нет. В «20-й комнате» речь пошла о самом болезненном вопросе—о мастерских для молодых художников... Наши холсты и подрамники валяются на лестничных клетках, работаем мы в невероятных условиях. Когда вижу стоические, вовсе не творческие муки своих товарищей по цеху, одна мысль не оставляет меня: почему так беспечно относимся к человеческому таланту, ведь это та же бесхозяйственность.

РАЗГОВОР № 1 (сон)

— Поздравляю. Теперь вы работник нашего таксопарка. Вот ваше удостоверение.

— Когда можно выходить на работу?

— Да хоть сейчас!

— А машина?

— Да вы что! У нас не все водители первого класса имеют машины. Даже не все заслуженные водители РСФСР. Наташа, сколько у нас очередников?

— В твердом списке сто человек. А в нетвердом четыреста.

— Как же мне быть? Я работать хочу.

— Идите. Работайте.

— На чем? Где взять машину?

— Это не наше дело. Найдите сами... где-нибудь. Отремонтируйте, пройдите техосмотр, получите номера...

— И тогда?

— Может быть, мы разрешим вам на ней работать. Если она окажется не слишком хорошей.

— А не то?

— Отберем. Видите, какой список очередников. И заслуженные есть.

— А как же план? Выручка?

— За план спросим. И строго. Голову снимем. (Здесь пора просыпаться в холодном поту.)

Абсурд? Абсурд. Только не для молодого художника. Того, который еще не «1-го класса», то есть всего лишь член Молодежного объединения. Который совсем как в анекдоте: «Простите, я хотел узнать, имею ли я право?..— Имеете.— Нет, вы не выслушали, я хотел спросить: имею ли я право?..— Я же сказал: имеете.— Значит, я могу?..— Нет, не можете!»

РАЗГОВОР № 2 (монолог)

— Могу я видеть начальника ДЭЗ? Здравствуйте, я художник. Хотел поговорить с вами об аренде пустующего нежилого помещения под творческую мастерс...

В ответ удаляющаяся глухонемая спина (ДЭЗ № 4 Фрунзенского района Москвы).

РАЗГОВОР № 3 (диалог)

— Ведь это просто помойная яма! Я заглянул туда...

— Вы там были?

— Они не могли найти ключ. Как же так, говорят, мы там только что насос ставили откачивать. Неизвестно еще, что откачивать. Представляете?

— Ну, какой-то ремонт, конечно, придется сделать.

— Да, я понимаю. Но дело не в ремонте. Разве там можно работать? Там даже хранить работы нельзя — пропадут. Не может художник, живописец работать в темноте, без естественного света. Если он не халтурщик...

— Мне кажется, вы не имеете права так оскорблять. У нас в районе сто восемьдесят художников имеют мастерские в подвалах. Вы что, хотите, чтобы я выселила квартиру и отдала ее вам? Вы этого хотите?! Да??!

— Нет, я этого не хочу.

— Ну вот, видите.

— Но вы понимаете, что художнику запереться в подземелье — все равно что выколоть себе глаза. Представьте Ван-Гога или Ренуара в подвале...

— Ну, мне кажется, что это дело Худфонда, а не райисполкома...

Стоп. Подведем итоги.

Первое. Молодой художник всегда чувствует себя в роли просителя. Почему? Что он, частник, что ли, извлекающий из «выбитой» дополнительной площади нетрудовые доходы?

Второе. Каждый водитель у нас обеспечивается машиной, каждый рабочий — соответствующим станком, любой вахтер, диспетчер, сторож имеет производственные помещения, то есть буквально все — кроме художников (и, добавим, композиторов, музыкантов). Попробуйте отобрать у строителей их вагончик, где они переодеваются, греются, обедают. Заранее предвижу, что вы услышите в ответ.

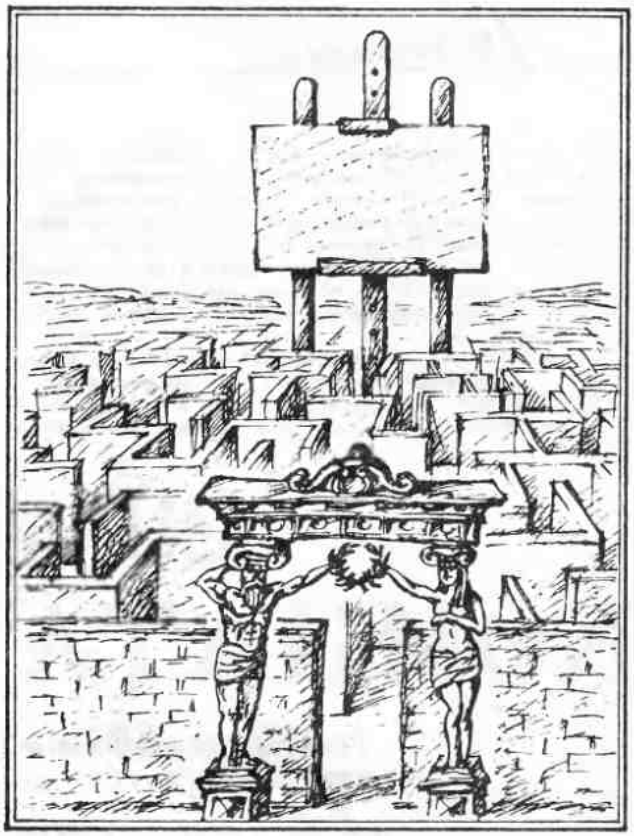
Молодому художнику никто ничего не обязан. Хотел бы я посмотреть на него, когда он попробует что-то себе потребовать — работы или производственного помещения.

Третье. Обучение молодого художника стоит дорого. Очень дорого. Оценивается в кругленькую сумму, достаточную для приобретения автомобиля не самой дешевой марки. По каждой специальности художественные вузы выпускают в год пять-шесть, а то одного-двух художников.

Не слишком ли роскошно не получать отдачи от этих вложенных средств? Не вложить еще немного усилий туда, куда вкладывалось годами в художественной школе, училище, институте? (Я, например, учился тринадцать лет.) Тем более что и вкладывать-то, по сути, ничего не надо. Надо только не запрещать. Только!

Четвертое. Моральные потери еще больнее. Человек, который должен нести обществу красоту, гармонию, эстетику, столкнувшись с подобными неуклюжими проявлениями власти, начинает конфликтовать с обществом в целом.

В результате? Мы получаем то, на что так часто сетуют в статьях и речах о творчестве молодых: социальное равнодушие, аполитичность, уход от острых общественных тем. Те же, кто не уходит от них, делают это обычно из конформистских и конъюнктурных соображений, чем только дискредитируют ту идею, которую эксплуатируют. На выставках все это налицо.



Молодые-де отделываются пейзажиками, натюрмортиками, портретиками. А что нам еще делать, если мы только и можем работать на улице, «на пленэре», так сказать, или в наших комнатках между шкафом и детской кроваткой?

Считаю: каждый художник должен иметь возможность каждое утро выходить вместе со всем трудящимся людом и идти на свою работу, так же, как и все, оставляя дома повседневные заботы и хлопоты.

И, наконец, пятое. Арендой мастерских занимается Художественный фонд. Разговор в нем, заранее могу сказать любому молодому художнику, будет протекать по схеме, обозначенной в вышеизложенном «разговоре № 1»: «Ищите сами, а найдете, захотим — отберем, отдадим художнику из списка очередников». Так что же, выхода нет?

Часто говорят: помещений нет, но ведь это ложь. Помещений пустующих полно: выселенные дома, целые этажи, квартиры, списанные с жилого фонда, простаивают годами. Их столько, что можно даже художникам-живописцам предоставлять помещения с естественным светом, а не подземные казематы.

Разве нельзя в каждом районе организовать из художников свой районный сектор, который объединит усилия и ответственность в ремонте и эксплуатации мастерских? Причем каждый такой сектор должен обязательно участвовать в жизни своего района, в его художественном оформлении и украшении. То есть не только брать, но и отдавать.

Александр ГАНЕЛИН.

«20-я комната», выслушав монолог художника, сочла необходимым подчеркнуть, что все его риторические вопросы — вовсе даже не риторические и адресованы не в пространство, а абсолютно конкретным организациям. В данном случае дирекции выставок при МОСХе, Худфонду РСФСР, Отделу нежилых помещений Мосгорисполкома и Министерству культуры РСФСР. Итак, уважаемые молодые художники, ждите ответа...

НОВАЯ СТАРАЯ МОСКВА — ЭТО ВОЗМОЖНО?

«Здравствуй, «Юность»!

Предложение замечательно! Открыть добровольный фонд реставрации и своими руками помогать спасать архитектурное наследие — это выход из ужасающего положения, которое сложилось с сохранением памятников архитектуры. У нас, в Ленинграде, например, Спас на Крови два десятилетия стоит в лесах, и конца края не видно, хотя молодежь города не раз предлагала помощь. Но столько препон и заслонов бюрократии нужно пройти, что никакого терпения не хватит.

К нам в Ленинград приезжает масса туристов, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры XVII, XVIII и XIX веков. Эти памятники будут привлекать к себе и через пятьдесят, и через сто лет, и больше, пока будет жить наш город. Но наверняка в следующем веке зададут вопрос: «А как же насчет памятников архитектуры века XX? Какое от этого века осталось архитектурное наследие?» И что ж мы, будучи уже стариками, им перечислим? Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове, тюремного вида здание? Или Дворец молодежи на берегу Малой Невки, мало чем отличающийся от многоэтажных жилых домов любого микрорайона? Да и наша театральная студия занимается в Доме культуры, который с фасада можно принять за хранилище.

Много зданий осталось от «веков минувших», перед которыми можно стоять подолгу, потому что это произведения искусства. Архитектура прошлых веков, несмотря на фамилии архитекторов-иноземцев, очень богата особыми национальными чертами. А наша, современная, архитектура до того походит на иноземную, что хоть плачь. Нынешнее рационалистическое нагромождение квадратов и прямоугольников сказкой, конечно же, не назовешь. Особо сильно от этих архитектурных амбиций пострадала Москва. Поэтому предложение москвича Александра Вихрева не только необходимо поддержать, но и открыть счет в сети сберкасс, либо в Госбанке СССР и публично объявить об этом как о счете для реставрации и восстановления древней столицы, старинной Москвы. Даем слово, что как только такой счет будет открыт, незамедлительно внесем свою лепту, ибо за столицу нам очень обидно.

С уважением

Тарас ДРОЗД, руководитель, и участники театра-студии Дома культуры АПО «Красный Выборжец»

«Меня зовут Наташа. Мне 15 лет. Недавно мы всем классом ездили в Ростов. Кстати, без всяких руководителей и договоренностей. Просто пришли на вокзал, купили билеты, сели в электричку и через час вышли в Ростове.

Раньше я очень много слышала об этом городе: что это один из древнейших очагов русской культуры, куда люди приезжают из-за океана специально для того, чтобы посмотреть Ростовский Кремль. Очень волновалась и ждала этой встречи. Но не смогу описать того страшного разочарования, которое испытала, оказавшись там.

Город находится в ужасном состоянии. Имею в виду только старую часть. Пишу это письмо и вспоминаю страшные, истерзанные стены старинных зданий. Сам Кремль нуждается в срочной реставрации, а в Красной палате разместилась гостиница — вы с трудом это себе представите,— но там стоят койки!!! Однажды я слышала, что знаменитые ростовские колокола собираются ликвидировать. Читала о них и знаю, какая это ценность, но не верила слухам. Теперь же, после всего увиденного, готова поверить во все что угодно!

Сейчас подумала: вот пишу это письмо, а в это время где-то рушится чудное творение человеческих рук. Все разрушительные работы надо немедленно остановить! — вот мое предложение, просьба, требование. И поэтому поддерживаю Александра в том, что надо создать Фонд реставрации. И, быть может, не только для Москвы. Когда спрашиваешь взрослых, почему в таком жутком состоянии старые и любимые наши города, ответ обычно прост — нет средств. Да я согласна хоть сейчас уйти из школы, поступить на фабрику и свою зарплату перечислять в фонд Ростова, в Фонд реставрации Москвы. И я уверена — не я одна горю желанием спасти память о прошлом. Мне думается, что в каждом городе должен быть молодежный клуб «Реставратор», как в моем Ярославле, где каждую субботу ребята собираются, чтобы помочь очередному памятнику архитектуры.

Нам в школе часто повторяют, что мы скоро «выйдем в жизнь». Дескать, вручат паспорта, и мы станем гражданами нашей страны. Я думаю, что если бы гражданами отечества становились только в результате вручения паспортов, то мы бы не потеряли столько много из нашей прошлой истории. Все должно происходить раньше. И я рада, что многих моих ровесников волнует то, о чем я пишу вам.

Наташа ДЕРЕВЯНКИНА, ученица 9-го класса Дубровской средней школы».

«Исторический облик Москвы изувечен... Это горькие слова. Ситуация критическая. Если не мы, то кто тогда сохранит остатки старой Москвы для будущих поколений? Важны не только каждый памятник архитектуры в отдельности, а весь неповторимый облик старой Москвы, наполненной особой аурой, помогающей нам помнить о минувших поколениях и ощущать себя в потоке времени. Надо действовать. Мы готовы приложить свои силы. Я — за Фонд.

Алена ЗАЛКИНА, студентка»
Москва.

Таких писем мы прочли на заседании множество. Все — «за». Но как эту инициативу осуществить на деле?

«20-я комната» обращается за консультацией. «Многоуважаемый Государственный банк Советского Союза! Может ли советская молодежь открыть счет в банке для добровольных взносов в Фонд реставрации старой Москвы?»

«Урок рок-музыки»

НА КРАСНЫЙ СВЕТ

Начнем с того, что в рок-музыку мне уж, видно, никогда не врубиться. Возраст не тот, соответственно времени нет слушать занудную музыкальную череду похожих на фиги периодов: субдоминанта-доминанта-тоника; субдоминанта и т. д. (Музыканты меня поймут. Я ведь и для них тоже пишу.)

Но все же и мне есть что сказать о том скандально надоевшем, презираемом членами Союза композиторов явлении, которому название подвернулось — РОК, столь удобное для эффектного жонглирования: рок, мол, судьба, никуда от нас не денетесь, и не вздумайте открещиваться... А вышеназванное творческое объединение музыкантов они, ударом на удар, именуют «Союзом по борьбе с композиторами».

Откреститься и не удастся. Правда, по причинам не столь мистическим, сколь сугубо реалистическим.

Во-первых, к рок-музыке тяготеет большая (если не бóльшая) часть молодежи. С этим уже не поспоришь.

Во-вторых...

Живу я рядом с редакцией — в самом центре Москвы. Каждую неделю, ближе к воскресенью, начиная эдак с пятницы, наблюдаю в своем районе передвижение целой армии явно нездешних людей, накупающих в столичных магазинах сыру, мяса, колбасы...

Мы же тем временем беззастенчиво подпеваем даме, истлевающей от псевдоинтеллигентной любви к маэстро. Полноте, про наших ли это женщин? А бедолага-художник, что, знать, намаялся со своим миллионом алых роз для аллоподобной — про наших ли это мужчин? Им бы, как говорится, его заботы. Да по розочке для нас к Восьмому марта в придачу.

Однако про дефицит товаров петь у нас с эстрады не принято. Не рифмуется как-то. (Хотя Швейк живо сыскал бы рифму.) То ли дело «до второго — в Комарово» — эта побила все рекорды беспечности и «заразности».

У нас — не принято.

У них — принято. У рок-музыкантов мало кто подается в филармонии (да и не особенно берут-то). Они утверждают, что работают из убеждения более, чем за деньги, и с филармонической рутиной рядом им делать нечего. А ей, бедной, никакими силами не переварить жаргона даже самой безобидной из их песен, даром что большинство из нас говорит именно на нем. Сразу заметим: рок-группы категорически отмежевываются от так называемой эстрады, причисляя себя скорее к фольклору (над этим стоит задуматься особо). Не путайте нас, неизменно подчеркивают они, с Пугачевой и Леонтьевым, тем более Лещенко, Антоновым или «Землянами». Горько, в привычном своем отчаянии они уже подтрунивают над «Машиной времени», «Браво», Юрием Лозой, пошедшими на определенный компромисс и, кажется, получающими в настоящий момент официальное признание.

Как же так?

Мы требовали от своей эстрады злободневности, ангажированности, гражданской позиции. Обвиняли молодежь, которую считали пассивным потребителем ее бездумной продукции, в равнодушии, цинизме, отрыве от жизни и «уходе в рок».

И не заметили: а ведь это она первой практическим образом воспротивилась потоку откровенной пошлости. Первой откликнулась на все наши худо-бедно маскируемые недостатки. Те самые молодые люди, от которых мы шарахаемся на улицах. Вот так парадокс!

Не больший, чем ошеломительно быстрое официальное признание Высоцкого.

Рок — это настоятельный упрек. Тяжко сознавать, что и тут мы концы упустили. Клеймят пока по-прежнему: примитивна она, эта их рок-музыка. Рок-культура. Ну, не культура, а, скажем мягче, стиль.

Стиль — это особый мир. Принял стиль — живи в добровольно избранном тобою мире, соблюдая все его правила и выверты, которые — наперекор всему — отныне да будут для тебя обычны... Думаете, они не замечают, как косятся «нормальные» люди на их бритые головы и косички, на черные мужские пиджаки с чужого плеча у девчонок и одинокую серьгу в ухе мальчишек? Но они сказали себе и друг другу: это нас не должно смущать. Наглость? А как тогда быть со стихами гениального романтика Виктора Гюго: «Пусть рухнет мир — его крушенье меня убьет, но не смутит»?

Мы для многого нашли в себе силы в последнее время, не так ли? По существу, наверстываем упущенное. Иные из нас и не подозревали, что могут быть такими прямыми, честными, непьющими...

Найдите же еще немного сил и терпения прислушаться к рок-музыке. Среди гуляющих по рукам магнитофонных пленок отловите цикл (мини-оперу? композицию?) «Периферия» уфимской группы ДДТ.

Кто слышал, сразу вспомнит начало.

— Простите,— ерничает с затертой пленки дурачащийся голосочек,— а вы мне не подскажете, что это за город там, на горе?..

Жизнь провинциального «города там, на горе» глазами поэта и композитора Юрия Шевчука заставляет вспомнить страницы Салтыкова-Щедрина, «Город Градов» Платонова, если не горше...

«Заборы, улицы, дома. Кино опять не привезли. Вчера завклуб сошел с ума от безысходнейшей тоски».

А вот то, что стреляет прямо в сердце (о, женщины наши, мученицы, из «экскурсионных» автобусов!) — телефонный диалог Периферии с Центром (идущий под шаманский фон ударных):

— Центр? Говорит Периферия! Алло, Центр? У нас все нормально... Высылаем триста вагонов баранины. Триста... Алло... Диктую по буквам...

— Алло, Периферия? Центр. Вас поняли, ждем... Высылаем вам два вагона сапог, повторяю по буквам — два...

С такими текстами группе ДДТ трудно приходилось и по сей день приходится. Это вам не «Вокруг смеха» — похихикали в кругу семьи и пошли себе со спокойной совестью баиньки.

У рок-музыкантов иной тон. Сейчас он нам ближе. Хватит, нахихикались уж...

Вот еще одна песня Шевчука — «Мальчики-мажоры».

Требуется перевод: этим особым термином именуются дети родителей, имеющих шмотки, связи, стенки, видео и пр., и требующие от рок-музыки лишь развлекательности, т. е. самой незатейливой, поверхностной, примитивно-животной ее функции.

«Откройте рты, сорвите уборы.
На папиных «Волгах» едут мальчики-мажоры...
А те, кто уже подрос немного,
Лепят фильмы о счастливом быте,
Варят статьи о прямых дорогах.
Или открывают дверцы в МИДе».

Не об этом ли читали мы в газетах недавно, на исходе года восемьдесят шестого? А песня, заметим, сложена в восемьдесят четвертом.

Вот и давайте подумаем вместе: имеем ли мы, взывающие к гласности, право в очередной раз проигнорировать эти голоса?

Ведь пока мы под приятный шорох аплодисментов разбирались, кто такой Вераоко и как может в обход ГАИ бессменно светить зеленый свет, рок-музыка отчаянно сигналила красным. Вот она куда пришлась, эта тревожная часть светофора! А мы словно гуляли на веселой переменке. Ну, еще недельку, ну, до второго...

Может, черт с ним, иностранным названием, ближе они все-таки к Высоцкому, чем к Пресли. Да, мы заимствовали яркую, привлекательную для молодежи форму, не в бункере живем. Но тем и сильны, что всегда находятся у нас таланты, которые и новое освоят, и добавят своего. Кажется, клубок парадоксов как раз и порождаем тем, что группы, идущие на компромисс с филармониями, чуть притупляют остроту, чуть подливают развлекательности, чуть поддают пошленького жару. Тем самым возвращаются к западному «оригиналу». Но что делать, если кого-то больше устраивает бездумность, беззубость, беспринципность — та самая пошлость, которая именно и навязывается нам с Запада. А ведь мы действительно давно переросли рамки заимствованной формы. Пора перехватывать инициативу. А если чужое слово РОК кого-то коробит, пусть придумает новое и пользуется им в свое удовольствие.

Еще со школы известно любому — все переменки когда-нибудь кончаются.

Пора за дело. Пора разобраться. Пора назвать все своими именами. Диктую по буквам: Правда, Откровенность, Решительность, Атака —

на все что мешает нам жить
в достатке, но честно,
по строгости, но не в унынии.

Кажется, это всем должно быть понятно — и Центру, и Периферии.

Молодежь поет:

«Я уже устал молчать,
Мне необходим контакт». (Группа «Урфин Джюс», 1984 год.)

Однако мы — и к ней, и от нее — всё как-то боком, боком...

А лицом не пора ли?

Наталья ЗИМЯНИНА

«20-я комната» повторяет свои вопросы, заданные на первом заседании:

КАКУЮ СОВЕТСКУЮ РОК-ГРУППУ ТЫ СЧИТАЕШЬ ЛУЧШЕЙ?

С КЕМ ИЗ РОК-МУЗЫКАНТОВ ТЫ ХОЧЕШЬ ВСТРЕТИТЬСЯ В «20-й КОМНАТЕ»?

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ?

Эти записки, отрывочные, неполные, без хронологии, не похожи ни на один дневник. В них много страшного, болезненного, злого и почти нет света. Семь лет из неполных двадцати пяти автор этих записок был наркоманом. Случались, конечно, и перерывы, которые трудно назвать просветлением: больницы, суд, принудительное лечение. Безжалостны и трагичны были эти годы для Олега Т. Духовная деградация, крушение надежд, зыбкое будущее — таковы итоги.

Прийти к нам в «20-ю комнату» он согласился сразу. Почему? Он и сам до конца не знает. Но прежде всего, как он объяснил, подкупала возможность поговорить о том, что занимало его все последние месяцы. Он делал очередную попытку разобраться в себе, пусть даже с чьей-то помощью. Иначе он никогда не пришел бы и не позволил заглянуть в свои записки. И в этом поступке виделась смутная надежда на будущее.

«...Я никому не звоню, и мой телефон молчит. Никому до меня нет дела. Кроме участкового и врача из диспансера. В милиции взяли подписку, что в течение месяца я трудоустроюсь. То есть бюро по трудоустройству поможет мне обрести социальный статус. Глупость! Зачем все это?

Зачем? Для чего мы живем? Для чего живу я? Для кого? Дайте мне ответ! Ну, хоть кто-нибудь, дайте мне ответ, и все станет на свои места. И тогда мне не будет уже нужно это. Но все вокруг жуют пустые слова. Скука! Не верю. И долго думаю сам: для чего живу я? Забрел в такие дебри и блуждаю, блуждаю в них. Хожу себе потихонечку, уж и забыл, куда иду, зачем иду. Легкий такой ветерок у меня в голове, овевает меня, принося облегчение и забвение. Сон.

Однажды ночью мне объяснили, для кого я живу. Это была красивая ночь... Она длилась несколько месяцев. И лучше бы не кончалась. Но деньги кончаются быстро, а дозы еще быстрее. И мне сказали затем: «Гуляй, мальчик, гуляй дальше». И я гуляю.

Есть у меня подруга — моя собака. Но даже о ней я временами забываю. От скуки. Я скучаю. Мне нравится скучать. Скука раскрепощает. Можно махнуть рукой на себя и на других. Никакой ответственности ни перед кем. Хорошо. И легко. Я иглой иногда не попадаю в вену. Это плохо.

Я безответственный. Бездарный, глупый, тупой, никчемный... А ведь раньше писал рассказы, стихи, играл. Рисовал! Ничего не осталось. Вот только эти красные маки на стене моей комнаты. Да не делайте вы кислых мин, возмущенно удивленных физиономий! Успокойтесь! Я не типичный... Я родился зимой. Простуда — мой вечный спутник. Ангина — моя мать. Незабываемые воспоминания детства. Больницы, бе-

лые палаты, халаты, плач детей. И синие сугробы за окном. Недоступные. Запах карболки. Пенициллин. Аллергия. Хочу домой, к маме. В детстве я о многом мечтал. И только о хорошем... Не надо тосковать и звать на помощь, если ты заблудился.

Попил крепкого чаю и вспомнил, как однажды ночью сошел с подмосковной электрички и, перейдя пути, направился к манящей цели. Вот и деревня. Собаки лают, луна светит, сеном пахнет, а за забором — маки! Они! Мама родная! Псы заливаются, не подпускают. А на дороге растут бесхозные, одинокие — все мое! Развел костерчик, поколдовал и... поехали! Берите меня!

Да что ты тут живописуешь? Давай, расскажи лучше про «принудку», про бред, кошмары, «ломку». Про то, как «просто» вскрыть себе вены и... перевязать чуть погодя, ведь умирать-то не хочется. А Майкл тоже жить хотел, но перерезал и умер. Потому что все вокруг держали кайф. И никому дела не было, что рядом кто-то...

Жизнь полна ассоциаций: скажешь одно, подумав о другом, а вспомнишь третье. Больницу, кафельный пол, товарищей по несчастью. Леху, клянчившего укол. Графа, вечно плачущего о маме и доме. Ангела, что постоянно «стрелял» сигареты и потом раздавал их насильно. Витьку, в прошлом талантливого художника, а теперь — жильца вечной койки в пятой загородной. Вдруг и я таким же стану? Нет, не хочу, нет!

Нет? Ха-ха-ха! Ты уже почти такой, как они. Музыкант с синей наколкой, где твой свободный полет? Да ты и ноты уже забыл и слой пыли на твоем пианино.

Никто меня не завлекал, как говорит мама. Никто не втягивал. Я сам... Месяц употреблял, не понимая, что «подсел». Как будто легкая простуда, не более. А дальше все полетело, покатилось, не остановишь. Головная боль, губы сухие, бессонница, ни одно снотворное не помогает. Ни лежать, ни стоять — тяжко. И вот сидишь целую ночь, телефонный диск накручиваешь. Отказ, отказ, отказ... А потом повезет, выручит кто-то, чтобы в следующий раз ты выручил его. Закон.

Первое время мы книги обсуждали, в кино ходили, на выставки, музыку слушали. Постепенно все изменилось. Единственное, о чем мы говорили, так только о наркотиках. Другое в голову не лезло. Музыка теперь была фоном. Потом раздражать начала. Если раньше мы употребляли наркотики, чтобы «поторчать», «покайфовать», то теперь — чтобы успокоиться, прийти в себя. А надо было доставать все больше и больше. Это тоже как простуда, но теперь уж сильная, с ломотой в суставах, температурой.

Любовь?.. Была и любовь. Целый год. Я хотел семейной жизни. Не вышло. Вместе боролись, хотели бросить. Но когда двое слепых ищут дорогу, не увидеть свет. При любом стрессе мы обращались к этому проклятому средству, надежному, как первый лед...

Мне снится сон, навязчивый и жуткий. Будто сидим мы с Артистом у него в кухне и он умоляет меня сделать ему укол. И не могу я отыскать вену. И не то чтобы рука у меня дрожала. Только у Артиста ни одного живого места, вены все исколотые, кожа воспаленная. Час, два мучаюсь. Не выходит. И так всю ночь. Чертыхаюсь со злости. И ведь отлично знаю, что не сон это вовсе, а так все и было. Артист обеспечил себе вечную койку в психбольнице и навещает меня по ночам.

Моя совесть чиста. Я никого не втянул в это. Никого не обворовал и тем более не убил. Да и вообще наркоман не способен на убийство. Сил не хватит. На кражу — да, может пойти. Комфорт наш стоит денег, больших денег.

Два месяца, как я вышел из больницы. Я с удовольствием гуляю с собакой. Устраиваюсь на работу. Не думаю о наркотиках. Начать бы жить сначала... Но поручиться за себя не могу. Наркотики умеют выжидать. А потом снова они начнут пожирать мою жизнь. Наверное, это как билет в один конец. Хоть бы нашлась одна живая душа, которая помогла бы мне выкарабкаться, выбраться из этого тупика. Никому не звоню, и мой телефон молчит. Никому до меня нет дела. Кроме участкового и врача из диспансера. Подписку о трудоустройстве дал. Но зачем все это? Зачем? Не вижу смысла!»

На последней странице строчка «Продолжение следует». Он усмехается: «Это я так написал. Продолжения не будет. Надеюсь...»

Нам тоже хотелось надеяться, хотелось помочь этому человеку. Треть жизни у него зачеркнута. Две трети впереди. Хотя, наверное, впереди гораздо меньше. Медицинская статистика безжалостна — наркоманы умирают рано. Но, может, еще удастся удержать человека, выправить на жизненном пути, чтобы эти странички дневника показались ему давним и страшным кошмаром. Но как помочь ему? Чем? Разве им не занимались врачи и милиция? Разве родные ему люди не пытались возвратить его? Что сейчас сможет вывести его из состояния шаткого равновесия: «Будет — не будет продолжения?»

Елена СВЕТЛОВА.

ПОСОВЕТУЙТЕ

Когда мы уже подготовили этот выпуск, пришло письмо с пометкой «Срочно!» на конверте:

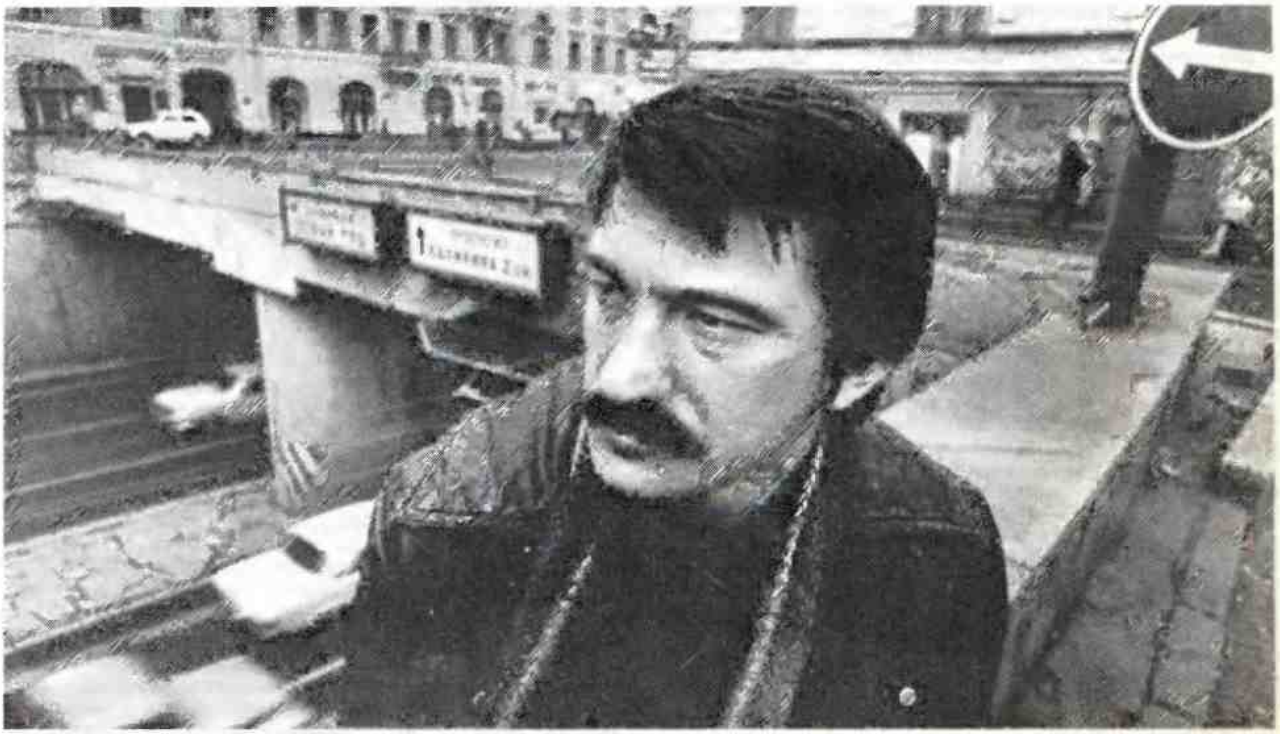
«Здравствуй, «20-я комната»! Помоги услышать мнение моих сверстников. Мне 17 лет. Дело в том, что до недавнего времени ко мне неплохо относились в классе. Но вот из-за границы приехали мои родители. Они привезли мне очень много фирменных вещей: дубленку, полусапожки, норковые шапки, куртки, итальянскую музыкальную установку. Перечисляю не для того, чтобы похвастаться, а просто люди были два года за границей, почему бы все это и не купить? Но мои одноклассники, видимо, этого не хотят понять. Они мне ужасно завидуют и даже некоторые презирают. А одна учительница обозвала меня мещанкой, только лишь потому, что у меня есть норковая шапка и сапожки на липучках, а у ее дочери нет.

Пошла на дискотеку — пригласил красивый модный парень танцевать, а мои одноклассницы так потом на меня смотрели, будто я у них что-то украла. Ну, а я-то не виновата, что он на них внимания не обратил. Что ж мне теперь, не носить эти вещи, а одеваться в старье ради них? Но ведь эти вещи честно заработаны. Тем более что наряды я не считаю главным в жизни, но раз мне купили, я-то должна их носить? Как мне снова завоевать уважение подруг? Посоветуйте.

Татьяна ЛЕОНОВА,
Донецкая область».

Ваши письма мы перешлем Тане в город Иловайск, где она живет, пусть размышляет над ними, а самые замечательные строки из них опубликуем у нас в «20-й комнате».

В конце заседания художник Михаил Златковский, оформлявший выпуск, преподнес нам ключ. «Почему такой?» — удивились мы. «Разве непонятно? — спросил он.— «20-я комната» должна каждому помочь открыть себя». И мы согласились с этой концепцией.



Елена
БОКШИЦКАЯ

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СТУДЕНТА ВГИКа, А ВПОСЛЕДСТВИИ КИНОРЕЖИССЕРА ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА

Фото Л. Шимановича

Среди молодых режиссеров «Ленфильма» есть один, о ком, можно сказать без преувеличения, ходят легенды. Его фильмам не посчастливилось быть в прокате, и тем не менее без вопроса о нем не обходится ни один разговор о новом поколении ленфильмовской режиссуры и между кинематографистами, и на встречах со зрителями. Кто-то что-то видел, кто-то слышал. Говорят, его документальные фильмы сделаны точной и уверенной рукой — парадоксальные, умные и очень художественные. Его игровые картины... по крайней мере настолько неожиданны и ни на что не похожи, что оставляют степень свободы мнений, колеблющейся от решительного «гениально» до не менее непреклонного «бред» (в промежутке — корректное: «непонятно, но интересно»). Все — и самые преданные поклонники, и самые злоязычные скептики — сходятся в конце концов на том, что в чем-чем, а в бездарности Александра Сокурова не упрекнешь.

Легенды всегда возникают от недостатка информации. Между тем вот уже шесть лет как Сокуров, окончив ВГИК, работает рядом и вместе с нами на студии — сидит в монтажной и тонателье и не сидит в кафе. Не то чтобы ему не нравилось выпить чашку кофе, скорее он избегает, увы, столь привычных нам пустопорожних разговоров за чашкой кофе: в свои тридцать четыре года Сокуров дорожит временем с завидной трезвостью. Он торопится работать...

Из ленфильмовской многотиражной газеты «Кадр», 7.VIII.1986 г

Сокуров. Я пришел во ВГИК, имея за плечами шесть с половиной лет работы на телевидении. Набор в том — семьдесят пятом — году был специализированный, ленинградский, а я приехал из Горького и был к тому же человеком с телевидения, что тоже снижало мои шансы. К тем, кто хоть что-то уже умеет, многие Мастера на режиссерском факультете относились настороженно. Наше профессиональное образование — штучная работа, а работать с каждым

студентом в отдельности в институте не принято. Вся система организации учебного процесса рассчитана на безликую толпу.

Но меня все же зачислили в мастерскую Александра Михайловича Згуриди. Правда, научно-популярное кино как сложившийся жанр никогда не интересовало меня, как не интересует ни чисто игровое кино, ни чисто документальное. Есть кинематограф. И он неразделим для меня.

О моих отношениях с Мастером... Когда после защиты диплома я оказался «на свободе», Александр Михайлович пригласил меня в Дом кино, и мы вместе обедали в ресторане. Я впервые был в этом ресторане. И он мне там сказал: «Вот убей меня бог, я не знаю, зачем я тогда тебя взял». Так прямо и сказал... Но за все время обучения я ни разу не слышал от него слова «нет». По существу, я мог делать все, что хотел. Ему не нравились мои учебные работы, я знал, но ни разу не слышал от него: «Не разрешаю». Все, что он видел в моих фильмах, не имело к нему никакого отношения, но он обладает интуицией и свойством интеллигентного человека: никогда не оскорбит, не унизит ученика. Хотя я сплошь и рядом видел, как поступали со студентами другие Мастера. Они давили ребят какой-то доморощенной своей философией, не давали делать ничего, что не совпадало с их представлениями. Наверное, многим из них вообще нельзя было доверять режиссерские мастерские — к ним попадали способные люди и ломались творчески. Я, прямо скажем, находился в каком-то привилегированном положении: вроде бы учился, но в то же время чувствовал себя совершенно свободным. Могу сказать со всей ответственностью — профессионально я из ВГИКа ничего не вынес. И если бы за эти годы не сделал ряд фильмов на телевидении — летом, у себя в Горьком,— то вышел бы из ВГИКа совершенно пустым.

Во ВГИКе есть замечательные педагоги, но только не по профессиональным дисциплинам (тут бы я выделил лишь Полину Ивановну Лобачевскую, которая вела в мастерской Згуриди мастерство игрового кино). Я помню лекции Владимира Яковлевича Бахмутского по зарубежной литературе, Ливии Александровны Звонниковой — по русской, Мераба Константиновича Мамардашвили по истории философии, Паолы Дмитриевны Волковой по западному изобразительному искусству — и это не просто продолжало мое университетское образование (я окончил истфак Горьковского университета), но и побуждало к качественно новому анализу литературных произведений, рождало интерес к структуральным проблемам. С этими педагогами мы вели откровенные разговоры на самые сложные темы, наше доверие к ним, а их — к нам, было безгранично. Эти лекторы были верны славным традициям русской высшей школы.

Бокшицкая. Мы с Сокуровым учились в одном институте, правда, с разницей в десятилетие — я поступила во ВГИК в шестьдесят пятом шестнадцатилетней девочкой. Середина шестидесятых... По институтским коридорам ходили Ромм, Кулешов, Кармен, Герасимов, Бабочкин... Их окружали студенты и абитуриенты, запросто вступали с ними в спор. Мастера «дрались» за таланты: случалось, прошедшие экзамены по специальности сыпались на сочинении или истории, но Мастера отбивали, доказывая, что именно «в нем» или «в ней» есть нечто свежее, неординарное, требовали зачисления. Наше вгиковское время было плодотворным: курс за курсом выходили в большое кино Никита Михалков, Сергей Соловьев, Ираклий Квирикадзе... Часто приходили недавние выпускники и показывали нам свои дипломы. Это были зрелые работы, снятые на киностудиях: Элем Климов защищался фильмом «Добро пожаловать», Андрон Кончаловский — «Первым учителем», Лариса Шепитько — «Зноем». Помню страстную публицистическую ленту Отара Иоселиани «Чугун»... С раннего утра до позднего вечера велись яростные споры об искусстве, были посиделки в актерских аудиториях и выезды на съемки учебных работ, в которых мы все снимались...

Сокуров. А нам вместо эстетических оценок предлагались псевдополитические. Просмотры, например, начало начал нашего обучения. Студенты ВГИКа и по сей день изолированы от современного кинопроцесса, зарубежных фильмов практически не видят. Какие-то периоды, скажем, до 1935 года, представлены в фильмотеке, а многие другие фильмы, в том числе современные, полностью отсутствуют. Почему? Мы слышали обвинения их авторов в формализме. А что такое режиссура? Это и организация пространства, организация материала. Но всякие попытки мыслить в этом направлении, интересоваться фильмами, где сконцентрированы результаты современного кинопроцесса, встречали демагогический отпор. Поиски формы решения того или иного эстетического замысла просто запрещались. Такой пропасти между ректоратом и студентами не было, по-моему, и нет ни в каком другом московском вузе.

Во ВГИКе культивируется мысль, что это — лучшее в мире высшее учебное заведение, готовящее специалистов для кинематографа. На самом-то деле гордиться нечем. Я был в Берлинской киношколе. Она тоже дает высшее образование, и там главное — это научить профессии. Разговаривал со студентом Лондонской высшей киношколы. И там все направлено на то, чтобы формировать профессиональные навыки. Сегодня в мире основой, главным тренажером для формирования этих хотя бы начальных навыков, является телевизионный комплекс, телепульт, на котором режиссер учится работать сразу с четырьмя-пятью операторами. А многие выпускники ВГИКа не то что с четырьмя, с одним оператором не могут работать.

В ректорате, помню, лицемерно удивлялись: откуда у нас, в таком институте, пьянство? Да от страха, что будет завтра, если день за днем растрачивается на слушание бездарных лекций. С этой болезнью многие приходили в большое кино и погибали там окончательно.

Бокшицкая. Помню, как то ли на первом, то ли на втором курсе пронесся слух: во ВГИК едут картины Пазолини. Просмотры разрешали с семи утра, чтобы к девяти успеть на занятия. Зал был набит битком. Смотрели жадно. Сколько разговоров, споров возникало после таких просмотров, как спешили в библиотеку, занимая друг другу места...

А сегодняшние студенты-киноведы рассказывают, что руководитель одной из мастерских, доцент Н. П. Туманова, сразу же, на первом курсе, заявила своим ученикам: никакими проблемами киноэстетики она заниматься с ними не будет... Педагог с многолетним стажем И. И. Трутко, работая над учебником по истории зарубежного кино, без зазрения совести использовала для одной из глав курсовую работу своей студентки, списавшей ее, в свою очередь, из статьи известного специалиста по венгерскому кино А. С. Трошина. Об этой истории знают все. Какую же оценку она получила на кафедре, в ректорате? Учебник издан большим тиражом, и студенты продолжают сдавать по нему экзамены той же Трутко...

Один из вновь избранных руководителей Союза кинематографистов, кинодраматург Евгений Григорьев, сложившуюся во ВГИКе ситуацию оценивает так: «Вопрос взаимоотношений студента и педагога — это вопрос культуры общества, связи времен. Мастер должен относиться к первокурснику как к младшему товарищу, быть с ним на равных».

Сокуров. Мы пытались бороться за свои права. Последние два года я избирался комсоргом постановочного факультета. И у меня были постоянные столкновения с руководством института по вопросам не только творческим. Мы добились, что ни одного студента не снимали со стипендии без нашего ведома, это была серьезная победа. Жили мы (я имею в виду простых иногородних студентов, а не детей титулованных особ, которые подъезжали к институту на отцовских персональных машинах) в совершенно

кошмарных условиях — в старом общежитии на Яузе, описать его невозможно. Подошел тот самый критический момент, когда сконцентрировались все самые гнусные пороки такого общежития — пьянство и прочее. Постоянно шла речь о строительстве нового общежития. Мы добивались снятия проректора по хозяйственной части, который впоследствии был-таки снят за полный хозяйственный развал. Пытались взять под свой контроль вгиковские фестивали: при спекулятивных оценках творческой деятельности студента именно безликие работы получали пятерки и выставлялись на фестивали. А взывать было не к кому. Помню свои обращения к ведущим вгиковским Мастерам, крупным деятелям кино, но это не помогло. Для того, чтобы навести порядок в институте, надо было, чтобы тот же Бондарчук и тот же Кулиджанов однажды на все это взглянули по-граждански. Но вокруг них существовал созданный администрацией вакуум, их отодвигали от всех более или менее конкретных проблем. Это еще раз показывает, как бесконечно далеко стоит ректорат от студентов, от их живых, насущных проблем.

Нам удавалось мало. Трудно бороться с администрацией, которую поддерживают народные артисты, лауреаты высоких премий. Одно дело — бороться с единичным бюрократом, другое — с целым кланом. Мы постоянно наталкивались на самые крайние реакции. Мы организовали, к примеру, выставку работ студента-режиссера, который делал великолепные иллюстрации к стихам Ахматовой и Мандельштама. Так вот, известный человек, профессор, руководитель операторской кафедры устроил страшный скандал: как, на стенах ВГИКа — такое! Тот же профессор настоял, чтобы операторам отменили курс литературы — и отечественной, и зарубежной. На операторский факультет часто брали ребят, хорошо знавших наименования проявителей и названия объективов, одаренность во внимание редко принималась. Так им ко всему прочему не читали и литературу... А выставку нашу, естественно, сняли.

Выступая на собраниях или в ректорате, я постоянно говорил, что мы — поколение, которое уйдет из ВГИКа, не поминая его ни единым хорошим словом. Мы, наш поток, говорили это тогда, в семидесятые годы, совершенно открыто.

Бокшицкая. Лишь на пятом Всесоюзном съезде кинематографистов — съезде поистине революционном! — где был дан бой серости, инерции, безнравственности, коррупции, захлестнувшим наш кинематограф, с высокой трибуны возник открытый разговор и о том, что же творится во ВГИКе. И проблемам ВГИКа было посвящено одно из первых заседаний нового секретариата. Я уже приводила оценку Евгения Григорьева, высказанную на этом заседании, а теперь процитирую Ролана Быкова: «Кого конкретно благословляет ВГИК, если безликие и жуткие работы получили пятерки... И эти плохие работы популяризируются, а хорошие замалчиваются, и их боятся, их даже не выпускают оттуда. Если такие картины получают пятерки и показываются на фестивалях, то это значит, что воспитывается не мировоззренческая зрелость, а приспособленческая, воспитывается не идейная марксистско-ленинская точка зрения, а обывательская. Нам нужны принципиальные художники, а не безразличные ремесленники».

Сокуров. Лишь гнев, раздражение вызывало у руководства института наше требование полностью перестроить учебный процесс. Особенно острые столкновения были с кафедрой общественных наук. Я предлагал, например, создать принципиально новую идеологическую дисциплину для творческого вуза, которая объединила бы историю партии, диалектический и исторический материализм, политэкономию социализма и капитализма, эстетику. Этот синтез, на мой взгляд, мог бы дать целостное марксистское представление о социальной, исторической, философской картине мира, пробудить творческий интерес к общественным дисциплинам, по-настоящему завлечь каждого из нас уже на студенческой скамье в сферу высоких гуманитарных проблем. Но кто из вгиковских педагогов мог читать такой курс? И даже обсуждать мое предложение поэтому никто не хотел.

Студенты неоднократно обращались ко мне как к комсоргу: «Что делать? У нас Мастера не было уже несколько месяцев!» Вот к чему приводила система сановных Мастеров, которые постоянно были заняты более важными, как нам объясняли, государственными делами, представляли наше кино, выезжая за рубеж... Нам рассказывали как легенду, что Михаил Ильич Ромм так вникал в каждого своего студента, что даже составлял индивидуальный список литературы, которую тот обязательно должен был прочесть. А наша пагубная атмосфера на моих глазах породила целый ряд личных трагедий. Каково было способному человеку, оставившему свою былую профессию (а в нашу мастерскую пришли, например, биолог, музыкант, юрист), осознать, что ожидания обмануты...

Моя вгиковская жизнь складывалась конфликтно, но, окажись я более «умным», никогда и ничто в кино бы уже не сделал. Во ВГИКе, убежден, я одержал единственную, но самую главную победу — над собой.

Бокшицкая. Еще одна оценка того, что случилось во ВГИКе, принадлежит студенту пятого курса киноведческого факультета Олегу Сидорову: «Возникает ли какое-нибудь общение у педагогов со студентами? Я думаю — нет. Они не задаются вопросом, что это за индивидуальности, кто учится? К нам подходят как к коробке карандашей, которые надо заточить и по одному выпустить».

Сокуров. Диплом я решил делать по рассказу Андрея Платонова «Река Потудань». Назвал фильм «Одинокий голос человека». Деньги мне были отпущены на двухчастевую картину, но я понимал, что в короткий метраж не влезу, и организовал производство таким образом, что на эти деньги снял девять частей. Часть фильма снимал на учебной студии, но в основном — на горьковском телевидении. Я поехал в Горьковскую область — знал там места, где снимать. Организовал все на чистом энтузиазме, потому что студенческая работа — это нищая работа, нет практически никакой финансовой поддержки.

Когда я привез картину в институт, начался крупный конфликт. Сначала ее вообще отказывались смотреть, мотивируя это тем, что она вышла из метража. Затем все-таки посмотрели и выразили общее мнение, к которому не присоединился лишь Згуриди: это формализм, нечто снятое в духе русской дореволюционной философии, и вообще картину нельзя рассматривать как учебную работу. Скандал разрастался, картину решили смыть, так бы и случилось, если бы ночью мне не удалось подменить негатив позитивом. Не сделай я этого, девятичастевого платоновского фильма не было бы. Но они думали, что смыли ее, и позже, когда Сергей Соловьев хотел обо всем этом написать в «Литературную газету», ему объяснили, что проверяющий редактор позвонил во ВГИК, и там сказали, что ни такого студента, ни такой картины у них нет. А я, ища выход, сдал экзамены экстерном и защитился картинами, сделанными еще до ВГИКа. В результате окончил его за четыре года, проучившись на год меньше.

Бокшицкая. А прошедшей весной во ВГИКе вспыхнул скандал по поводу острого публицистического фильма Н. Макарова, дипломника мастерской В. П. Лисаковича. Фильм назывался «Земля и вода» и предостерегал против поворота северных рек — в ту пору этот поворот еще не был отменен. Но сложившимся вгиковским меркам фильм был слишком злободневен... Мастер не допускал Макарова к защите, а мотивировал это нарушением чистоты жанра

(фильм был снят на стыке игрового и документального кино) и неуважительным, как он доказывал, отношением дипломника к классику Довженко (среди документальных кадров были эпизоды из фильма «Поэма о море»)... Эта история обсуждалась на секретариате нового правления Союза кинематографистов. «Зачем руки человеку выламывать,— говорил Элем Климов, обращаясь к Лисаковичу.— Плохо? Поставьте двойку. Но это честнее, чем не допустить».

Сокуров. Не знаю, что бы я делал после ВГИКа, если бы мне не протянул руку помощи Андрей Тарковский (29 декабря пришла весть о его преждевременной смерти — потеря для отечественной культуры невосполнимая). Он ходил в Госкино, к Ермашу, добивался, чтобы в «Дебюте» запустили мою картину. По его рекомендации я оказался на «Ленфильме», а с жильем, с пропиской мне помог Илья Авербах.

В апреле прошлого года мне вдруг позвонили из комитета комсомола ВГИКа. Я узнал, что конфликт между студентами и руководством достиг предела, готовится открытое собрание: ребята приглашают ректорат, Госкино, Союз кинематографистов. Позвонивший мне парень сказал: он знает, что некогда мне было не все равно, что происходит в институте. Спросил: не могу ли я «возникнуть» на этом собрании? Я ответил, что Госкино по отношению ко мне занимает крайние позиции (это было еще до поворотных событий в нашем кинематографе); что «на полке» лежат одна моя игровая картина и четыре документальных, и, учитывая все это, следует подумать, не обострит ли ситуацию мое появление на собрании. В конце концов мы договорились. Я приехал. Собрание произвело на меня впечатление сложное...

Бокшицкая. Это комсомольское собрание готовила инициативная группа — костяк был режиссерский, но помогали киноведы и сценаристы. Наметили прежде всего обсудить перестройку учебного процесса. Пригласили на собрание Климова, Сокурова, Арабова — сценариста, постоянно работающего с Сокуровым, представителей молодежной редакции Центрального телевидения, журналистов. Секретарь комитета комсомола В. Буздыган был солидарен с организаторами, за что — скажем наперед — имел серьезные нарекания от институтского начальства.

Сокуров. Последний раз — до собрания — я был во ВГИКе в восьмидесятом году. С тех пор как будто ничего не переменилось — та же оскорбительная тональность в разговоре со студентами, та же демагогия. Не удивило меня и то, что на собрание не пришел представитель райкома комсомола.

Почему возникло собрание? Студенты хотели нормально учиться. Но социальная практика — это особый навык, которым большинство собравшихся не владели. Поэтому собрание складывалось так, что уже трудно было четко понять: для чего же они собрались? Почему не могли не собраться? То ли всему виной глобальные недостатки административного порядка, то ли никчемная организация учебного процесса, то ли коррупция... Нельзя было говорить обо всем сразу. Но этот стихийный выплеск сам по себе вызвал со стороны руководства крайне негативную реакцию. У него не возникло ни малейшего желания понять, почему ребята начали бузить. Хочу напомнить, что это происходило в апреле — после XXVII съезда партии,— когда уже шло решительное обновление всех сторон нашей жизни. А во вгиковских стенах это обновление, по существу, цинично дискредитировалось.

Я все-таки выступил. Говорил, что пришло время, когда каждый студент должен участвовать в общественной жизни института, что это школа социальной активности. Говорил о полном несоответствии задач института и сложившейся реальности. А после собрания написал письмо первому секретарю Бабушкинского РК КПСС. В этом райкоме, когда я учился во ВГИКе, мне был вручен партийный билет. Собрание, на мой взгляд, было первым импульсом к неминуемым преобразованиям в нашем институте.

Бокшицкая. А после собрания начались поиски. Искали зачинщиков, активно выясняли, кто именно приглашал Климова, Сокурова, Арабова, работников телевидения. И если бы не письмо Сокурова в райком партии... Во ВГИК была прислана комиссия, которая пришла к выводу, что учебный процесс в институте действительно требует перестройки.

Как уже говорилось, одно из первых заседаний секретариата нового правления Союза кинематографистов было посвящено проблемам ВГИКа. Были зачитаны письма студентов, содержащие весь комплекс наболевших проблем. Прозвучали решения комсомольского собрания. «Наша система высшего специального образования,— говорил Сергей Соловьев, секретарь Союза по работе с творческой молодежью,— которая была уникальной кинематографической школой мира, на сегодняшний день таковой считаться не может. На сегодняшний день эта школа переживает кризис... Кое-что нужно делать немедленно. Пересмотреть старые программы, решить невозможную проблему малого количества часов по мастерству. Это необходимо, чтобы обратить творческий вуз именно в творческий. Надо установить атмосферу творческого понимания, тогда студенты смогут спокойно учиться, потому что безнравственно учить человека, когда мы ратуем только лозунгами». Говорилось и о протекционизме, о том, что статья в «Известиях» о сыне режиссера Э. Кеосаяна, пытавшегося с двойками по специальности «прорваться» в институт с помощью чудовищного давления со стороны отца, даже не обсуждалась на собрании ВГИКа. «Наверное,— говорил Андрей Плахов,— поэтому у нас дефицит кадров, а лучшие режиссеры последнего десятилетия — Герман, Балаян и другие — пришли в кино не из ВГИКа».

Представители парткома и ректората ВГИКа, приглашенные на секретариат, вроде бы со всем соглашались. Но буквально спустя две недели в одной из широко читаемых наших газет появилась статья заведующего институтской кафедрой истории КПСС и политэкономии Ю. И. Горячева, которая сводилась к тому, что во ВГИКе все хорошо, что торжествует дух времени. Весь институт знал, что именно автор статьи рьяно участвовал в поисках «зачинщиков» памятного комсомольского собрания, а теперь, выходило, он радовался тому, что «студент пятого курса Николай Макаров выбрал для своей дипломной работы острую и актуальную тему охраны окружающей среды». Это о той самой работе, которую, как вы помните, не допускали к защите!

Сокуров. Как складывалась моя жизнь на «Ленфильме»? Первая же картина, сделанная через «Дебют» — «Разжалованный», экранизация прозы Г. Бакланова — на совещании молодых кинематографистов приводилась как пример формализма, разрушения традиций. После этого я одну за другой предлагал заявки на сценарии, но все они отвергались, как «непроходимые». Тогда Семен Аранович предложил мне вместе с ним снять картину о Шостаковиче «Альтовая соната» на Ленинградской студии документальных фильмов, где ко мне отнеслись очень хорошо. Как я уже говорил, мне одинаково интересно работать и с конкретными документальными реалиями, и с вымыслом. Я уверен, что существуют вещи, которые можно сделать только в документальной форме, а есть замыслы, осуществляемые только в форме игровой. Но определяющим критерием и того, и другого является принцип художественности. Главное для меня — художественное начало, не образное в прямом смысле, а духовное. Духовное наполнение картины. Поэтому я не могу представить себе жизни без документального кино. Игровое кино возникает для меня только тогда, когда я не нахожу аналогов в жизни,— есть вещи, которые надо разыгрывать. Критерием для меня все-

гда является жизненная ситуация, она всегда выше собственных конструкций.

...А картина о Шостаковиче тоже не была принята. Мы пытались сделать фильм, где миру явился бы великий человек необычной и трагической судьбы, о сложностях и противоречиях субъективных и объективных. Но реакция на картину была такой же яростной, как на мой диплом. Опять фильм хотели уничтожить. И почти сделали это — нет негатива и фонограммы, есть только позитивная копия, которую с большим трудом удалось сохранить.

Потом на «Ленфильме» мне разрешили делать картину по пьесе Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца», сценарий написал Юрий Арабов. К этой работе я шел давно, с детства. Еще со школы я помнил потрясение, связанное с Шоу. Однажды по радио передавали его небольшой рассказ, который читал Ростислав Плятт. Герой его наблюдал за кремацией своей матери — ничего более противоестественного моей натуре быть не могло. Но именно поэтому спустя много лет я погрузился в мир Шоу — попытался осознать этот совершенно противоположный мне мир. Эта картина — не версия пьесы, а мое восприятие мира Шоу, исторических реалий времени — я привлекаю и хронику. Обращение к Шоу для меня — своего рода культурная акция. Мне интересен Флобер как классический представитель европейской культуры, интересен Шоу, как ее парадокс. Мы — разные культуры — должны понять и познать друг друга.

Посмотрев материал, руководство студии остановило производство картины. И опять меня позвали на документальную студию, дали возможность снять несколько фильмов — «Элегию» (о Шаляпине), «Терпение, труд» (о спорте), «Союзники» (о странах антигитлеровской коалиции), «Салют» (о молодежи). Но и они до недавнего времени лежали «на полке». И до сих пор я режиссер третьей, самой низкой категории, теоретически меня могут в любой момент перевести в ассистенты.

Бокшицкая. Новый состав секретариата Союза кинематографистов с первых же дней работы организовал конфликтную комиссию, куда могут обратиться с просьбой посмотреть их «полочные» работы все работники кино. Попали на эту комиссию и работы Сокурова. Ее председатель Андрей Плахов, по его собственным словам, был поражен, что такое неординарное кино не было доступно зрителю. И вскоре Сокуров получил знаменательное письмо:

«Уважаемый Александр Николаевич!

Секретариат правления Союза кинематографистов СССР просмотрел Ваши фильмы «Одинокий голос человека», «Салют», «Союзники», «Элегия», «Терпение, труд». Мы обменялись впечатлениями и пришли к выводу, что это серьезные творческие работы, открывающие перспективные пути поиска в кинематографе.

Мы предприняли первые шаги и будем добиваться того, чтобы Ваши документальные фильмы были выпущены на экран, показаны по телевидению, представлены на международные кинофестивали. Будем ходатайствовать о предоставлении Вам возможности довести до прокатного варианта фильм «Одинокий голос человека» и тиражировать его для клубного кинопроката. Мы также намерены содействовать включению Вашей новой заявки в план производства «Ленфильма» 1987 года, сразу после завершения Вашей работы над экранизацией Бернарда Шоу. Желательно, чтобы эта заявка была на современную тему.

Уважаемый Александр Николаевич, рады сообщить Вам, что секретариат проголосовал за прием Вас в Союз кинематографистов СССР!

Желаем творческих успехов. Благодарим Вас за мужество, бескомпромиссность и принципиальность.

Э. Г. КЛИМОВ, первый секретарь правления Союза кинематографистов СССР».

Сокуров. Я читал, читал это письмо...

Бокшицкая. В октябре ВГИК окончательно пробудился. На «круглых столах» и «вольной трибуне» общеинститутской конференции студенты и педагоги открыто и нелицеприятно говорили, что многое надо менять. С тех апрельских дней у комсомольцев уже вызрела позитивная программа преобразований, созвучная устремлениям тех достойных выпускников ВГИКа, которые руководят теперь Союзом кинематографистов. Ее суть сводится к максимальному студенческому самоуправлению на всех ступенях учебного процесса.

«На наших глазах творческий вуз превратился в бюрократическую инстанцию, в которой победно складывается судьба конформиста,— говорила Ливия Александровна Звонникова, которая по-прежнему пользуется доверием и любовью студентов.— Конформист удобен бюрократу. Среди Мастеров у нас почти исчезли личности. ВГИК стал производить массовую культуру, псевдокультуру. Мы должны говорить правду». Заключая конференцию, Сергей Соловьев, председатель комиссии по перестройке ВГИКа, сказал, что пришло время возвратить институту звание лучшей киношколы мира.

В эту комиссию вошел и Александр Сокуров.

P. S. А в ноябре, по завершении общеинститутской творческой конференции, во ВГИКе состоялась отчетно-выборная комсомольская конференция. Одобряя на словах перестройку институтской жизни, администрация вновь решила свести счеты с «леворадикальными элементами» (термин проректора Т. Н. Старчак) в студенческой среде. В ходе подготовки комсомольского форума был грубо нарушен устав ВЛКСМ. На постановочном, операторском и художественном факультетах выборы делегатов на конференцию вообще не проводились — мандаты раздавались. Раздавались главным образом или неопершимся первокурсникам или инертным — «удобным» — студентам. У входа в зал были выставлены дежурные, пропускавшие только обладателей мандатов. И это называлось открытой комсомольской конференцией! День выборов нового комитета комсомола «случайно совпал» с общеинститутским просмотром... нового зарубежного фильма! В этой ситуации в комитете, избранном в составе двадцати пяти человек, фактически не оказалось студентов из той инициативной группы, которая готовила апрельское собрание и октябрьскую творческую конференцию.

Плодотворные перемены во ВГИКе тем не менее происходят. Ушел на пенсию ректор, объявлен конкурс на замещение ряда преподавательских должностей, будет создан студенческий ректорат... Но... Как свидетельствует история последней комсомольской конференции, к перестройке торопливо пристраиваются лицемеры и карьеристы, умело делая свои дела. И в долгой схватке с ними по-прежнему требуются немалое мужество, бескомпромиссность и принципиальность.

Анатолий АЛЕКСИН

Повесть

ДОБРЫЙ ГЕНИЙ

Отрицательный результат исследования опухоли — это для больного результат положительный, а положительный — результат отрицательный. Такая путаница в медицинских определениях почему-то очень забавляла двух девушек, лежавших рядом со мной в палате онкологического отделения,— Иришку и Маришку. Вернее сказать, они не лежали, а чаще всего сидели на неприглядных, старомодно-металлических больничных койках. Они ждали... Но не результатов исследований, как все остальные, а телефонных звонков. Лишь только в коридоре звонок раздавался, они стремглав, иногда наталкиваясь друг на друга, что тоже их веселило, мчались к столику дежурной сестры... Звонки поклонников сокращались прямо пропорционально сроку их пребывания в больнице. Но они продолжали вскакивать, пока могли...

Молодой организм на все реагирует стремглав — и на злокачественные заболевания тоже. Иришки и Маришки давно уже нет,— результаты анализов оказались «сверхположительными»: болезнь называлась саркомой. Я, в те незапамятные дни почти их сверстница, прожила уже три их жизни: мой анализ был отрицательным. И эта мысль часто саднит мне душу. Словно я в чем-то виновата перед их оборвавшейся стремительностью и наивно неудержимой жаждой жизни. Но сейчас та цепкая мысль действует на меня по-иному. Она не только ранит, но и успокаивает меня. Успокаивает? Это неточно. Лишает страха!.. Я не отвожу глаза в сторону ни от своей болезни, ни от своих воспоминаний. Ни от всего того, что я наконец поняла. Наконец и до конца. Кажется, до конца...

В каждом детском саду есть младшая группа. Младшие среди младших! В такой именно группе мой сын Валерий впервые влюбился. Этот первый раз оказался для него и последним. Но все же бесповоротно он утвердился в своем чувстве, когда младшая группа успела стать средней.

Помню, в тот день был праздничный утренник... Он состоялся под вечер, после «тихого часа», называвшегося некогда «мертвым». Позже кто-то сообразил, что в этом названии отсутствует жизнерадостность, столь необходимая детям. Лидуся Назаркина исполняла на празднике Красную Шапочку. Если бы можно было одновременно выступить и в роли Серого Волка, Лидуся бы выступила. Она бы добилась этого, доказав, что Волк вполне может заговорить и девчачьим голосом, притворяясь, допустим, не Бабушкой, а Красношапочкиной подругой. Лидуся уже тогда умела придавать логичность и естественность даже самым неестественным поступкам, если они ей

Рисунки О. Кокина

приносили успех. Я еще не могла догадаться, что эти ее качества определят со временем качество всей моей жизни.

Исполнять главные роли было ее призванием. Я поняла это сразу, как только Лидуся пришла в детский сад, где я называлась заведующей.

— У нас три младшие группы,— сообщила я.— Первая, вторая и третья...

— Хочу в первую,— сказала Лидуся.

И я, взглянув на ее родителей, согласилась. Хотя педагогический долг повелевал возразить. Но глаза родителей взывали ко мне, умоляли — и я не смогла отказать.

Раньше Красных Шапочек и Снегурочек у нас неизменно исполняла Сонечка Гурьева. Но Лидуся произвела бескровный переворот. Она и впредь никого силою не свергала. Просто, натолкнувшись на ее характер, премьеры и премьерши детского сада подавали в отставку. Первой подала Сонечка Гурьева.

Но умный правитель, одержав победу, должен быть милостив: ему ли бояться поверженных? Лидуся при каждом удобном и особенно неудобном для нее случае пригревала Сонечку Гурьеву, милосердно покровительствовала всем подавшим в отставку: она-де возвысилась над ними не потому, что желала этого, и как бы не по своей воле, а исключительно по бескомпромиссной воле честного состязания.

Произнося «детский сад», мы делаем смысловое ударение на слове начальном и не задумываемся над смыслом слова последующего. Оно предполагает, что сообщество малышей — некий сад, а сами дети — цветы этого сада. Нет, не всегда цветы... От душевной неопытности, не предвидя последствий, они порой корят за физические недостатки, в которых человек неповинен, и за те поражения, в которых он тоже не виноват. Сонечка отошла в сторону — и именно тогда ее стали дразнить «вылезалой». Того, кто не только стремится к первенству, но и обладает им, обычно не дразнят.

«С жестокой радостью детей...» — писал великий поэт. Такое наблюдение могло бы принадлежать и выдающемуся педагогу. Хотя великие поэты, я думаю,— и педагоги великие... Или, скорее, учителя!

Испытав жестокость несправедливости, Сонечка с непривычки заболела. А я поняла, что Лидусин характер способен создавать и на младенческих безмятежных дорогах аварийные ситуации (хотя по сравнению со мной Сонечке отделалась легким ушибом).

Лидуся была третьим ребенком в семье Назаркиных. Но и единственным, потому что обе первые дочери умерли. Они ушли из жизни, не успев по-настоящему войти в нее, не научившись даже ходить. Поэтому Лидуся должна была, по мечте Назаркиных-старших и по их убеждению, все получить за троих. Это стремление — опять-таки вопреки педагогике! — у меня не вызывало протеста. Я считала его если не законным, то, во всяком случае, закономерным.

Когда заботы щедры, важно, кому они достаются, на чей характер помножены. Бывает, ребенок таким заботам сопротивляется. Но Лидуся сопротивления не оказывала...

Годы ее еще только начались, а она умела подчинять себе и тех, у кого они были уже на исходе. От нее зависела атмосфера в группах, где она находилась: младшей, затем средней, а потом и старшей. А раз зависела атмосфера, мы, взрослые, подстраивались под Лидусины настроения. Не одни лишь хлопоты родителей возвели этот характер: подобные здания нельзя запланировать, архитектурно предугадать. Но Назаркины-старшие, да и я тоже, с энтузиазмом помогали строительству, не допускали никаких изменений проекта, созданного природой.

— Ваша дочь и мудра за троих,— старалась я доставить удовольствие Назаркиным, потому что жалела их: вирус страха (не потерять бы и ее, не потерять бы!) делал родительскую любовь безумной.— Лидуся — самая умная девочка в детском саду!

Она, и правда, слыла самой умной.

Красива Лидуся тоже была за троих... У гениального писателя я прочла, что он до пяти лет вобрал в свой разум и сердце почти все, что определило грядущую его жизнь. Мне это казалось преувеличением, искаженной памятью, пока я не познакомилась с Лидусей Назаркиной. К пяти годам произведение было завершено... Оно еще могло изменяться в размере, но не в сути своей, не в основных очертаниях. И всей монолитной неколебимости его предстояло лечь на плечи, на жизнь моего сына.

Если человек в пять лет уже вполне человек, он и любить способен не только родителей да бабушку с дедушкой. Лидуся не по-детски нарушила покой детского сада. Мне льстило, не скрою, что в ответ она выбрала моего сына. Но другие юные претенденты взревновали... Благородные страсти, оставшись неразделенными, часто возбуждают страсти низкие, вероломные. И думаю, зависть из них — ранее всего настигающая. Это порок, в котором не сознаются. Обозначить предмет своей зависти — значит возвысить его. Бессмысленно и безнадежно страдая, завистник мстит за эти изматывающие муки, объясняя свои поступки любыми причинами, кроме подлинных.

Валерику начали мстить...

Особенно ревнивым оказался Пашуля. Подобно зависти, ревность в силах безраздельно властвовать человеком, вытеснять все другие ощущения и намерения. Она, как зависть, когтиста и, вонзившись изнутри, не отпускает жертву ни на мгновение, пока сама не обессилеет и не умрет.

Пашуля как завистник был уже до того полноценен, что решил полной ценой отплатить Валерию за его первый успех. Сам он был чахлым ребенком. «Мухи не обидит!» — говорили о нем. Мух Пашуля, в самом деле, не трогал, но на Валерия посягнул. Нападение было непредвиденным, из-за угла.

Любимой игрушкой старших ребят считался робот. Его подарили Лидусины родители. Выделяться должна была не только их дочь, но и весь детсад, который она посещала. Поэтому конструкторское бюро, где трудились близкие родственники Назаркиных, взяло над нами шефство. Научно-техническая революция ворвалась в здание детского сада. Игрушки были прообразами техники конца двадцатого и даже начала двадцать первого века: они вертикально взлетали, неслись по рельсам со скоростью, которая начинала представлять опасность для малолетних... Но более всего потрясал воображение робот: он подмигивал разноцветными глазами, которых у него было шесть; самоуверенно провозглашал: «Я все могу!»; веско перемещаясь по комнате, захватывал руками другие игрушки и не выпускал их из металлического плена, пока не считал нужным. Робот действовал с повелительно-автоматической четкостью. Он был похож на человека, так как у него были голова, туловище, руки и ноги... Но претендовал на что-то сверхчеловеческое: лишенные души и сердца считают себя вправе на это претендовать.

И вдруг игрушка исчезла. Сперва все решили, что робот, поскольку он уверял «Я все могу!», вышел из комнаты и где-нибудь спрятался. Позвонили родственникам Назаркиных в конструкторское бюро. Но они заверили, что «Я все могу!» не следует принимать так уж всерьез. Реакция детей на происшествие была разной: одни плакали, другие чего-то испугались, а третьи начали подозревать. Подозревать стали и взрослые. Мне оставалось одно, самое болезненно нежелательное: произвести осмотр. То самое, что на прямом милицейском языке называется обыском.

Начала я педагогически осторожно:

— Дети... может, кто-нибудь захотел поиграть с роботом дома, а завтра его вернуть?

Никто не ответил.

— Может, кто-нибудь захотел показать робота маме и папе... познакомить с ним сестру или брата?

Никто не ответил.

— Тогда... вы уж не обижайтесь на меня... придется заглянуть в ваши шкафчики. Вы не обидитесь?

Никто не ответил.

Но это не было онемением от испуга. Я, научившаяся видеть все «доверенные мне лица» вместе и одновременно врозь, признаков тревоги не уловила. «Доверенные мне лица»... Так называла я в шутку своих подопечных. Ведь доверенное лицо — не только то, которому ты доверяешь, но и то, которое доверяют тебе.

Взрослый человек, делающий в каком-либо слове неверное ударение, повторяет это слово с необъяснимой частотой, его тянет к нему, как на место преступления. Дети же любят повторять фразы, подсказанные взрослыми. Поэтому я при «доверенных лицах» говорила медленней, чем обычно: мой язык притормаживало чувство ответственности. Я вообще с юных лет усвоила, что подсказывать гораздо ответственней, чем что-либо утверждать самому: отвечаешь за двоих — вот в чем дело!

Взрослые от удивления не всегда «раскрывают рты», а дети почти непременно. Раскрытых ртов я увидела много... Другие, напротив, сжали губы от нетерпеливого любопытства: «У кого найдут?» Предстояло нечто детективное... Я открывала и вновь затворяла дверцы. Стиснутых губ становилось все больше... Последним я осмотрела шкафчик Валерия, потому что все связанное со своим сыном делала «в последнюю очередь».

В шкафчике лежало что-то весьма объемное, завернутое в газету.

— Что это? — спросила я.

— Не знаю,— сказал Валерий.

— Тогда выясним.

Это был робот.

Мы не можем поручиться, что ведаем все о своих детях в зрелую пору их жизни. Но в юную ведаем... Не потому, что эта жизнь несложна, примитивна, а потому, что вся у нас на виду.

Я знала, что мой сын бесшабашно добр. Раздавать направо-налево все, чем он обладал, было едва ли не главной приметой характера. Лидуся тоже заметила это свойство — и начала его вытравлять. Если Валерий предлагал кому-нибудь во дворе покататься на своем двухколесном велосипеде, она говорила: «Ты еще сам не накатался!» И Валерию приходилось до изнеможения крутить педали... Если он пересказывал содержание фильма, который увидел по телевизору, она останавливала: «Пусть сами посмотрят!». Даже впечатлениями она не разрешала ему делиться... Все, что принадлежало моему сыну, отныне как бы принадлежало и ей. А стало быть, никому больше принадлежать не имело права. Никому...

Валерий не умел испытывать полную радость от книжки, пока не добивался, чтоб ее прочитали другие.

— Если ты один будешь знать эти стихи, тебя похвалят,— обучала его Лидуся.— А если все их выучат наизусть, за что же тебя хвалить?

Но Валерий продолжал превращать личное достояние в общественное. Завернуть, спрятать... Нет, этого он сделать не мог!

Но робот лежал в е г о шкафчике, лежал на боку, как бы лишившись всех своих повелительно-самонадеянных качеств. И я обязана была осведомиться:

— Зачем ты его сюда положил?

— Он его сюда не клал,— ответила Лидуся.

И все ей поверили... Дальнейшие дознания были бессмысленны.

Лидуся обучалась музыке в домашних условиях: ее мама была пианисткой-аккомпаниатором. Поэтому и в условиях детского сада ей разрешалось оставаться наедине с роялем в «музыкальной комнате». Потом в комнате начали оставаться трое: Лидуся, рояль и мой сын.

Валерий принадлежал ей — и ему, стало быть, слух отказывать не смел, а голос его должен был выделяться до такой степени, чтобы Валерия сделали запевалой. Сама Лидуся была запевалой не только в области музыки: ее инициативы, не успевшие быть коллективно обдуманными и обсужденными, тем не менее единодушно подхватывались. Мальчики надеялись заслужить хотя бы ее благодарность, а девочки попросту боялись Лидусю. Она принимала поклонение одних и даже боязнь других, не понимая еще, что страх ни с чем хорошим не сочетается.

Лидуся использовала уединения в «музыкальной комнате» и для воспитательных целей: она наставляла там моего сына на путь, который считала истинным.

Один раз, разыскивая Валерия, я бесшумно приоткрыла дверь, замаскированную портьерами изнутри. И услышала:

— Когда все станут добрыми, тогда и ты становись. А то в дураках окажешься: кругом недобрые ходят, а ты один добрый. Они затолкают тебя!

— Почему? Есть и другие...— с безвольностью влюбленного возразил мой сын.

— Вас таких... все равно меньше!

— Но ведь и ты добрая.

— К кому надо! Вот к тебе...

— Спасибо, Лидуся.

— Если все раздавать, голым останешься. Это очень умный человек сказал. Ученый! Он из нашего подъезда... Ты его видел. (Мы жили с Назаркиными в одном доме.) Еще он сказал однажды: «Если шахматист начнет раздаривать свои мысли и планы, он никогда чемпионом не станет. А тот, с которым будет делиться... тот победит!» Подумай над этими словами. Я тебе очень советую. Привык р а з д а в а т ь!

— Подумаю.

— Дай слово, что подумаешь.

— Даю.

— Скажи: «Даю честное слово!».

— Даю честное...

— Тогда верю.

Лидусе было в то время шесть лет.

Я не раздвинула портьеры, скрывавшие изнутри дверь «музыкальной комнаты». И удалилась на цыпочках.

Беседы у рояля продолжались... Всякий раз мне мучительно хотелось подслушать. Но попадись с поличным, я бы унизилась, а значение бесед возле рояля возвысилось бы необычайно.

Однажды, в конце дня, я ненадолго отлучилась из детского сада. А когда вернулась, увидела возле порога Пашулю. Его лицо постоянно выражало неудовлетворенность. Не собой, а тем, что происходило вокруг.

Пашуля все делал съежившись — так он стоял, сидел и передвигался. Как будто выжидательно ощеривался: не заметят, не поймут, не оценят! На каждом лице что-нибудь выделяется: глаза, или подбородок, или рот. У Пашули выпирал нос. Вынюхивающе вздернутый, он, казалось, определял на запах отношение к нему окружающих, их настроения, которые могли отразиться на Пашулиной судьбе.

Я не любила, когда детей называли уменьшительными именами: Лидуся, Пашуля, Сонечка... Но с этими сладкозвучными уменьшениями они к нам являлись из дома. А известно, что конфликт между семьей и детским садом, как и между семьей и школой, чреват горестными последствиями.

— Ты чего здесь? — спросила я.

— Всех разобрали... А меня — нет.

Голос Пашули выразил острый упрек в адрес его замешкавшихся где-то родителей.

— А Валерий? Ты не видел его?

Пашуля набрал в нос изрядное количество воздуха и, что-то таким образом оценив, ответил:

— Он домой ушел.

— Давно?

Пашуля опять набрал в нос порцию окружавшей его среды.

— Давно.

— Один ушел?

— Да, один. Сказал: «Буду ждать маму дома!»

Я, не заходя в детский сад, где еще убиралась нянечка, заспешила через дорогу.

Но Валерия дома не оказалось. И сразу же холодок ужаса заструился внутри.

Как-то, собравшись на ежегодные воспоминания о невозвратной юности, мои бывшие одноклассницы завели спор о том, что́ на свете ужасней всего: предательство близкого человека, или одиночество, или кровоизлияние в мозг?.. Я сказала то, что было для меня неоспоримо: «Потерять сына!»

Сказала не «ребенка», а именно «сына», потому что у меня был Валерий. Я могла бы подумать и о кровоизлиянии, от которого, будто срубленное кем-то незримым молодое, здоровое дерево, рухнул средь бела дня на землю мой муж... Но сказала: «Потерять сына!»

Когда Валерий родился, врач-акушер, впервые показав мне его, висевшего где-то в тумане, словно бы вдали от меня, одурманенной болью и счастьем, трижды спросил:

— Кто у вас?

— Мальчик,— с замедленно растекавшимся в голосе умилением отвечала я.

Хирурги и летчики всегда были для меня магами, совершавшими нечто сверхъестественное. И я поражалась, когда мой восторг натыкался на хладнокровно-ироничный ответ:

— Это же их работа.

Называть то, что делали они, тем же словом, каким именовалось и то, что, допустим, делала я, казалось кощунственным и циничным.

Ну, а хирург-акушер представлялся мне в те мгновения божьим посланцем.

— Поздравляю вас с мальчиком,— сказал он обычную фразу.

Но я приняла ее как дар — высший из всех возможных. И прониклась убеждением, что мечтала о сыне. Не о всяком, а только о том, который как бы парил в отдаленном тумане... Хотя на самом-то деле мы с мужем ждали девочку: «Ближе к семье, ближе к родителям!..»

Первое кормление — это первое зримо и физически ощущаемое матерью единение с ребенком. Я вынула из-под подушки узенькую марлевую полоску и попросила медсестру:

— Разрешите обвязать ему ручку?..

— Опознавательные знаки уже есть! Вы же видите,— с заученной успокоительностью ответила она: не одна я боялась, что ребенок потеряется, что его с кем-нибудь перепутают.

Я протянула коробку конфет, которую муж прислал мне вместе с цветами. Но она отвергла мое подношение:

— Диатез у меня от конфет. Все передаривают!

— Диатез?

— Детская болезнь... Но я же среди новорожденных! — Забрала у меня Валерия и спросила: — Красавец?

«Как она догадалась, что я именно об этом сейчас думаю?» — глядя на своего подслеповатого и лысоватого красавца, удивилась я.

— Все они красавцы... Для своих матерей,— ухватив мой молчаливый вопрос, ответила она.— Если бы не приносили бед, когда старше становятся... так бы красавцами и оставались. Вот о чем просить надо!

Я в те блаженные минуты не могла постичь смысла ее слов — и она, уловив мою растерянность, заверила:

— Ваш будет красавцем. Это видно!

Я скрыла от сестры, что, кроме узкой марлевой ленточки, у меня под подушкой была еще и вот эта тетрадь — толстая, в обложке из целлофана. Как она оказалась у нас в доме, я не могла припомнить. Но мы с мужем будто берегли ее для какого-то чрезвычайного случая... Отправляясь в родильный дом, я обещала записывать все, что может касаться нашей дочери. «А тем более надо записывать все о сыне,— думала я.— О таком красавце!»

Но записывать начала гораздо позднее: там, в родильном доме, да и вернувшись домой, я часа свободного не находила. И все время чего-нибудь опасалась: как бы не заразился, не ударился, не потерялся.

Ужас потерять сына стал моим жестоким преследователем. Я почти непрестанно ощущала его. Ни на миг не оставляла маленького Валерия одного, а когда он начал самостоятельно гулять во дворе, то и дело с истеричной тревожностью выглядывала в окно.

И вот Валерия дома не оказалось...

Тревога настоятельно требует действий: в них она хоть чуть-чуть растворяется. Старинный, неторопливый лифт поравнялся с нашим этажом и проплыл мимо. Обогнав его, перескакивая через ступени, я сбежала вниз.

Дворовые завсегдатаи, точно на своих рабочих местах, расположились на «завалинке». Так называлась у нас скамья, установленная возле единственного во дворе дерева — чудом спасшейся липы. Оттуда, как с наземного наблюдательного пункта, проглядывалось все пространство двора и все подъезды серогранитного дома. Он был построен еще до войны. До первой империалистической... Поэтому потолки были далеки от пола, а разговоры в одной квартире от разговоров в другой. Последние известия распространяли дворовые завсегдатаи... Валерия они не видели. Не заметить его завсегдатаи не могли, ибо были по-воински бдительны.

— Не проходил? — все же переспросила я.

Мне стали добросовестно объяснять, что с наблюдательного пункта его бы увидели и опознали. Первый, еще не осознанный внутренний холодок, обострившись, пробился в голову, покрыл лоб ледяной испариной.

Еще ничего не было известно, но владеть собой я уже перестала. Валерий, не по возрасту чуткий, от безвестности меня бы избавил: он знал, чего я в жизни больше всего боялась. Он бы сообщил, оставил записку: писать мой сын научился первым в детском саду (конечно, после Лидуси).

Повинуясь необходимости действовать, я пересекла дорогу и опять оказалась во дворике детского сада. Пашули у порога уже не было.

«Что ж я не позвонила Лидусе? Может, она знает?.. И где она сейчас?» — лихорадочно размышляла я. Лидуся обычно приходила в детский сад и возвращалась домой без родительского сопровождения. За нее не надо было тревожиться. Прежде чем ступить на мостовую, она, согласно правилам, поворачивала голову налево, а дойдя до середины улицы, поворачивала направо. Потеряться она не могла.

«Они же с Валерием часто возвращались домой вдвоем! — продолжалась моя лихорадка.— Как я забыла?» Мой кабинет с телефоном еще не был заперт нянечкой — и я заспешила туда. Но внезапно изменила маршрут... Взлетела на второй этаж, открыла дверь «музыкальной комнаты», распахнула портьеры.

Лидуся что-то внушала Валерию возле рояля.

— Вы здесь?! — благодарно воскликнула я.— Вы здесь!

Пашуля, обуреваемый ревностью, хотел наказать Валерия, а покарал только меня. Он жаждал, чтобы я наказала сына, а я стала прижимать Валерия к груди и говорить, как счастлива, что наконец-то нашла его. Хоть он и не думал теряться!

— Пашуля сказал, что ты ушел домой. Вот я и...

— Пашуля? Он?! — строго уточнила Лидуся.

— Направил меня по ложной дороге.

— Сусанин! — промолвила Лидуся. Она с малолетства знала героев выдающихся музыкальных произведений.

На следующий день, когда вся старшая группа завтракала в столовой, Лидуся подошла к столику, за которым сидел Пашуля. Постучала ложкой о тарелку и установила тишину.

— Так это ты подложил робота Валерию в шкафчик?

Повинуясь ее голосу, он покорно поднялся.

— Ты подложил? Смотри мне в глаза.

Пашуля взглянул ей в глаза — и вымолвил:

— Я...

Все затаились. И ложки, которые, как номерки в зале детского театра, обычно звякали даже без надобности, тоже умолкли.

— Скажи, чтобы все слышали,— потребовала Лидуся.— Повтори: «Это я подложил робота Валерию в шкафчик!»

— Я подложил...

— Ты больше не придешь в этот детский сад! — сказала она.

И он не пришел.

Мне казалось, у Валерия не было голоса. Ни певческого, ни в общении с друзьями... Первое меня не волновало, но со вторым я примириться никак не могла. Доброта сына переходила в безотказное подчинение окружающим. «Если эти окружающие окажутся хорошими людьми, то ничего,— размышляла я.— А если плохими?..»

Мой муж, как многие волевые отцы, был уверен, что сын должен уметь «давать сдачи». Сам он не спускал людям ни грубости, ни перешагивания через нравственные законы. Представления об этих законах бывают разные — и то, что один считает безнравственным, другой делает правилом жизни. Кто может создать, утвердить всеобщий кодекс порядочности? Муж считал, что ханжество не смеет быть автором кодекса чести, а обыкновенная душевная нормальность — смеет. Боязнь проявлять эту обыкновеннейшую нормальность он считал душевным дефектом. Он не страшился проявления своей нормальности, не отступал от нее ни при каких обстоятельствах. Давление у него было повышенным, как сказал мудрый врач, «на почве повышенной совестливости». На этой же почве, наверное, произошло и то трагически раннее кровоизлияние...

Я не хотела, чтобы Валерий подвергся судьбе отца. «Будь терпимым! — с малых лет напутствовала я его.— Старайся понять людей... И они тебя легче поймут!» Я стремилась отторгнуть доброту, подаренную ему отцом, от отцовской бескомпромиссности. А потом испугалась отсутствия голоса...

Но певческий голос Лидуся вознамерилась у Валерия обнаружить. Еще не расставшись со старшей детсадовской группой, они договорились, когда вырастут, пожениться. А Лидуся не могла принять такое решение, не определив перспектив будущего супруга. И она придумала: он станет певцом, а она, музыкально одаренная, будет ему аккомпанировать на рояле. Она мысленно сказала себе: быть посему! И у Валерия прорезался голос.

Лидуся желала видеть своего избранника только солистом. И он стал запевалой в детсадовском хоре.

В школе Валерий и Лидуся сидели за одной партой. Семь лет подряд... Потом еще четыре года их окружали одни и те же стены музыкального училища, а затем — стены консерватории, которую Лидуся почему-то нарекла так: «высшее музыкальное». Она, видимо, хотела бы добавить: «заведение». Но не добавила... Женихом и невестой их никто дразнить не посмел. Во-первых, по той причине, что они ими действительно были. А во-вторых, школьные классы, классы училища и «высшего музыкального» подчинялись Лидусе так же, как и группы в детском саду. Но мужская половина еще более трепетно, а женская — с еще рельефней выраженной обреченностью.

Семь лет подряд, а потом еще девять лет Лидуся все хорошела и хорошела. И лицо ее было создано по детально обдуманному природой проекту. Впечатление достигалось не спокойствием гармонии, а резкостью диссонансов. Игривые завитки волос настраивали на легкомыслие, а привольный лоб мыслителя — на серьезность. Темные глаза — то большие, то узкие — ни мгновения не дремали: прищуренно вычисляли что-то, или упрямо пробивались к сути событий и человеческих личностей, или ошпаривали надменной насмешливостью. Они не сочетались с беспечной белокурostью, маленькими, беззащитно прижавшимися к голове ушами и нежным подбородком. «В этой противоречивости и таится,— считала я,— некая магическая неотразимость». Внешние контрасты, в свою очередь, противоречили абсолютной определенности Лидусиной натуры. Она была полна не мечтаний, а замыслов, которые планомерно осуществлялись.

А сын мой был простодушен. Никаких загадок и тайн в нем и подозревать-то было нельзя. Кто-то сказал, что о характере человека можно судить по его улыбке: ласковый человек ласково улыбается, милый — мило, а скверный — скверно.

Улыбка сына была, и правда, точным рентгеном его души. Она располагала к безоглядчейшему доверию. Лидуся же улыбалась не хорошо и не плохо, а ослепительно... И ослепление это мешало о чем-либо судить.

«На нее же трудно смотреть в упор... Она будет изменять ему!» — пугали меня подруги. Но ни Валерию, ни самой себе Лидуся ни разу не изменила. Мой сын теперь принадлежал ей безраздельно и окончательно. Он стал ее личной собственностью. А своей личной собственности она урона не наносила. Она оберегала его, ограждала от всего, что могло нанести физический или моральный ущерб. Я была спокойна: физически на Валерия не покушались. И морально-весовая категория сына слыла очень авторитетной: его избрала Назаркина!

Частная Лидусина собственность могла быть лишь самой высокосортной. Поэтому она без устали пыталась совершенствовать те качества и способности Валерия, которые были ей необходимы сегодня, но более всего — завтра.

Говорят, у лжи короткие ноги. Думаю, эта поговорка, увы, выдает желаемое за действительное. Я убедилась: весьма длинными, проворными ногами обладают также и слухи... В школе знали, что Лидуся выдворила из детского сада обидчика моего сына. Слух превращался в легенду, обрастал фантастическими подробностями. Легенда эта, как и Лидусина верность будущему супругу, умеющих восторгаться восторгала, а не умеющих — злила.

К тому же Лидуся и Валерий вскоре стали знаменитым в школе музыкальным дуэтом. Пел только он... Но у них все равно был дуэт: Лидуся не просто аккомпанировала — она первой выходила на сцену с короткими сообщениями о предстоящей программе и о том, как у нее «родилась идея», первой кланялась и подчеркнуто принимала аплодисменты. При этом в мою материнскую голову приходили такие мысли: «Чем лучше будет ей, тем лучше будет и моему сыну! Пусть кланяется и рассказывает о том, как рождаются у нее идеи...»

Ее страстью было завоевывать успех — у одноклассников, у матери будущего супруга, у зрителей...

Впрочем, я в своих воспоминаниях и записях немного забежала вперед — и сделала течение событий беспорядочным, перескочила через кое-какие факты. Постараюсь восстановить их... Лидуся, поступив в обычную школу, замыслила сочетать ее с музыкальной — и немедленно принялась сочетать. А когда они с Валерием были в четвертом классе, она объявила:

— Будущий солист не должен даже начинать с хора... Детский сад не в счет! Отныне ты должен заниматься индивидуально.

Напомню, что тогда Лидусе стукнуло десять лет.

Она, однако, дерзнула обратиться к бывшей певице и педагогу Марии Теодоровне, тоже жившей в нашем старинном доме. Мария Теодоровна заявила, что единственная плата, в которой она нуждается,— это «открытие дарования». Таким образом, Валерий мог расплатиться с ней сам, без моей помощи.

Мария Теодоровна говорила, что ей «уже семьдесят». Но Лидуся подвергла это сомнению, так как сыну бывшей певицы было под шестьдесят. Стены ком-

наты, где Мария Теодоровна давала уроки, никогда, вероятно, не требовали ремонта: обоев не было видно. Заслоняя их, одна к другой плотно прилегали фотографии с автографами знаменитостей и потерявшие естественный цвет афиши давних премьер, убористо испещренные автографами их участников.

— Почти все уже умерли, а я помню, как они расписывались: кто на бегу в париках и гриме, кто устало, после спектаклей. Даже в невечных романсах попадаются вечные строки: «Это было недавно — это было давно»...

Мария Теодоровна ждала за свои уроки и другой платы: надо было бесконечно слушать об одном и том же, не обнаруживая, что все уж давно известно. Лидуся рассказывала мне, как она умудряется создавать впечатление, будто они с Валерием всякий раз присутствуют на премьере воспоминаний. Ради музыкального успеха моего сына она готова была жертвовать временем и терпением.

Я, случалось, обременительно дарила свою благодарность тем, кто хоть что-то дарил моему сыну. А Лидуся дарила не «что-то»...

«Это наш добрый гений! — думала я.— Со своим простодушием Валерий может и промахнуться». В Лидусе я видела преграду на пути его промахов и ошибок.

— Следуй за ней,— советовала я сыну.

Мать во мне побеждала воспитателя.

Яблоко от яблони, как говорят, недалеко падает... Но Лидусин характер далеко укатился от характера ее мамы.

Полина Васильевна обладала мелкими, но выразительно сострадающими всем вокруг чертами лица. Она была аккомпаниатором и долгие годы состояла при басе, гремевшем в буквальном и переносном смысле. А ее имя и фамилия неизменно печатались на афише внизу, шрифтом, который тоже выглядел мелким.

— Я без вас, как без голоса! — с ласковыми теноровыми интонациями ворковал на репетициях бас.

— Сказал бы это хоть раз со сцены,— иронично заметила Лидуся.— Равноправие не может быть тайным!

Самой Лидусе не подходили ни мелкие черты лица, ни мелкий шрифт. С малых лет мечтала она быть, как и мать, аккомпаниатором. «Пианистки-солистки из меня не получится»,— молча, но здраво оценила собственные возможности Лидуся, одновременно замыслив и в аккомпаниаторском деле произвести бескровный переворот.

— Мы с Валерием будем называться дуэтом: голос и рояль! — будучи уже на первом курсе «высшего музыкального», утверждала она.— Не рояль при голосе, а оба — на равных правах! И в афишах это будет узаконено... Валерий меня как женщину, я надеюсь, пропустит вперед: «Лидия Назаркина (рояль), Валерий Беспалов (драматический тенор)». Так мы напишем. А еще лучше: «Лидия и Валерий Беспаловы».

Я поняла, что после бракосочетания не сын возьмет ее фамилию (на чем она при желании вполне могла настоять!), а она — фамилию сына. Причина была, я уверена, в том, что «Беспаловы» звучало эффектнее, чем «Назаркины», как-то величественнее.

Эпитет «драматический» поначалу смутил меня: я инстинктивно стремилась уберечь сына от всего, что связано с драмами. Даже в звуковом проявлении.

— Это дефицитнейший голос! — объяснила Лидуся.— Германн, Радамес... Иногда в театрах их даже некому петь!

— Но поэтому для драматического тенора и сочинено мало оперных партий,— высказала я осторожное опасение.

— Все, чего мало, что дефицитно, имеет особую ценность,— заявила Лидуся.

Она с младенчества стремилась представлять собой «дефицит». И ее будущий спутник жизни тоже должен был владеть редкими качествами. Разве мать могла возражать против этого?

Но вернусь к школьным годам...

У Полины Васильевны были три пластинки, невесть как сохранившиеся с довоенных времен: молодая Мария Теодоровна исполняла старинные романсы.

Лидуся под свой аккомпанемент заставила десятилетнего Валерия разучить все эти романсы и петь их с интонациями и придыханиями молодой Марии Теодоровны.

А когда разучивание было завершено, она и повела его впервые к уже состарившейся певице.

Слушая Валерия и Лидусю, Мария Теодоровна, словно проваливаясь в воспоминания, умиленно вздыхала, всплескивала руками... Когда Валерий вместе с роялем умолк, она тоже замерла. А потом, тряхнув плечами и возвратясь к действительности, произнесла:

— Самое банальное было бы сказать, что вы вернули мне молодость. Но вернуть ее невозможно. Вы напомнили... И за это спасибо!

О возрасте она говорила редко. Сын ее старел исправно, как и полагалось: сперва ему было сорок, потом — полвека, затем стало под шестьдесят. А Мария Теодоровна когда-то бросила якорь на глубину семидесяти лет,— и глубже якорь не опускался... Но и выглядела она не более чем на семьдесят. Всегда как бы накрахмаленная и отутюженная, с белыми пышными волосами, она являла образец прибранности. «Быть в форме!» — от этого принципа она ни разу не отступила.

— Года через три тебе придется сделать антракт,— предупредила Валерия Мария Теодоровна.— Начнется мутация голоса. Он будет ломаться, но сломаться не должен. Так что поторопимся... Коль уж ты разучил мои романсы. Но главное-то для меня, запомни: открыть дарование!..

— Здесь вы откроете,— убежденно заверила Лидуся.

Ежедневные занятия начались.

Тем временем Лидуся принялась готовить школьный концерт, в завершение которого зрителей обязан был потрясти дуэт «Лидия Назаркина — Валерий Беспалов». Но для этого остальные номера при всей их добротности не должны были доводить зрителей до потрясения. Этот свой замысел Лидуся осуществляла продуманно и кропотливо.

Но результат превзошел даже ее ожидания...

Свою программу «Старые пластинки» дуэт Назаркиной и Беспалова посвятил Марии Теодоровне, сидевшей в центре третьего ряда.

Пожилые учителя, бабушки и дедушки, избирательно приглашенные Лидусей, начали молодеть на глазах у всего зала. Мария Теодоровна была кумиром давно распрощавшейся с ними юности. И вдруг все возродилось... Репертуар, интонации и придыхания Валерия, аккомпанемент, точь-в-точь повторявший пластиночный,— все это вызвало не только сотрясшие зал аплодисменты, но и тихие слезы... Молодые зрители поддались настроению старших. Родители, тоже тщательно отобранные Лидусей, поднесли цветы Марии Теодоровне, а потом уж и участникам дуэта, начиная с аккомпаниатора. Режиссура оказалась блестящей!

И застенчивость моего сына не выглядела забитостью, не была унизительной для него — она истолковывалась как рыцарство: он уступал дорогу сильной представительнице все же слабого пола.

Концерт несколько раз повторялся: для окрестных школ, да и многие соученики Валерия и Лидуси рвались присутствовать на нем еще и еще.

Всякое действие, однако, вызывает противодействие, а всякий восторг рождает и антивосторг. Валерий, как и в детском саду, это с удивлением ощутил. А я не была удивлена, потому что знала: баланс между событиями радостными и печальными неукоснительно соблюдается. Если на мою долю выпадало

что-нибудь доброе, я начинала с опаской ждать зла. И компенсация неотвратимо наступала.

Еще Гельвеций был убежден, что «из всех страстей зависть самая отвратительная» и что под ее знаменем «шествуют ненависть, предательство и интриги». Поскольку зависть вновь более всего угрожала сыну, я в целях обороны тщательнее, чем раньше, изучила ее повадки и высказывания о ней мудрецов. Я убедилась, что зависть в своих проявлениях гораздо конкретней доброжелательности. Доброжелательность склонна к словам, а зависть к поступкам.

Сева Калошин созвал внеочередное заседание учкома. Всё внеочередное было любимо Севой: он вне очереди покупал пирожки в буфете, сдавал пальто в гардеробе и выступал на собраниях. Чаще всего он на собраниях и председательствовал, ибо возглавлял школьный учком.

На него вне очереди должна была обратить внимание и самая красивая девочка в школе. Тем более что все молодые лица на плакатах, казалось, списаны были с Калошина — лицо у него было таким открытым, что его хотелось немного «прикрыть»: создавалось ощущение сквозняка. Однажды Калошин намекнул Лидусе, что возрастной разрыв в два года — идеальный разрыв. Он привык провозглашать общепринятые идеалы... Но, верная моему сыну, Лидуся ответила, что воспринимает его лишь как учкомовского председателя.

В этом своем качестве он и провел внеочередное заседание. Оно было посвящено теме «Новые задачи и старые пластинки». От имени дуэта был вызван только Валерий: Лидусю влюбленный Калошин не собирался отчитывать. А ей женская гордость не позволила явиться без приглашения.

Вступительным словом Калошин проложил курс обсуждению. Он заявил, что вся жизнь коллектива должна «крутиться» не в том направлении, в каком крутятся старые пластинки, «три из которых на вечере проиграли». В гневе восьмиклассник Сева бывал неожиданно афористичен.

— Нам проиграли пластинки, а мы проиграли зрительный зал,— образно сформулировал он.— Люди устремили взоры назад, а не вперед!

Кажется, больше всего на свете Сева боялся «упадничества». Сдавалось, что в раннем детстве его уронили,— и он, упав, упадничества больше не допускал. Оптимистичность была не второй, а первой и единственной натурой Калошина. Он жизнерадостно, с непреклонностью шагающего экскаватора передвигался; жизнерадостно, хотя и не всегда правильно, отвечал у доски; жизнерадостно сообщал о событиях в мире, даже если речь шла о сражениях, уносящих человеческие жизни, о крушениях поездов и прогрессивных режимов, террористических актах и землетрясениях.

— Нам некогда плакать! — провозглашал Сева.

Ему вообще было некогда... Однако на заседании учкома Калошин не торопился.

— Странно, что не «Взвейтесь кострами, синие ночи!» услышали мы из уст пионера Валерия Беспалова,— сказал он,— а слезливые романсы далекого прошлого... Хотя нам некогда плакать!

Далее Сева указал на спекулятивность подобного репертуара, на эксплуатацию им чувств и нервов. «Репертуар-эксплуататор» был осужден и другими членами ученического комитета, которые все учились у Севы оптимизму и неумению плакать.

Лидуся, конечно, заранее прорепетировала с Валерием возле рояля (там репетировать было привычней) ответы на те вопросы, которые могли задавать учкомовцы во главе с Калошиным. Но Валерий ошеломленно промолчал.

Он был в том же ошеломлении и когда добирался, утратив ориентацию, до угла улицы. Лидуся ждала его на противоположной стороне.

— Осторожно, Валерий!

Лидусин голос перекрыл все звуки улицы... Мой сын отпрянул в сторону. Но прицеп заворачивавшего грузовика все же задел его, ткнул в плечо. Валерий, будто ища что-то на мостовой, медленно сделал несколько шагов и упал.

Лидуся ринулась к нему через улицу... Она осторожно приподняла Валерия:

— Я с тобой! Не волнуйся... Сейчас мы поедем в больницу!

Ошарашенно-испуганные учкомовцы оказались за ее спиною, на тротуаре.

— Он хотел покончить с собой? — произнес кто-то из них.

Лидусин взгляд остановился на Калошине, лицо которого в тот момент для плаката не подходило.

— Это ты покончил с собой,— сказала Лидуся.— Запомни: ты, а не он!

Крик, на который я как заведующая воспитательным учреждением не имела права, огласил детсад ровно в пять вечера. Детали, сопутствующие душевным потрясениям или даже молча присутствующие при них, вторгаются в память навечно. Я услышала по радио: «Московское время — семнадцать часов!» — и тут же раздался звонок.

— Я из больницы,— приглушенно, наверное, прикрыв трубку рукой, сообщила Лидуся.— Валерий чуть было не попал под машину, но я...

— Под машину?! — крикнула я так, что топот взрослых и детских ног устремился к моей комнате.

— Чуть было не попал!—поспешила в полный голос уточнить Лидуся.— Но я вовремя остановила его. И сейчас все в порядке. Прицеп ударил его в плечо, а мог бы... если бы я не крикнула...

— Ударил прицеп?! Какой прицеп?

— Не волнуйтесь: теперь все хорошо.

— Но он же в больнице?!

— Я его отвезла. Сама... На всякий случай. Ему сделали перевязку.

— Перевязку?!

— Все уже в полном порядке!

— А зачем перевязка? Где перевязка?..

За полчаса до этого меня огорчила ссора двух девочек. А утром я расстроилась из-за того, что мячом, как доложила нянечка, «расквасили окно» и никто не хотел сознаваться. Какие ничтожные размеры в одно мгновение обрели все эти огорчения и расстройства! Нам повседневно укорачивают жизнь булавочные уколы, которые мы принимаем за удары судьбы. Если бы научиться соизмерять уколы с ударами... Но это удается лишь в такие минуты, которые в тот день испытала я.

— Где больница? Сейчас я приеду!

— Зачем? Все в порядке... Я вовремя остановила его! — продолжала Лидуся обозначать свою роль в спасении моего сына. Она и про машину-то, не пощадив меня, сообщила для этого. Не пощадив...— Приезжать не надо: скоро мы будем дома! — пообещала она.

И все-таки я оказалась в больнице. Вышла из кабинета, потеряла сознание... Меня отвезли... А там обнаружили диабет.

— Сладкая болезнь... Сахарная! — сказал врач.— Но с горькими последствиями. Так что поберегитесь!

— А из-за чего... это?

— Трудно сказать. Может быть, нервное потрясение.

Валерий и Лидуся навещали меня ежедневно. Рука у сына была на перевязи, как у раненых, которых я девочкой видела после войны.

Лидуся бесконечное количество раз пересказывала историю о том, как голос ее заставил Валерия отпрянуть в сторону и спас ему жизнь. И как она, не дожидаясь зеленого света, ринулась через улицу.

«Дождалась, наверное... Дождалась!» Эта мысль зачем-то путалась на пути моей благодарности, пытаясь остановить ее. Я стыдилась этой нелепой мысли и отгоняла ее. «Какая разница, дождалась Лидуся зеленого света или не дождалась? Она же спасла Валерия!»

Но и его благодарность была затуманена последствиями Лидусиного звонка.

— Зачем ты сообщила? Да еще из больницы!

Я услышала, как сын негромко произнес это.

— Я в тот момент потеряла голову.

Валерий помолчал: он знал, что Лидуся ни в каких случаях головы не теряла.

— А теперь вот... мама — тяжелобольной человек. Из-за меня!

— При чем здесь ты? — воскликнула я.

«Тяжелобольной человек» — без этих слов меня аттестовать перестали.

Вскоре Калошину пришлось созвать еще одно внеочередное заседание. Но уже по требованию Лидуси. Она захотела, чтобы учком встретился с «ветеранами войны и труда».

— А зачем это?..— промямлил Калошин, помня, что он, как утверждала Лидуся, «покончил с собой» и, стало быть, для нее мертв.

— Зачем встречаться с ветеранами?! — переспросила она.

И он загробным голосом поспешил заверить, что понимает «зачем». Но в действительности никто, кроме Лидуси, об этом не знал.

Все стало ясно лишь на самом заседании... Ветераны явились разные: и учителя, и представители шефов, и жильцы нашего дома. Лидуся пригласила человек десять... И каждого ветерана попросила ответить на один только вопрос:

— Какую роль в вашей жизни сыграла довоенная музыка?

Она назвала песни, которые были записаны на обеих сторонах трех старых пластинок.

Ветераны примолкли, словно все вместе убыли в прошлое... Затем так же все вместе вернулись — и, дружелюбно перебивая друг друга, мечтательно перемещаясь от факта к факту, стали рассказывать. Сбереженные памятью факты выглядели доказательствами не напрасно прожитых лет. Факты эти они вольны были перечислять бесконечно, как делала Мария Теодоровна и как поэт волен часто, вслух обращаться к тем своим стихам, которые сделали его поэтом. Некоторые заплакали, чего так не любил Калошин, а некоторые запели... От возбуждения ветераны, я полагаю, кое-что преувеличили, потому что получилось, что без песен, которые до войны записала на пластинки Мария Теодоровна, а потом исполнили Лидуся с Валерием, они не смогли бы ни трудиться, ни воевать. Ни любить, ни жениться, ни выходить замуж...

— Похоже, Калошин, что совсем недавно тут, в этой комнате... ты пытался оскорбить святые человеческие чувства? — сказала Лидуся.

— Похоже,— промолвил он загробным полушепотом.

— А старые пластинки, значит, крутились и крутятся в ту сторону, в которую надо?

— В ту...

Через полтора месяца были перевыборы учкома.

— Калошин пал! — известила меня вечером Лидуся.

Она совершила еще один бескровный переворот.

У Валерия начал ломаться голос. По-медицински это называлось мутацией. А если определять по-простому, сын начал «давать петуха», окраска голоса, его оттенки то и дело менялись. Стало уж не до пения! Но Марию Теодоровну он навещал по-прежнему... В квартире, состоявшей из двух несовременно огромных комнат, Валерий встречался и с сыном Марии Теодоровны, которого трудно было называть сыном, потому что сам он уже успел сделаться дедушкой. Он все порывался переехать к матери, чтобы ухаживать за ней.

— Когда-то я любила, чтобы за мною ухаживали. Но это было давно. А сейчас-то зачем? Приходите в гости — и все. Я не больна... А гостей обожаю!

Мария Теодоровна, и правда, ничем не была больна. Но ее становилось... все меньше и меньше.

— Подслушала во дворе, что я угасаю,— шутливо сообщила она.— Приятней было бы услышать, что таю. Так как партия Снегурочки была моей самой любимой. Теперь вживаюсь в этот образ буквально. В его, так сказать, судьбу... Только вот Мизгиря, который бы после того, как я окончательно растаю, бросился в озеро, что-то не видно!

Она еще настойчивей повторяла, что надо «быть в форме». Эта форма, как и раньше, выглядела накрахмаленной, отутюженной, безупречно опрятной...

Понятие «быть в форме», видимо, включало в себя и обязанность все время что-нибудь напевать — хоть еле слышно и вроде бы машинально.

— Мурлыкаю,— говорила Мария Теодоровна.

Жизнерадостно мурлыкая, она расставалась с жизнью.

— Пусть в некрологе напишут: «Скончалась на семьдесят первом году». Привыкла быть семидесятилетней! Или заглянут в паспорт, а? Как ты думаешь? — спросила она Валерия.

— Никакого некролога не будет! — категорически заявил он.

— Ты считаешь, не заслужила?

— Вы будете продолжать... жить.

— Сколько же можно?!

Валерий рассказывал мне обо всем этом... И о том, как Мария Теодоровна, будучи не в силах иногда и мурлыкать, присев на круглый вертящийся стульчик перед роялем, наигрывала что-нибудь легкомысленное. Передохнув таким образом, она начинала вспоминать то, что и сам Валерий уже мог бы пересказать. Но подробности всплывали каждый раз новые, ему до того неведомые. Мария Теодоровна не сдавалась!

— Зачем ты наведываешься к ней... так часто? — спросила я.

— «Пока ты будешь приходить, я до конца не растаю!» Так она говорит.

До периода мутации Лидуся ходила к Марии Теодоровне вместе с Валерием. А как только мутация началась, ходить перестала.

Зато она как-то неожиданно навестила меня в детском саду. Скорее, ворвалась, утратив выдержку.

— Анна Александровна... объясните, пожалуйста, для чего Валерий каждый день туда ходит? — сузив глаза, что свидетельствовало о недовольстве и даже гневе, спросила она.

«Для чего?» — на этот вопрос Лидусе требовался ответ во всех случаях жизни. Но она, как правило, сама находила его, не тревожа других.

У Валерия по лицу обычно витала доверчивая, вопрошающая полуулыбка. Он вроде готов был без конца о чем-нибудь спрашивать. Но стеснялся... Его недоумения нередко были обращены и к себе самому. Лидусе же в основном все было понятно.

Но вдруг и она натолкнулась на непонятное. Это было для нее столь поразительно, что она захотела установить истину с моей помощью.

— Зачем ходит? — переспросила я.— Думаю... ему с Марией Теодоровной интересно.

Глаза расширились.

— А со мной ему неинтересно?!

— Кроме того, он, я думаю, испытывает к ней благодарность.

Глаза расширились еще больше.

— А ко мне он ее не испытывает?!

— Но пойми... он Марию Теодоровну еще и жалеет.

— А меня, значит, ему не жаль?!

Лидуся закрыла лицо кулаками. Подбородок ее страдальчески задрожал.

— Что ты? Что ты, Лидуся?..— всполошилась я.— Ходи туда... вместе с ним. Как было прежде...

— Для чего?! — Она оторвала кулаки от лица, чтобы с кулачной решительностью прозвучали слова: — Больше не пущу... Ни к кому не пущу!

То, что Валерий навещал Марию Теодоровну без видимой надобности, без какой-либо практической цели, представлялось Лидусе необъяснимым. Но дело было не только в этом... Он, выходит, принадлежал ей не полностью! Она ревновала его к угасающей жен-

щине... Верней, к тому времени, к тем душевным движениям, которые он посвящал кому-то, кроме нее.

«Она любит его! — не без ликования констатировала я.— Заставить Лидусю плакать... могла лишь какая-то чрезвычайность. Ею оказалась любовь к м о е м у сыну!»

Я видела перед собой лицо, которое от всякого необычного состояния становилось еще красивее. И красавица, которая могла выбрать в школе кого ей было угодно, выбрала моего сына!

Я растроганно прижала ее к себе.

Иногда говорят: «Нет характера...» Характером обладают все. Но одни сильным и стойким, а другие слабым и дряблым. Меня беспокоило, что характер сына был слишком податливым, раскрывающим, как послушный ключ, душу и тому, перед кем ей следовало бы замкнуться.

Но нежданно обнаружилось, что характер Валерия может быть непреклонным.

Когда Лидуся и ему крикнула: «Ни к кому не пущу!», он ответил:

— А я ни к кому и не пойду. Кроме Марии Теодоровны... Но к ней? Что бы там ни было! Я так решил.

Радоваться этому или нет, я не знала. Теперь уже в самой жизни у него прорезался голос, который заставил не только услышать себя, но и к себе прислушаться. Через благодарность и жалость мой сын переступить не сумел.

— Что бы там ни было? — испытующе уточнила Лидуся.— Т а м — это у нас с тобой?

— Что ты? У нас с тобой ничего плохого случиться не может,— смягчился Валерий.— Точней, между нами...

...Задумав программу действий, отправляясь в плавание к намеченной цели, Лидуся заранее предугадывала все возможные препятствия, старалась безошибочно определить, что ей грозит — коварно скрытые рифы или полускрытые, одновременно подводные и надводные айсберги... Но если все же обнаруживалось что-то непредусмотренное, ее пробивная мощь удесятерялась и способна была, по моему мнению, преодолеть любое препятствие. «Лишь бы Валерий ей не мешал,— думала я,— только бы не сбивал ее с курса!» Я знала, что Лидусин курс иногда мог представить ее для кого-то и в невыгодном свете, но невыгодным для моего сына он оказаться не мог. Я предпочла бы оснастить самого Валерия качествами зоркого мореплавателя, перед тем как отпустить его в полные неожиданностей жизненные просторы. Но тут я не надеялась на свои силы. Легче было не создавать гарантию безопасности Валерия в нем самом, а положиться на готовую гарантию, которой мне представлялась Лидуся. И я положилась.

Лидуся, затаившись от нетерпения, ждала, когда же кончится мутация голоса моего сына. Пропадет ли он, канет ли в школьное прошлое? Или вернется? Программа ее действий была всецело связана с этим.

И мутация, конечно, прошла. А голос, переждав неблагоприятный период, вернулся.

— Драматический тенор! Как я и хотела...— на слух определила Лидуся.— Дефицитнейший вариант! Мы вместе поступим в училище и «высшее музыкальное»...

Ей поступить было легче: она окончила музыкальную школу. И, конечно, с отличием. А Валерий учился в домашних условиях.

— Но зато у Марии Теодоровны! — провозгласила Лидуся.— Теперь уже это — рекомендация с такой высоты...

Она возвела глаза к небу.

Мария Теодоровна угасала естественно, как угасает лампада, когда иссякает масло.

Смерть человека, имевшего поклонников и поклонниц, с неопровержимостью выявляет либо искренность поклонения, либо его фальшивость.

Я никогда не слышала, чтоб у гроба исполняли романсы. Пели то, что любила Мария Теодоровна... С ней прощалась великая музыка, которая и была ее жизнью. Иногда романсы, как бы захлебнувшись, прерывались. Аккомпанемент, пробежав по инерции в одиночку небольшую дистанцию, растерянно затихал. Слезы мешали певцам. «Быть в форме!» — вспомнила я девиз покойной.

Романсы вновь овладевали фойе и вестибюлем оперного театра. Мария Теодоровна необычно старела и необычно расставалась со всеми нами. Люди прижимались к заштороненным черной материей зеркалам, к стульям с аристократично изогнутыми спинками, к гардеробным стойкам... Все вытягивали шеи, силясь увидеть Марию Теодоровну в самый последний раз. Молодая душа покинула ее тело — и узнать покойную можно было только по волосам. Ей стало ровно столько лет, сколько было.

Валерий и Лидуся стояли по обе стороны от меня. Она держала в руках что-то завернутое в бумагу и перевязанное рассветно-розовой лентой.

Так как дом наш был возведен еще до первой империалистической, в нем обитало много людей старых и пожилых. Они вглядывались в почти отсутствовавшее лицо Марии Теодоровны с особой, тоскливой пристальностью, провидя свое близкое будущее. Хотя смерть, как уверяют мудрецы, выкликает только по жребию...

Когда мы, подхваченные скорбным потоком, были вынесены на улицу, Лидуся протянула Валерию квадратный пакет, перевязанный лентой. И тихо сказала:

— Возьми пластинки... С них все началось. Ты помнишь?

— Помню.

— И прости меня. Ладно?..

Особенно Мария Теодоровна пригодилась на втором этапе, когда поступление в «высшее музыкальное» стало очередной Лидусиной целью. Но очередные планы не выстраивались в некую очередь: на каждом данном этапе они объявлялись неповторимо значительными для всей дальнейшей жизни. Срыва своих замыслов Лидуся не допускала. Даже походка ее менялась, становилась выверенно-наступательной. Она шла в атаку.

— На вокальное отделение поступить труднее всего,— разузнав, сообщила Лидуся.

Взглянув на ее сосредоточившийся, скульптурно выпуклый лоб, для баланса обрамленный нежнейшей белокуростью, я поняла: она что-то изобретает. И Лидуся изобрела!

Однажды она прямо с порога начала излагать мне, зная, что Валерия нет дома, а я поддержу любую ее затею, если она хоть в чем-то на пользу сыну:

— До вступительных экзаменов еще далеко... Только что закончились выпускные. А за ними в «высшем» что последует? Прощальный вечер, концерт!.. И я договорилась, что на нем выступит наш дуэт. Программу «Старые пластинки» (да, да, ту самую!) мы посвятим памяти Марии Теодоровны, которая преподавала в «высшем музыкальном» двадцать пять лет. Смогут ли отказать ее последнему ученику? Марии Теодоровны уже нет... Но она нам поможет!

И Мария Теодоровна помогла: через два месяца, вслед за Лидусей, приняли и Валерия.

Когда моему сыну исполнилось восемнадцать, он незамедлительно стал мужем. Лидуся и так уж после своего совершеннолетия заждалась: она была старше Валерия на полгода. Тут обнаружилось некоторое нарушение ее интересов: предпочтительней, чтобы жена отставала от мужа в смысле возраста, а не он от нее. Но Лидуся, не уклоняясь от этой темы, вспомнила, что Мария Теодоровна выглядела ничуть не старше

собственного сына. Так что, по-разному бывает — и не в возрасте суть.

Их отношения выдержали проверку детским садом, школьным периодом, училищем и половиной курса «высшего музыкального»... Эти отношения пора было узаконить!

Даже то, что Лидуся делала быстро, она не делала второпях. А тем более свадьба, которая была запрограммирована ею еще в дошкольные годы!

— О материальной стороне вы не думайте,— сказала Лидуся между прочим, не желая сосредоточиваться на этой «стороне», чтобы нас не обидеть.

Валерий вопрошающе вспыхнул и с беззащитной надеждой взглянул на меня.

— Почему? Я немного скопила... Специально на этот случай.

— Очень кстати! С вашей помощью мы через год отметим первую годовщину свадьбы. В семейном кругу! Но сейчас не об этом надо думать, а о том, кого пригласить.

— Тут уж... по зову сердца,— сказала я.

— И разума,— скорректировала Лидуся.

Поскольку разум занял главенствующее положение, список гостей составлялся долго. У сердца в таких случаях имена уже наготове, их надо только произнести, а разум скрупулезно вспоминает, выбирает, оценивает.

— Надо, чтобы гости после свадьбы стали в нашей жизни уже не гостями, а единомышленниками... и, если хотите, помощниками, благодетелями.

Предполагаемые благодетели составили абсолютное большинство.

— И хорошо... и дальновидно! — оценила я список.— Вам с Валерием предстоит бороться, завоевывать позиции!

— Вот, вот... «Завоевывать» происходит от слова «война»,— поддержала Лидуся,— а в войне необходимы союзники.

— Вслушивайся и запоминай,— посоветовала я сыну.

— Все должно быть продумано,— продолжала Лидуся.— Такое случается раз в жизни!

«У некоторых не один раз... Но уж у Лидуси повторов не будет!» — убежденно подумала я.

В самый канун свадьбы моя будущая невестка опять между прочим, как о решенном вопросе, сказала:

— Жилищная сторона пусть тоже вас не волнует. У нас три комнаты... Мама и папа будут счастливы!

Валерий вскинул вверх прядь, которая по-мальчишески ниспадала на лоб и придавала лицу еще более простодушное выражение.

— Мы будем жить здесь. С м о е й мамой.

Я чувствовала, что он хотел добавить: «Мама — тяжелобольной человек». Но в моем присутствии удержался.

Лидуся оторопела... У нее был такой вид, какой может быть у полководца, не знавшего поражений и внезапно наткнувшегося на сопротивление в том самом месте, где он рассчитывал на беспрепятственный марш.

— Мы бы освободили вас от всех забот,— обратилась она ко мне.

— Зачем маму освобождать от меня?.. И от тебя? — ответил Валерий.

Внезапная твердость мягкого человека иногда оказывается непреодолимей привычной твердости человека волевого.

Именно таким голосом, мне почти незнакомым, объяснял сын, как будет ежедневно навещать Марию Теодоровну, «что бы там ни было». Я поняла: «что бы там ни было», он не покинет мой дом.

— Может быть, отменить свадьбу? — спросила Лидуся. Глаза ее сузились, превратившись в длинные огнестрельные щели. Подбородок еле заметно задрожал.

«Вот сейчас она, как тогда, прикроет лицо кулаками...» — в страхе подумала я.

— Отменить свадьбу?!— вопрошающе взглянув сперва почему-то на меня, а потом на Лидусю, изумился Валерий.

— Но ты, как выяснилось, можешь жить без меня?

— Не могу,— честно ответил он. И, разведя руками, добавил: — Но и без мамы не хочу. К тому же, тебе известно... она — тяжелобольной человек.

Через силу, преодолевая себя, он все же прибегнул к этому аргументу.

— Что ты, Валерий? Что ты?! — засуетилась я.— Мне совершенно не нужна помощь. Совершенно! Я не нуждаюсь в ней.

— Я не сказал, что ты нуждаешься. Но хочу быть спокоен... И поэтому мы будем жить вместе с тобой. Я так решил.

«Я так решил...» Вновь услышала я от сына эти слова. Они не были девальвированы частым употреблением и были обеспечены, как я поняла, золотым, хоть и скрытым в повседневности, запасом воли.

Сын каждый день дотошно проверял, не забываю ли я сама себе делать уколы. Тяжелая форма диабета дарит больным квалификацию медсестер.

Самым пугающим для Валерия словом было теперь слово «кома», напоминавшее мне почему-то зимние дни и комья снега, которые мои питомцы швыряли друг в друга. Кома... Этот термин обозначал то состояние диабетиков, которое является для них кратчайшей дорогой расставания с жизнью.

Был случай, когда я по этим рельсам уже устремилась в небытие, но сын, оказавшийся рядом, успел перевести стрелку.

— А м о и родители? — совладав с собой, осведомилась Лидуся.

— Их двое... А мама одна.

Суетливыми фразами я пыталась смягчить их диалог, помочь найти выход:

— Живите попеременно: то тут, то там!

— Когда ты выздоровеешь... тогда — пожалуйста,— ответил Валерий.

Он знал, что болезнь моя неизлечима.

На миг Лидусины глаза опять превратились в огнестрельные щели: она возненавидела эту болезнь, из-за которой ей пришлось отступить. «Не меня, а болезнь,— объясняла я себе.— Но разве и сама я не испытываю бессильной ненависти к своей болезни?»

Второй раз, как говорят, у меня на глазах сын проявил характер, перед которым Лидусе пришлось сдаться.

«У него, оказывается, есть воля... А у нее есть любовь! Иначе бы она не сделала ни шагу назад»,— радовалась я сразу по двум поводам.

Валерий подошел к Лидусе неловко, потому что и это было у меня на глазах, обнял ее и сказал:

— Знай... Я не могу жить без тебя. И никогда не смогу.

Я сразу вспомнила о своих кухонных делах, заторопилась исчезнуть.

А когда вернулась обратно, Лидуся, уже полностью уверившись, что сын мой дышать без нее не сможет, обстоятельно продолжала готовиться к свадьбе. Обстоятельность была одним из определяющих ее качеств.

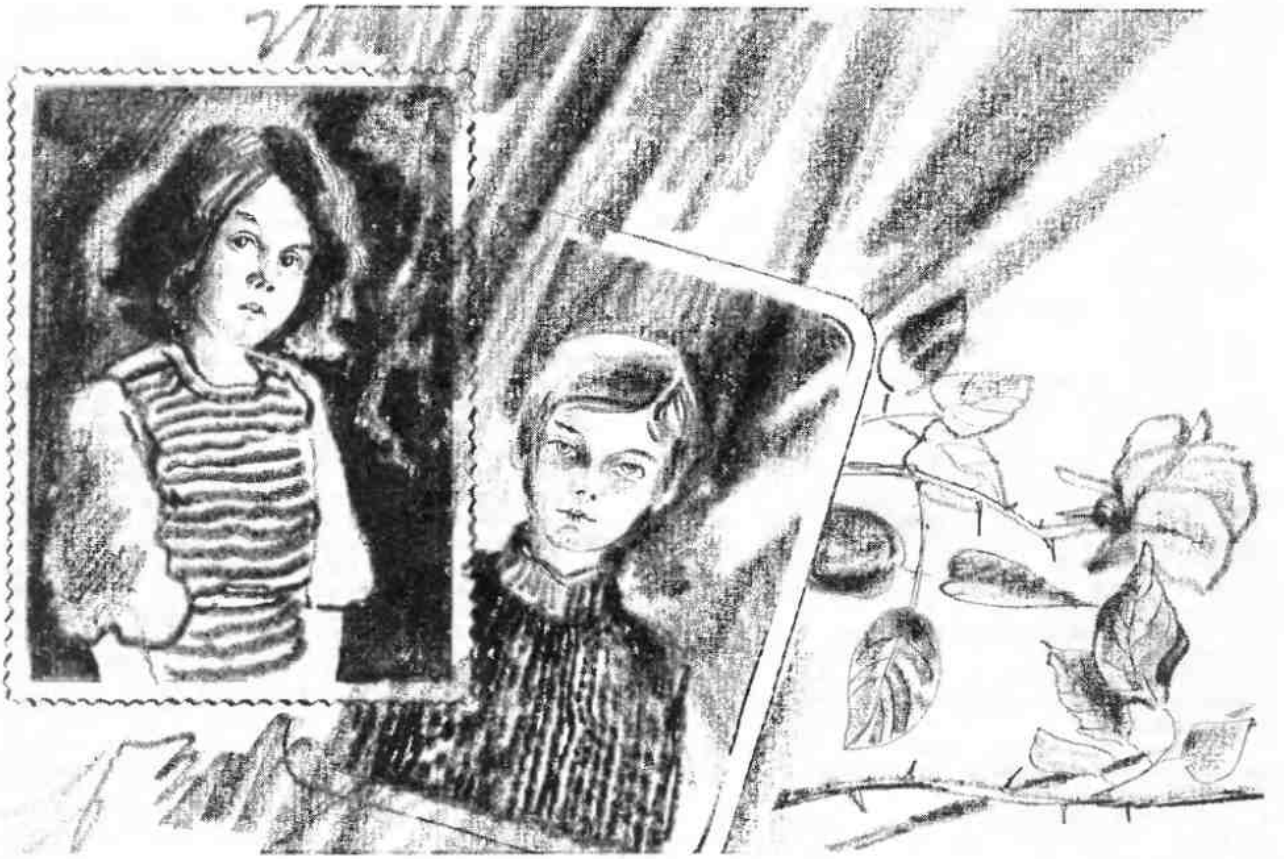
— Во время свадьбы состоится концерт. Но только силами новобрачных! — объявила она.— Иначе к чему приглашать из «высшего» доцентов и профессоров? Пусть еще раз услышат... Но уже классический репертуар! Вообще свадьба должна обойтись без всяких там современных ритмов и отплясываний. Они этого терпеть не могут. Все должно соответствовать консерваторскому духу!

«Если б она руководила им ежечасно и всегда! — восторгалась и надеялась я.— Можно было бы спокойно закрыть глаза... Добрый гений нашей семьи!»

— Мама предложила, чтобы и бас выступил под ее аккомпанемент.

— Спасибо Полине Васильевне! — не подумав, признательно отреагировал мой сын.

— Это ни к чему... С какой стороны ни взгляни! — осадила его Лидуся. Она все рассматривала с разных сторон. Иначе говоря, «всесторонне».— Без всякой пользы маме и ее басу! Они же не студенты «высшего музыкального»... Это во-первых. А во-вторых... Зачем два дуэта на одной свадьбе?



...Лидусиного отца звали Модестом Николаевичем. Модестом он был в честь Мусоргского. Хотя, по его собственным словам, услышанным мною еще в детском саду, «посвятил себя скромному делу»: настройке роялей.

Повзрослев, Лидуся внушила отцу, что все зависит от того, к о м у он настраивает рояли. Она умела побуждать близких ей людей к активности и совершенствованию (если не нравственных качеств, то уж профессиональных во всяком случае!). Отца она побуждала стать уникальным настройщиком. Так как в доме к ней и прислушивались за троих, он исполнил желание дочери.

— В любой профессии можно стать дефицитным специалистом, за которым охотятся,— разглагольствовала Лидуся.— Не человек должен предлагать свои услуги, а его услуг должны домогаться.

«Полезно, очень полезно, чтобы мой сын усвоил ее взгляд на профессии,— думала я.— Пусть к нему обращаются с протянутой рукой, а не он протягивает руку за подаянием... Лидуся не только поступками, но и своей философией прокладывает ему дорогу».

Модест Николаевич постепенно, при посредстве Лидуси, стал настраивать рояли почти всем преподавателям консерватории, а главное — всем знаменитым певцам и пианистам нашего города.

— Со временем он будет настраивать не только их рояли, но и их самих! — предрекала Лидуся.— Нашему дуэту это не помешает.

«Лишь бы ее у Валерия не похитили... Лишь бы не похитили!» — мысленно причитала я.

Желающих совершить похищение насчитывалось немало — среди студентов и даже среди профессуры. Ведь на нее еще в школьные годы трудно было «смотреть в упор».

Но Лидуся была безукоризненно верна моему сыну. Если к ней начинали подступать с комплиментами, она комплиментами и отвечала. Но они касались не мужских качеств собеседника, а его музыкальных достоинств или достоинств его жены. То, что было ее личной собственностью, она по-прежнему оберегала от любой порчи и унижения.

«Ради меня... пусть она и впредь считает моего сына своей собственностью!» — мечтала я.

Проектные и планирующие организации лишь сочиняют проекты и планы, но за их воплощение не отвечают. За это отвечают другие... Лидусе было сложнее: она и сочиняла, и воплощала.

Все чаще я сравнивала ее с целым учреждением, которое работало и на моего сына. Могла ли я не грезить о процветании такого учреждения?

Модест Николаевич и Полина Васильевна считали главой своего дома Лидусю даже тогда, когда их дочь была еще в детском саду. И естественно, что она, студентка «высшего музыкального», стала полновластной хозяйкой н а ш е г о дома.

Родители готовы были отдать Лидусе все, оставив себе лишь необходимую одежду, постельное белье и голые стены. Но она являла собой ценность, не нуждавшуюся в приданом. Поэтому взяла из родительской обители только то, без чего не могла обойтись. К примеру, один из двух роялей, которые были в квартире Назаркиных. Потому что и пианисток там было две. А кроме рояля захватила лишь чемоданчик... Она вообще предпочитала плывущему в руки то, чем нужно было, пустившись вплавь, завладеть самой.

Когда Валерий и Лидуся перешли на последний курс, был создан проект их участия в конкурсе молодых вокалистов. Предстояло воплощение...

На конкурсе соревновались певцы, но мой сын уже отучился чего-либо добиваться в одиночку. От нашей семьи в состязание предстояло вступить дуэту.

Модест Николаевич, воспитанный дочерью, был, как говорила Лидуся, «дефицитнейшим настройщиком» во всем городе. Быть не лучшим настройщиком е е отец не имел права! Он настраивал рояли и всем членам будущего жюри, включая самого председателя.

— Решающая настройка тебе предстоит сейчас,— сказала Лидуся.

И он, привыкший повелевать струнами, сам приструнился, осознав необычайность момента. Это произошло у него внутри... А внешне он оставался полусогбенным, как бы раз и до конца дней склонившимся над раскрытым роялем. Смерть двух дочерей так согнула его, что даже успехи третьей не смогли распрямить.

Настройщик становится своим человеком в доме клиентов... Модест Николаевич, кроме того, обладал такой деликатностью, к которой хотелось приблизиться, будто к растопленному камину в холодной комнате или к уютно потрескивающему костру в сыром лесу. Такое желание возникало, даже если в семьях, куда он приходил, сырости и холода не было. Лидуся не сражалась с мягкостью матери и деликатностью отца, считая их сильнодействующим оружием.

Небольшой по размерам источник энергии бывает несравнимо мощнее источника объемного и громоздкого. Мелкие черты лица Полины Васильевны лучились такой отзывчивостью, что способны были обогреть всех, кто с нею общался. Ее мягкость и согбенность Модеста Николаевича, составив дуэт, породили целеустремленную твердость, имя которой было Лидуся. «Сын за нею, как за каменной стеной!» — ликовала я.

— О нас, по-моему, не надо просить,— не протестуя, а словно бы размышляя, сказал Валерий.

«Зачем ты вторгаешься? Зачем пытаешься подсказывать? Она знает, что делает!» — Я старалась выразить это на лице, обращенном к сыну.

— Просить я отцу запретила. Он был готов. Первый раз в жизни! Но я запретила... Они же знают, что я его дочь, а ты мой муж. И этого достаточно. В такой ситуации отсутствие просьбы сильнее, чем просьба.

Лидуся знала, что делала... Когда она и Валерий вышли на сцену, я (вероятно, одна среди присутствующих!) ощутила, что членам жюри и самому председателю показалось, будто вышел Модест Николаевич, которого они воспринимали как члена семьи. Все, от кого зависели в том зале решения, пытались что-то скрыть в своих взглядах и движениях. Они пытались скрыть доброжелательную предвзятость, невольно запрограммированную Модестом Николаевичем... который никого и ни о чем не просил.

Лауреатского звания из дуэта удостоился только Валерий: это был конкурс вокалистов. Но в решении жюри отмечалось и высокое мастерство аккомпаниатора.

Выступление дуэта было, и правда, лучшим на конкурсе... Благодаря Модесту Николаевичу жюри признало истину с особым удовлетворением. Но именно истину! Я уже писала, что, устремляя себя и Валерия к какой-нибудь цели, Лидуся создавала впечатление, что, если цель будет достигнута, решатся все без исключения проблемы нашего бытия. Но когда задача оказывалась решенной, возникала другая, от которой тоже зависело все на свете. Рекорды, я поняла, достигаются лишь таким образом.

Мой сын и Лидуся стали красою и гордостью «высшего музыкального». Гордостью в большей степени был Валерий, а красою — Лидуся.

Наступила пора афиш и концертов... Мелкий шрифт на афише не допускался. «Лидия и Валерий Беспаловы» — печаталось одинаково крупными буквами. А пониже, такими же буквами: «Вечер русского романса». Лишь на самом концерте выяснялось, кто поет, а кто аккомпанирует.

Вначале Лидуся кратко рассказывала о том, как ее озарила мысль создать дуэт, который она в полушутку называла «семейным». Когда появлялся Валерий, зал был уже покорен, а мужчины поглядывали на моего сына с завистью. Так как рта он еще не раскрывал, я понимала, что источником зависти было не то, что он обладал голосом, а то, что обладал Лидусей. Из ее вступительного слова почти невозможно было понять, кто же лауреат согласно решению жюри. Ясно было одно: согласно совести, лауреатства достойны и она, и Валерий, и они вместе, объединившиеся в дуэт.

Мария Теодоровна научила Валерия быть не певцом, а артистом. Я не сумела бы определить, что́ было основным в его исполнении — владение голосом или проникновение в истории, чаще всего любовные, которым посвящались романсы. Голос его и душа казались неразделимыми. Лидусин аккомпанемент содействовал этому объединению. Наверное, лишь содействовал... Но она, как и на давних школьных концертах, первой выходила на сцену и первой кланялась, принимала цветы. С особой пылкостью их дарили жильцы нашего дома, приходившие на концерты по пропускам. Валерий искренними, безыскусными телодвижениями — в этом и было искусство! — тоже выражал благодарность жене и вручал ей цветы, которые адресовались ему.

«Какая разница? — рассуждала я.— Все равно букеты будут в нашей квартире! Да и по справедливости она заслужила... Он бы без нее не запел!»

С каждым концертом Лидуся все тщательней оттачивала мастерство общения со зрительным залом. И отточила его до такой степени, что острие этого мастерства стало все же слегка покалывать мое материнское самолюбие.

Когда мы возвращались домой, Лидуся принималась рассказывать о концерте так, будто мы на нем не присутствовали. Но она не была в упоении. Наоборот, припоминала оплошности и не романсы, которые просили повторить на «бис», а те, что тянули за собой недолгие, разрозненные хлопки. Лидуся четко отличала хлопки от аплодисментов.

— У великих были романсы замечательные и совершенно замечательные,— утверждала она.— Но не было «проходных»... Проходными их сделало наше исполнение.

Она изучала, исследовала, подводила итоги. Это требовалось для программы дальнейших действий.

— Некоторые считают, что успех должен нарастать, как бы созревать по ходу концерта. И в конце спелым плодом падать к ногам исполнителей! — помню, сказала она.— Движение «по нарастающей»?.. В общем стратегическом аспекте это подходит. Но для данного конкретного концерта — ни в коем случае. Триумф от первого до последнего номера — вот какую цель надо преследовать. Ее, вероятно, нельзя достичь. Но и не стремиться к ней тоже нельзя!

Она выдвинула перед собой и Валерием программу-максимум. Полумаксимум или минимум Лидусю никогда не устраивал. А Валерий был лишь талантливым «исполнителем»... В том числе и ее воли.

«Пусть лучше идет на поводу у этой воли, прокладывающей ему путь,— уверяла я себя,— чем у своей собственной, не закаленной тщеславием!»

Конечно, созревавшие по ходу концерта плоды успеха падали прежде всего к ногам Лидуси. Она проповедовала равноправие аккомпаниатора и певца, но равноправие несколько нарушалось в пользу аккомпаниатора... Восстанавливать его Валерий не собирался. И я проявляла терпимость, поскольку не сомневалась, что терпение мое во благо сыну. А это благо было тем, ради чего я дышала и превозмогала болезнь.

Выступление на чужом выпускном вечере пять лет назад Валерий и Лидуся посвятили памяти Марии Теодоровны. И на своем выпускном балу они повторили репертуар старых пластинок. В этом была признательность доброй наставнице, но и Лидусин маневр:

— Никто не должен думать, что тогда, в первый раз, мы спекулировали на ее имени.

— Разве мы тогда повторяли старые пластинки... для чего-нибудь? — удивился Валерий.

— Какой бред! — Большие темные глаза Лидуси предельно растянулись, сузились от неискреннего возмущения. Наигранные чувства всегда выражают себя чересчур наступательно.— Какая чушь!.. Но эта чушь может кое-кому прийти в голову. Ты думаешь, чем выше по лестнице славы, тем легче общение? Со зрителями — да, безусловно. Но с коллегами — наоборот!

— Да все уже забыли о том первом разе,—благодушно возразил мой сын.

— Ошибаешься... Сейчас многие в уме восстанавливают наш лауреатский путь, анализируют секрет достижений: с чего начинались, как развивались?.. А мы в этом училище начали с благодарности Марии Теодоровне и простимся словами благодарности. Мы ничего не делали хитроумно! И не изменились оттого, что победили на конкурсе... Понимаешь?

— Впитывай в себя ее рассуждения! Ее ход мыслей... Это беспроигрышный ход! Ходить по-своему с твоим характером небезопасно,— убеждала я сына.

Эти мольбы, обращенные к нему, часто выражал и мой взгляд: «Впитывай, впитывай...» Вероятно, он не очень умело, так сказать, по складам читал то, что было написано на моем лице. За Лидусиной же предприимчивостью следовал по инерции и любви, но не в мыслях. Я чувствовала, что он возлагает надежды исключительно на свой голос и Лидусино музыкальное руководство. А остальному ее руководству подчиняется без вдохновения.

Лидуся тоже прежде всего уповала на свой музыкальный дар и на трудолюбие, которое было бы непостижимым даже для некрасивой женщины, а для красивой было, на мой взгляд, попросту уникальным. К тому же она умудрялась ни на мгновение не забывать о том, что и с внешней красотой нельзя обращаться небрежно. «Быть в форме!» — этот завет Марии Теодоровны был для нее не призывом, не лозунгом, а тоже программой действий.

— Даже выдающемуся таланту никогда еще не удавалось обойтись лишь собственными силами,— убеждала Лидуся.— Каждый человек, я уверена, прибегал к помощи дипломатии... Принимал поддержку тех, кто в масштабах вечности и ногтя его не стоил!

Нередко она повторяла:

— Говорят, что самая короткая дорога — это дорога знакомая и прямая. Так на улице... Но не так в жизни: она заставляет искать обходные пути.

— Но не всегда же,— усомнился как-то Валерий.

— Почти всегда.

Лидуся произносила это в моем присутствии, зная, что обретет союзницу. Я часто и не вникала в суть ее слов, а поддерживала их с ходу, потому что верила: они пригодятся, помогут моему сыну. А только это и имело значение для меня.

Не без помощи дипломатии и поддержки тех, кому Модест Николаевич настраивал рояли, Валерию и Лидусе предложили гастроли по крупнейшим городам... Концертные залы, в которых им предстояло выступать, были для начала не самыми прославленными. Но Лидусю это устраивало: она восприняла первую гастроль как репетицию гастролей последующих.

Лидуся всё со всеми согласовала... Не забыла и назвать гостиницы, где бы ей хотелось остановиться.

— Престиж гастролера начинается с гостиниц, в которых его поселяют,— объяснила она мне и Валерию.

«Впитывай, впитывай...» — умоляло мое лицо.

Она выбрала администратора по прозвищу «Что? Где? Когда?». Шутили, что если бы для концертной программы понадобилось временно перенести на сцену один из городских памятников, он бы лишь поинтересовался, когда его надо установить и где, в каком месте сцены.

Словом, каждая деталь была учтена и проверена. Деталям Лидуся придавала особое значение...

— Поломка даже мельчайшей из них способна вывести из строя гигантскую машину или целый человеческий организм.

Но неожиданно одна деталь отказала. Лидуся бы без промедления заменила ее другой, если бы этой деталью не был Валерий.

Количество сахара у меня в крови как раз в те дни резко повысилось. Вероятно, от очередных потрясений... Меня потрясали любые значительные собы-

тия в жизни сына — не только плохие, но и хорошие: а что если наступит расплата (известно, что за все надо платить!) и радостные события сбалансируются печальными?

— Вам нужен покой,— с иронией безнадежности советовали врачи: они знали, что прописывают лекарство, которое невозможно достать.

«Высшее музыкальное» мой сын, как и Лидуся, окончил с отличием... Но ведь о т л и ч и л и его в результате экзаменов. Валерий ждал их с благодушной уверенностью, а у меня «повышался сахар». Дуэту сулили распахнуть двери филармонии, но пока их распахивали, сахар продолжал «повышаться». Обещали и гастроли по таким городам, где своих звезд предостаточно... Но пока размышляли, не затмят ли местные звезды свет звезд приезжих, количество сахара достигло такого уровня, что Валерий сказал:

— Я не поеду.

И тогда, чтобы он отказался,— нет, конечно, не от поездки, а от этого заявления! — я решила залечь в больницу. Там уж мне не забудут вовремя делать уколы!

Я залегла, а дуэт отправился на гастроли.

— Ни о чем не беспокойся, мамочка! — на прощание обратился Валерий с просьбой столь же невыполнимой, как и предписания докторов. Почувствовав это, сын добавил: — После каждого концерта мы будем посылать телеграмму.

Мне давно уже предлагали «госпитализироваться». А как же Валерий? Как же Лидуся?.. И вдруг оказалось, что им будем удобнее, легче, если я госпитализируюсь.

— Полежишь, почитаешь...— сказал Валерий.

«Попишу!..» — мысленно добавила я. И захватила с собой толстую тетрадь в целлофановом переплете, которая тайно и без надобности пролежала у меня под подушкой в родильном доме. В ней, именно в ней, обещала я мужу описывать день за днем все, что будет случаться с нашим сыном. За двадцать два года с ним случалось многое... Но я так и не выполнила обещания, данного мужу: времени недоставало. А он напомнить уже не мог.

«Наверное, и к лучшему, что не писала по горячим следам, а лишь сейчас раскрою тетрадь! — размышляла я.— Не по горячим следам... Ведь и хирургические операции в «горячем» или, как еще говорят, в «остром» состоянии опасаются делать. Хорошо, что не торопилась: «большое видится на расстоянье» не только в истории государства, но и в истории жизни одного человека, одной семьи...»

Попав в терапевтическое отделение, я вспомнила, как совсем молодой лежала в отделении с более пугающим названием — в онкологическом. Меня туда направили, как выяснилось, по ошибке, без должного основания, а некоторых, увы, с основанием. Вспомнила Иришку и Маришку, которые так ждали звонков, изготовившись на краю своих неприглядных больничных коек мчаться навстречу тому, что казалось им зовом любви. Но зов постепенно увядал как бы в тон увяданию их здоровья. Я прожила уже почти в три раза больше...

Почему и в тетради я начала свои записи с тех далеких времен? Не знаю. Ведь это было еще до рождения сына. Некоторые люди старшего поколения делят жизнь на «до войны» и «после войны». А я делила на «до рождения сына» и «после его рождения».

Да, начала я издалека. И дошла до поры сегодняшней. Много исписала страниц... Ведь пролежала я столько, сколько продолжались гастроли: полтора месяца.

Инсулин, уколы... Без этого я не могла. Остальное лечение неизлечимой болезни мне казалось напрасным. Кроме телеграмм, о которых и сестры мне сообщали так, будто обнаруживали средство исцеления:

— Беспалова, вам опять!..

Валерий еще в детском саду направо и налево все раздавал. Он сберег этот размах, который Лидуся называла купеческим. Учитывать стоимость каждого телеграфного слова он не желал. Телеграммы были похожи на письма — кратчайшие слова, именуемые «союзами», он сохранял: зачем уничтожать или разрывать союзы? Без их помощи в жизни и в телеграммах иногда не поймешь, что к чему.

Сын обычно, как говорила Лидуся, «был скромен до безобразия». В телеграммах он этого безобразия не допускал... Судя по ним, гастроли проходили блистательно. Я могла допустить, что, оберегая меня от потрясений, Валерий преувеличивал. Но преувеличивать можно лишь то, что в основе существует реально.

Когда же я увидела Лидусю, вернувшуюся с гастролей, то поняла: слово «блистательно» не являлось гиперболой. Лидуся сама блистала — и ей можно было говорить только то, что было похоже на аплодисменты.

Атмосфера встреч на вокзале, изысканная услужливость администратора по прозвищу «Что? Где? Когда?», отработанная вежливость гостиничных дежурных по этажу и, наконец, благожелательность и даже восторженность зрительных залов — такая атмосфера не могла постоянно обитать дома. И Лидусю потянуло в следующие гастроли.

Потянуло, но ехать она не спешила...

— Гастроли бывают разные, как и гостиницы, в которых останавливаются гастролеры,— объясняла она Валерию, который вообще предпочитал жить дома, а не в гостинице, петь в родном городе и за течением моей болезни наблюдать не издали, а вблизи.— Надо, чтобы предстоящая поездка была еще счастливее предыдущей. А счастье как завоевывают?

— Личное или творческое? — спросил Валерий.

— Они взаимозависимы,— уверенно заявила Лидуся.— Счастья же в искусстве добиваются только подвижники.

А я воскликнула:

— Впитывай, впитывай!..

Струны рояля, наверное, не выдержали бы Лидусиного подвижничества, если б за ними не следил лично Модест Николаевич. Слава богу, дом наш был построен до первой империалистической,— и сквозь его стены звуки к соседям не прорывались. Голос моего сына Лидуся берегла больше, чем свои руки. Она, к примеру, заставляла Валерия, будто ребенка, спать днем.

— Тихий час,— объявляла она.— Как в детском саду!

И объясняла мне:

— Во сне он не разговаривает. Надо, чтоб связки полностью расслабились, отдохнули.

Лидуся придумала новую программу: «Романс наших дней». А концертные программы и становились для нее программами непрерывных действий.

— Почему-то к слову «романс» хочется добавить эпитет «старинный». А мы докажем, что этот жанр не только живет, но процветает! Конечно, в творчестве всего нескольких композиторов. Но таланты никогда толпами по земле не бродили. «Кучка» была... И сейчас наберется.

— «Могучая»? — спросила я.

— Достаточно мощная.

— Публика все же предпочитает романсы старинные и классические,— робко высказала я свое опасение.

— Современное тоже может быть классическим,— не возразил, а как бы разъяснил мне Валерий.— Стасов не боялся возводить на пьедестал живых. Если они заслуживали... Но не только критики должны возводить — и исполнители тоже.

— Наши гастроли это докажут! — темпераментно подхватила Лидуся.

Я поняла, что снова пора в больницу.

«Зависть обвиняет и судит без доказательств»,— прочла я у одного мыслителя. Предельно мобилизованная на защиту сына от зависти, я продолжала

вооружаться раздумьями знаменитостей, страдавших когда-либо от нападений завистников. Страдали, как я выяснила, фактически все... Каждый имел своих гонителей. Правда, имена страдавших сохранили века, а имена нападавших бесследно канули в Лету. Но страдавшие об этом не знали и этим не могли утешаться...

Я имела право презирать и ненавидеть завистников, потому что сама ни в каких случаях и никому не завидовала. Кроме, пожалуй, людей преклонных лет, не отягощенных недугами своего возраста, не нуждающихся в посторонней помощи и не изнуряющих своим бессилием родных и близких. Я думала: «Мне бы такое!..» Но такого мне не досталось. Еще не достигнув старости, я досрочно приобрела ее боли и немощи.

Гастроли дуэта, казалось, хотели помочь мне: благодаря им я регулярно укладывалась в больницу.

Из детского сада пришлось уйти... Проститься с моей работой означало проститься с детьми. А это, я думаю, труднее, чем с конструкциями, чертежами и кабинетами. В течение долгих лет я опять и опять как бы начинала жить заново: когда учишь произносить слова, и сама этому учишься, а когда помогаешь постигать окружающее, и сама постигаешь его по-иному... Не разлучаясь с детьми, чудится, не расстаешься и с собственным детством. А разлучившись, с грустью наверстываешь те годы, которые — такой возникал мираж — отделяли тебя от твоего настоящего возраста.

— Вам нужен покой! — убеждали врачи.

Но, став пенсионеркой и еще не привыкнув к этому состоянию, не слыша больше произносимое десятками младенческих голосов то призывно, то жалобно, то просто с нежностью: «Анна Александровна!», я покоя не обрела. Потому что не с должностью, не со службой рассталась, а с детьми.

Предстояла и очередная разлука с сыном. «Роману наших дней» предоставили не только «авторитетнейшие географические точки», как говорил администратор «Что? Где? Когда?», но и лучшие, «самые престижные», по его словам, концертные залы. Одна разлука печально состыковалась с другой. Стыковка не была плавной и незаметной, она отозвалась в моем организме таким нервным толчком, что, слушая очередную репетицию новой программы, я стала помимо воли все глубже погружаться в свое любимое старинное кресло, в котором, как мне грезилось еще с малых лет, можно было спрятаться, укрыться от беды и невзгод. Постепенно я начала утрачивать ощущение мелодии, а потом и звуков вообще. Впала в трагичное забытье, которое называлось «комой» — словом, по-прежнему ассоциировавшимся у меня с извечной потешной игрой, с комьями снега, летящими по разным траекториям через дворик детского сада.

Позже я узнала, что Валерий оказал мне срочную помощь — сделал укол, а затем уж вызвал ту «скорую помощь», которая могла явиться нескоро.

Нельзя было сказать, что я окончательно «пришла в себя»: силы, которые покинули меня, не возвращались. Но в сознание я вернулась... Однако время от времени бессильно прикрывала глаза — и тогда Валерий паническим полушепотом заклинал:

— Не пропадай... Очнись, мамочка! Не пропадай...

Сын поманил Лидусю в коридор. И там что-то сказал ей. Его слов я не слышала... И только Лидусин ответ помог мне понять: он сказал, что надо отменить гастрольную поездку по «авторитетнейшим географическим точкам». И, вероятно, добавил: «Мама — тяжелобольной человек».

— Значит, наша судьба так всегда и будет... сталкиваться с ее здоровьем? — спросила Лидуся от раздражения слишком внятно. Думаю, она полагала, что я не вернулась из забытья.

— Но ведь мы можем выступать и здесь... у нас в городе,— предложил Валерий.

— Давай лучше ограничимся одним районом! В общем, я понимаю... Наша музыкальная карьера остановлена стоп-краном под названием «диабет».

— Болезнь пройдет.

— Ты знаешь, что этого не будет. А тянуться она может долго. Непредсказуемо долго...— Лидуся не сдерживала себя: она была уверена, что я в забытьи. Громкостью голоса она как бы пыталась заглушить для Валерия смысл своих фраз.

— Тише... Что ты хочешь... сказать?! — потрясенным полушепотом спросил он.

— Ничего, кроме того, что сказала.

— Мы никуда не поедем... Я так решил.

«Далеко все зашло... Далеко! — точила я себя бесконечными раздумьями в больнице.— Я нарушила программу Лидусиных действий. Сама того не желая, посягнула на новый ее проект... А этого она не допускает! Я мешаю не только гастролям, но и спокойствию, без которого, как говорит Лидуся, «успеха не может быть». Творческий непокой, уверяет она, должен сочетаться с зоной покоя вокруг творчества... Я мешаю их единению стать абсолютным. «Дуэт — это одно лицо в двух лицах!» — такова суть Лидусиной «дуэтной» теории. Значит, я мешаю их счастью... Не слишком ли многому я мешаю? Лидуся не сворачивает с намеченного пути. Не отступает ни на вершок... Но вдруг наткнулась на мою болезнь. Она переступит через нее. И через меня вообще! Через все переступит... Я поняла это—наконец и, кажется, до конца. Тогда надо что-то в этой тетради исправить, переписать. Написать заново! Зачем? Да так... Ради точности и справедливости. Справедливости? Но разве я не была заодно с Лидусей? Во всем заодно!.. А если так, смею ли хоть в чем-нибудь обвинить ее? Самая умная девочка в детском саду... Не я ли первой возвестила об этом? А надо ли было это провозглашать? Добрый гений нашей семьи... Сколько же опрометчивых провозглашений и всяких опасных нелепостей преподносим мы людям уже во младенчестве! И в юные годы... Так имею ли я право кого-либо упрекать? Но все равно допишу, исправлю...»

Валерий навещал меня по два раза в день. Лидуся не приходила.

— Поверь, она тоже... недомогает,— объяснил сын.— Просто переутомление. «Романс наших дней» виноват.

— Не романс виноват, а я...

— Что ты говоришь? Что ты?!

Он ведь не знал, что я слышала т о т их разговор.

— Не думай об этом! Тебе нельзя,— заклинал Валерий.— Она скоро поднимется... и придет! А как у тебя с сердцем?

— Хорошо, к сожалению,— ответила я.

— Что ты говоришь? Что ты?!

Сомнения и тревоги продолжали одолевать меня. И через полмесяца я не выдержала... «Вырвусь на день из больницы. На один только день! Упрошу врачей,— решила я.— Вырвусь... Шприц дома есть, инсулин тоже».

Она недвижно сидела в своем любимом глубоком кресле, в котором, как ей грезилось с детских лет, можно было спрятаться от беды и невзгод. Рука сжимала письмо, очевидно, найденное на столе: «Ты опять между мною и своей матерью выбрал мать. Хоть бы соблюдал очередность: то ее, то меня! Ухожу домой. Навсегда ли? Это зависит от тебя. Выбирай! Хотя я уверена, что выбор твой будет прежним».

Внизу другим почерком было написано: «Благодарю тебя, сын».

Она забыла сделать укол? Или не успела?.. Этого никто не знал... И не мог узнать уже никогда.

Евгений ВИНОКУРОВ

Снег

Ну что ж,
давно уж снега вдоволь,
а он все сыплет над Москвой...
Как белизной он пишет с кровель,
на скверах и на мостовой!
Уж наше небо стало мглистым...
Снег белый, видный из окон,
нас учит одному: быть чистым,
как эта вот зима,
как он...

Загадки

Так же, как в глубокие озера
длинную забрасывают сеть,
так же вот глазами фантазера
надо в мир однажды
посмотреть...
И тогда-то, словно бы случайно,
что-то, право ж, выловит чудак!..
Это будет непременно тайна,
та, что объяснить нельзя
никак!..
Сколько же разбросано по свету
разных тайн в необоримой мгле!..
Только для глупцов, пожалуй, нету
никаких загадок на земле...

Концерт

Как сообщил в отделе хроники
листок, кузнец-передовик
играл весь вечер на гармонике:
Шопен, Бетховен, Бах и Григ...
Молчал, собравшийся заранее,
набитый до отказа зал.
Районный гармонист в старании
кудрявым чубом потрясал!..
И пальцы клавишей не путали,
и в зале том, где тишина,
не были чужды русской удали
тех иностранцев имена...

Поэты

Порой
в Москву съезжаются поэты
из разных мест на праздничные дни...
Они в ковбойки пестрые одеты,
стихи читают выспренне они!
И те стихи, подчас еще сырые,
они везли на наш столичный суд...
Ведь на родимой их периферии
их вроде бы совсем не издают...

Москва, Москва, ты не иронизируй
над ними,—
будь серьезной до конца!..
Когда-нибудь провинциальной лирой
они, я знаю, потрясут сердца...
Когда-нибудь седой знаток в читальне
журнал поднимет, обратившись в зал:
— Я искру чувствовал вот в этом парне!
И вот читайте, что он написал...

Яблоко

Яблоко,
в росинках все,
сорвете,—
круглое,
покоится оно
на ладони...
Все ж есть тайна в плоти,
все же что-то в ней заключено!..
Не случайны созреванья сроки
средь листвы,
плеснувшей желтизной,
не случайно же гуляют соки,
мудростью наполнены земной.
Станут в день осенний, без сомненья,
алыми у яблока бока.
Тайна созреванья и паденья,
как ничто на свете,
глубока.

Еж

Мы заняты серьезным разговором,
все спорим мы: что истина, что ложь...
А он в углу, каким-то робким вором,
ползет, ползет, весь в острых иглах,—
еж...
Его природа сделала несмелым,
он застывает прямо на ходу...
Но если что,
сожмется вдруг всем телом,
почуяв настоящую беду.
И шорохам его внимает ухо,
и он замрет, лишь крикни:
— Еж, лежи!..
Тепло иль холод, мокро или сухо,—
ни истины не знает и ни лжи...
Весь день в углу он корку точит, точит,
а вылезть он не может и посметь...
Что скажешь тут?..
Он жить все время хочет,
хоть и не знает, что такое
смерть...

Кинокошмары

Шпионов прославлять
в обычье,
у всех актеры на устах...

И вот над всей землей
двуличье
высоко поднимает стяг!..
Киноактеры и шпионы
заполнили двадцатый век.
Величья новые законы
постичь желает человек.
Все тянутся
к кинокошмарам!..
Какой-то там агент-двойник
недостоверным мемуаром
до сердца каждого
проник!..

А этот потрясать игрою
привык,—
неотразим порой!
Завидуют киногерою.
Вот он стоит, киногерой!
Ухмылка у него лукава.
Ему, что смотрит с полотна,
всемирная,
как солнце,
слава

бесплатно, как билет, дана.
За что ему такая милость?
Ни в чем не смыслит ни шиша!
Всемирной почестью омылась
его случайная душа!..

Киноактеры и шпионы,
от вас уже спасенья нет...
Над головой,
взамен иконы,
актрисы в полный рост
портрет...

Вельзевул

Лишь в небесах звезда мигнула,—
из-за морей и гор
ликующего Вельзевула
блеснул преступный взор.
На шар земной пылает адом
его могильный рот.
Он знает:
расщепленный атом
вот-вот наш мир взорвет!..
Сияет он нездешней рожей,
и знает Вельзевул:
не вскрикнет ни один прохожий:
— «Спасите! Караул!» —
все рухнет враз!..

Знать, песня спета!
Молчат материки...
Уже до окончанья света
остались пустяки.
Ракету кто-то там направил
уже,—
спасенья нет!..

Но все же он ошибся, дьявол,—
и не погибнет свет,
и весь наш мир не рухнет разом!..
Во тьме ведь не потух
дух бытия,
вселенский разум,
существованья
дух...

Александр БАЛИН

О лошадях, жеребенке и пирожках с повидлом

Внуку Ивану

Я стоял на Беговой
Возле книжного киоска...
Там, где Боткинский проезд
Заворачивал к Мосторгу,

Лошадь ласковая шла,
Пела втулками повозка,
Жеребеночек бежал —
ко всеобщему восторгу.

Он, веселенький такой,
Весь ухоженный и гладкий,
На автобусы косясь, на такси, на самосвалы,

Замер вдруг на всем скаку
Перед сладкою палаткой,
Где особа средних лет
пирожками торговала.

Разве важно, с чем они?
Важно то, что жеребенок
Возле очереди стал — и топориками уши...

Людям, львам и лошадям
Наплевать, какой ребенок.
Лишь бы обликом своим
трогал правильные души.

И, конечно, потому
Мама, лошадь ломовая,
Подкатила, как могла, груз по сахарной щебенке

И спросила у людей,
За дитя переживая:
«А нельзя ль без череду, потому как при ребенке?»

И, конечно, весь черед,
Дружным хором и веселым,
Зашумел: «Ну что вы, мать!
Разве мы не понимаем?!»

Ах, как грянули кричать
Петухи по милым селам!
Как запахло в этот миг тополиным славным маем!

Мальчик в джинсах голубых
Торопился на свиданье,
Жеребенок ел пирог с восхитительным повидлом,

Лошадь думала о том,
Сколько в людях состраданья,
Если так с ней обошлись —
С густогривым грустным быдлом.

Попытка оправданья

Россию надо заслужить...

Каюсь, жаль мне людей, что не ведают,
как я хорош,
Что я стою не грош,
А серебряный рубль полновесный...
Победил я войну, чтоб посеять счастливую рожь,
Что под осень свой колос
взметнула ко сфере небесной.
Подковал я коней,
Чтоб не падать сердешным на льду,
И не вздрагивать крупом под окриком,
наглым и грубым...
Не себе, не на грудь,—
Отковал я ночную звезду,
Чтоб в полярную полночь
светлее жилось лесорубам.

Я кохаю внучат и друзей залучаю к столу
На индийский чаек,
На безвинный паек ветерана...
И бессмертье любви восседает в переднем углу,
И сокрыта рубахой вчерашняя рваная рана.

Все богатство свое:
Силу рук и науку души
Отдаю безвозмездно опять же в душевные руки...
Ну а люди? Что люди?
Отменно они хороши,
Хоть на данном этапе маленько они близоруки.

Будет множество солнца...

Шалый ветер прошел по овину,
Зашуршали в соломе сверчки...
Не гляди мне в согбенную спину —
Посмотри в молодые зрачки.
Эту пару прицельных картечин
Ни клещами не взять, ни огнем...
Ты не верь, что наш век быстротечен,
Если судьбы грядущего — в нем.
Будет множество солнца... А мы-то,
Разве мы не из тех мужиков,
Чья судьба наконец-то омыта
Теплым светом седых облаков?

И пускай мимо нас, очень мимо,
Пробежит, промелькнет — не беда! —
С погрустневшей улыбкою мима
Наше счастье — уже навсегда.
Но пред тем, как с залетным проститься,
Очень хочется знать наперед,
Что, быть может, эпохой простится
Наша боль — за хороший народ.

Лев ОЗЕРОВ

☆☆☆

У самой нашей колыбели
Гудела первая война.
Едва мы вырасти успели,—
Опять война, еще одна.
Былинами казались были,
Не отпускала нас беда.
И нам покоя не сулили
Европы трудные года.
И пережившим годы эти,
Прошедшим море по волнам,
Нам удивятся наши дети.
А внуки не поверят нам.

☆☆☆

Пусть верхогляд поставит птичку
И осветит свое стило.
Невежество вошло в привычку
И даже важность обрело.
И почитается престижным,
И хочет далеко идти.
Оно зовет мудреным, книжным
Все, с чем ему не по пути.

Новая певческая метода

Микрофон держал он, как бокал.
Душераздирающий вокал!
Дергается томное плечо.
Дамы бьют в ладоши горячо.
Микрофон уже у самых губ.
Голосок сентиментально-глуп.
Кажется, что микрофон вот-вот
Он легко опустит в пищевод.
Развивать ли образ? Не хочу.
Этакое мне не по плечу.
...А певец старается, орет.
— Молодец! — кричит ему народ,
И не дожидается конца,
И уже не слушает певца.

Кадыр МУРЗАЛИЕВ

☆☆☆

О, природа, в душе твоей есть ли изъян?
Сколько мы нанесли тебе горестных ран!
И опять я пришел к тебе, степь, безоружным.
Даже флягу и ту не засунул в карман.
Я провел с тобой много счастливых часов,
Мне сайгаков твоих, мне парящих орлов
Не хватает, болят мои бедные уши
От машин, от рыдающих их тормозов.
Мне понятны твое недоверье и страх,
Так я дымом пропах, так я гарью пропах,
Ты проветри одежду мою городскую
На семи своих вольно живущих ветрах.
О, не гневайся, степь, о, не думай, что мне
Безразлична судьба твоя, вижу во сне,
Как ты воздухом лечишь меня животворным,
О, твой воздух молочно-медовый — в цене!
Жизнь не только умом, но и чувством жива,
А без чувств сиротливы любые слова...
Мать-природа, я помню про блудного сына
Миф, я — сын твой, и нету прочнее родства!

Степь

Как вы, казахские просторы, хороши!
Не правда ль, места нет привольней для души?
Степь и величие, степь и паренье духа —
Ну не синонимы они для нас, скажи?
Мой друг, прислушайся — степь музыки полна!
В стихах мелодией приходит к нам она.
Слова и музыка, их смешивать не надо,
Но пусть строка поет, как звучная струна.
Порой покажется, что степь стара, но нет,
Она дрожит, как барс, обнюхивая след,
Ах, воздух здесь такой, так терпко пахнут травы,
Что снова кажется волшебным белый свет!
Из тайн лишь сотую мы разгадали часть.
Невежда думает, что безгранична власть
Его бескрылая — над жизнью, над природой.
О, степь, к груди твоей так сладко мне припасть!
Я крикну — птицею в степи взовьется крик.
Но чаще все-таки беседовать привык
Со степью шепотом я... Что за чудный запах:
Какой открыл флакон, к каким духам приник?
Цвета неяркие, зато простор степной
Пронизан августовской тонкою струной —
Сверкает радужно на солнце паутинка...
На холм поднимешься — вся степь перед тобой
Лежит, бескрайняя, в пылающих лучах.
Полынью горькою степной простор пропах.
От пенья жаворонка нет мне избавленья,
Как будто свил себе гнездо в моих ушах!

Народ

Под речью стиховой — народная основа,
И старенький букварь —
под стопкой взрослых книг.
Стотомник Словаря Поэзии со слова
«Народ» — я открывать со школьных лет привык.
Вовек не соглашусь, что все на свете вещи
Равны: и сорняки, и тучные хлеба.
Погаснет скоро тот, как он сейчас ни блещет,
Кто говорит: народ, а думает: толпа.
Народ живет не век, не два, к нему с масштабом
Своим не подходи, линейку убери.
Народ не может быть униженным и слабым,
Как жалки перед ним тираны и цари!
Народ — участник драм и главный их свидетель
И выдвинет из недр героя своего.
Что будда, что аллах, когда живет на свете
Народ, и разве бог — не детище его?
А тот, кто сам себе присваивает право
От имени как бы народа говорить
Напыщенно-темно и вычурно-кудряво,
Фальшивя, сам себя и выдаст, может быть.
Народам же всего дороже в мире братство
Народов, ни к чему им въедливая лесть.
Не надо каждый миг своим народом клясться,
Высокопарный тон рискует надоесть.
Но вот что надо знать: народ не расстреляет,
Казнить не станет он, веками умудрен,
Кого не любит он, того он забывает,
Забвеньем наказать и впрямь умеет он.
Народ — я затрепать боялся слово это,
Оно в моей груди, в душе моей живет,
И, прежде чем себя почувствовать поэтом,
Я думать должен так, как думает народ.

Перевел с казахского
А. КУШНЕР

«И ЭТОТ ЮНЫЙ СТИХ НЕБРЕЖНЫЙ...»

Стихам Пушкина присуща завершенность, даже если они не дописаны или зачеркнуты автором. Сколько таких отрывков в собрании его сочинений! Если эти наброски не связаны с другими произведениями поэта, они печатаются на отдельных страницах крупным шрифтом. Если же эти строки найдены в черновиках известных стихотворений и поэм, то судьба у них другая: мелкий шрифт в разделах «Из ранних редакций» и «Примечания». Из десятитомника они не попадут ни в трехтомник, ни в однотомник, ни просто в сборник лирики Пушкина.

Они как бы существуют больше для изучения, для справок, чем для читательского наслаждения. Между тем окажись многие из них на отдельных листках, не будь они в нашем сознании связаны с другими сочинениями Пушкина, какой блестящей была бы их судьба!

Возьмем хрестоматийное:

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

Эпиграф к «Очевидному — невероятному»! Вот как его запомнила и привела в письме очень маленькая телезрительница: «О сколько нам открытий чудных готовит прозведенья (?) дух, и сын ошибок трудных, Евгений Порадовцев, друг!» Еще один Евгений у Пушкина! Шутки шутками, а окажись эти стихи среди черновиков «Онегина», они бы, так сказать, из парадного зала выставки ушли в служебные помещения. И наоборот. Какой след в душе народа мог бы оставить, скажем, такой не менее значительный отрывок:

Конфуций... мудрец Китая,
Нас учит юность уважать,
От заблуждений охраняя,
Не торопиться осуждать...
Она одна дает надежды...

Увы, мелкий шрифт в примечаниях к «Онегину».

Как-то я составил для себя хрестоматию из подобных стихов и стал читать их друзьям, не указывая, откуда они взяты мной. Более того. Я изъял из них все, что Пушкин усовершенствовал, включил в канонический текст. Вот первая редакция стихов «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». В ней не два, а четыре четверостишия. И начало:

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.

Насколько богаче эти строки стали в окончательном тексте, где мгла не идет, а лежит, и не вообще на Кавказе, а на холмах Грузии, и не на звезды глядим мы вместе с поэтом, а вниз, где шумит Арагва. Но в моей хрестоматии нет «На холмах Грузии». Зато в полную силу звучат стихи «Прошли за днями дни. Сокрылось много лет...» Это отдельное стихотворение. О любимых, живущих только в воспоминаниях поэта. Все чувственное ушло, остались безнадежность, мечтательность, чистота, как это было в юности.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Елисея,
А Цицерона проклинал.

Дело не в том, что гениальный отрок предпочитал латыни отечественную словесность, да еще не в лучших ее образцах. Поэт уточнил, что он с большей охотой преодолевал довольно трудную латынь озорного романа Апулея «Золотой осел», чем речи Цицерона. Четверостишие с Елисеем и впрямь черновик к восьмой главе «Онегина», так же как и строки про студенческую келью, как строфа с уже найденной формулой «Старик Державин нас заметил». Если так, то попробуем прочесть то, что останется, как новые пушкинские стихи.

Понимаю: это ненаучно, так не принято. Но... «И забываю мир»,— сказал Пушкин о рождении стихов. Забудем и мы, откуда взяты стихи нашей хрестоматии, почему поэт их отбросил, в чем они уступают каноническому тексту. Не станем их, говоря его же словами, «надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья». А просто насладимся ими.

В работе я пользовался десятитомником Пушкина, изданным в 1949 году. К его разделам «Из ранних редакций» и «Примечания» отсылаю и тех читателей «Юности», которые захотят пополнить эту не совсем обычную пушкинскую хрестоматию, и тех, кому интересно, из какого контекста взяты приведенные ниже стихи. Пока же прочтем их без комментариев (только даты и названия «оригиналов»). Лучше всего вслух.

Валентин БЕРЕСТОВ

Вверху — один из автопортретов А. С. Пушкина.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ А. С. ПУШКИНА В МОСКВЕ

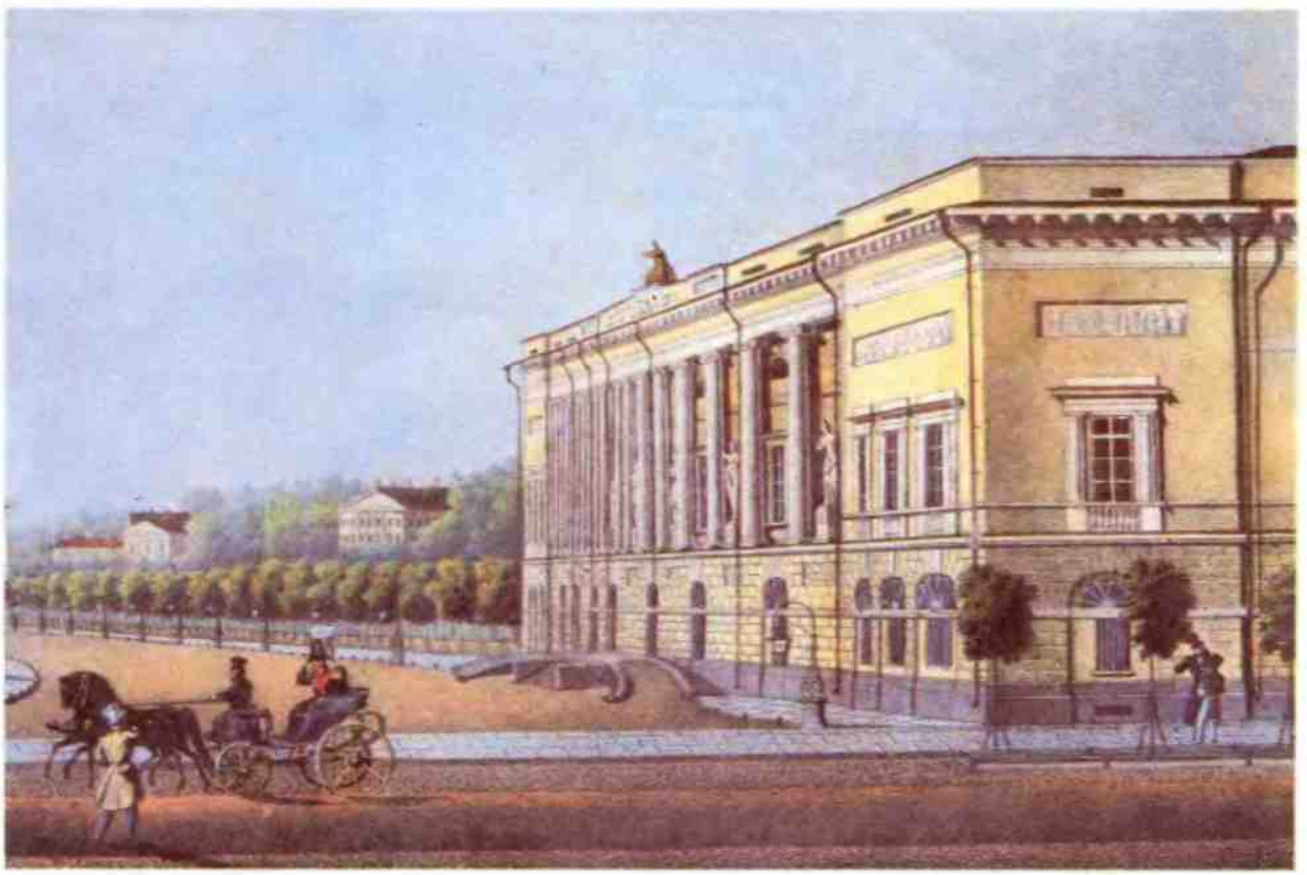
Р. КОНОШЕНКО
Портрет А. С. Пушкина
Литография 1837 г.

Неизвестный художник.
Петербург. Биржа. 1830 г.

М. ВОРОБЬЕВ.
Москва. Вид на Кремль с Каменного моста. 1818 г.

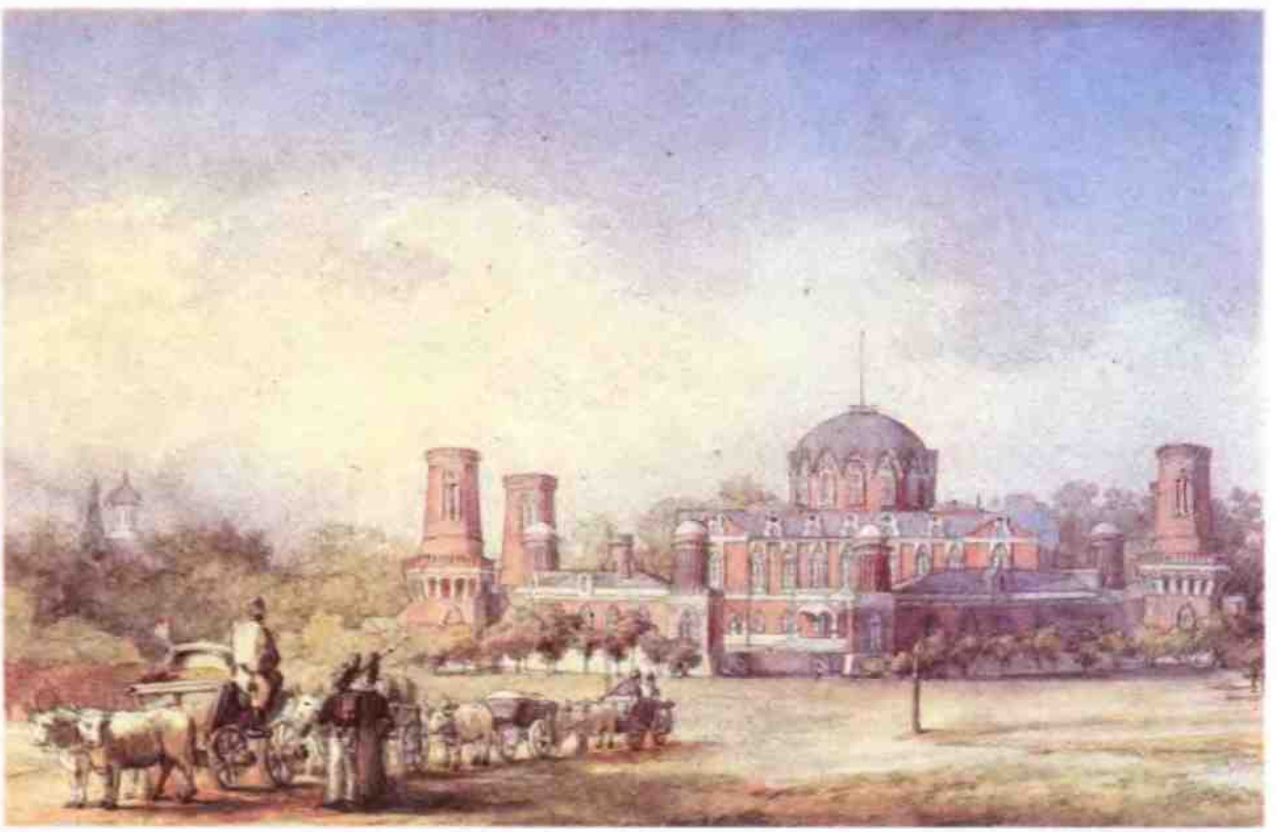
Т. РАЙТ.
Портрет Н. Н. Пушкиной.
1844 г.

А. КАДОЛЬ.
Москва.
Большой театр.
1825 г.



В. САДОВНИКОВ.
Петербург. Императорская публичная библиотека.
Фрагмент панорамы Невского проспекта. 1830-е годы.

А. МАРТЫНОВ.
Вид Царского села.
«Каприз». 1822 г.



Неизвестный художник.
Москва.
Петровский замок.
1820-е годы.

Ведомы ли вам эти строки Пушкина?

«Постойте,— скажешь мне,— ведь я не однодворец;
Могу я быть богат, хотя я стихотворец».
Согласен — будь богат и ты, как тот поэт,
Который, именем наполнив целый свет,
Развратной прозою, опасными стихами
Успешно торговал с голландскими купцами.
Но разве бедность лишь заставит слезы лить?
Иль зависть богача не смеет уязвить?
Что, если воружась шипящей клеветою,
Всечасно ползая повсюду за тобою,
Наполнит горечью всю чашу бытия,
Покроет мраком жизнь и ввергнет в гроб тебя?
(1814, К другу стихотворцу)

Где мир, одной мечте послушный?
Мир настоящий опустел!
На всё взираю равнодушно.
Дышать унынием мой удел;
Напрасно летнею порою
Любовник рощиц и лугов
Колышет розой полевою,
Летя с тенистых берегов.

Напрасно поздняя зарница
Мерцает в темноте ночной,
Иль в зябких облаках денница
Разлита пламенной рекой.
Иль день багряный вечереет.
И тихо тускнет неба свод,
И клён на месяце белеет,
Склонясь на берег синих вод.
(1816, Окно)

О люди, странные созданья!
Меж тем, как тяжкие страданья
Тревожат, убивают вас,
Обеда лишь наступит час —
И вмиг вам жалобно доносит
Пустой желудок о себе,
И им заняться тайно просит.
Что скажем о такой судьбе?
(1817—1820, Руслан и Людмила)

Душа в томительном обмане
Ценить не в силах счастья час,
Я слезы лью, грущу заране,
Увяли чувства, ум погас.
(1820, К***, Зачем безвременную скуку...)

Так! Гений жив еще и свят его венец.
Но я, среди толпы затерянный певец,
Я знал несчастие — рожденный для страстей,
В изгнаньи я влачил дни юности моей.
. . . . . .
Но не унизил ввек изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.
(1821, К Овидию)

И этот юный стих небрежный
Переживет мой век мятежный.
Могу ль воскликнуть, о друзья:
Воздвигнул памятник и я.
(1823, Евгений Онегин, глава II)

Песня

Вышла Дуня на дорогу,
Помолившись богу.
Дуня плачет, завывает,
Друга провожает.

Друг поехал на чужбину,
Дальную сторонку,
Ох уж эта мне чужбина —
Горькая кручина!..
На чужбине молодицы,
Красные девицы,
Осталась я молодая
Горькою вдовицей.
Вспомяни меня младую,
Аль я приревную,
Вспомяни меня заочно,
Хоть и не нарочно.
(1824, Евгений Онегин, глава III)

Моей любовью насладись
В молчаньи ночи безмятежной,
Приди, я таю, друг мой нежный,
Не изменись, не изменись.
(1824, Цыганы)

Почто ж, безумец, между вами
В пустынях не остался я,
Почто за прежними мечтами
Меня влекла судьба моя!
(1824, Цыганы)

Что ж уста твои
Не промолвили,
Очи ясные
Не проглянули?
Аль уста твои
Затворилися,
Очи ясные
Закатилися?..
(1825, Борис Годунов)

Ни шум дубрав, ни тень, ни розы,—
В удел нам отданы морозы,
Метель, свинцовый свод небес.
Безлиственный серебристый лес,
Пустыни ярко снеговые,
Где свищут подрези саней —
Средь хладно пасмурных ночей
Кибитки, песни удалые,
Двойные стекла, банный пар,
Халат, лежанка и угар.
(1825, Евгений Онегин, глава IV)

19 октября (1825 года)

1

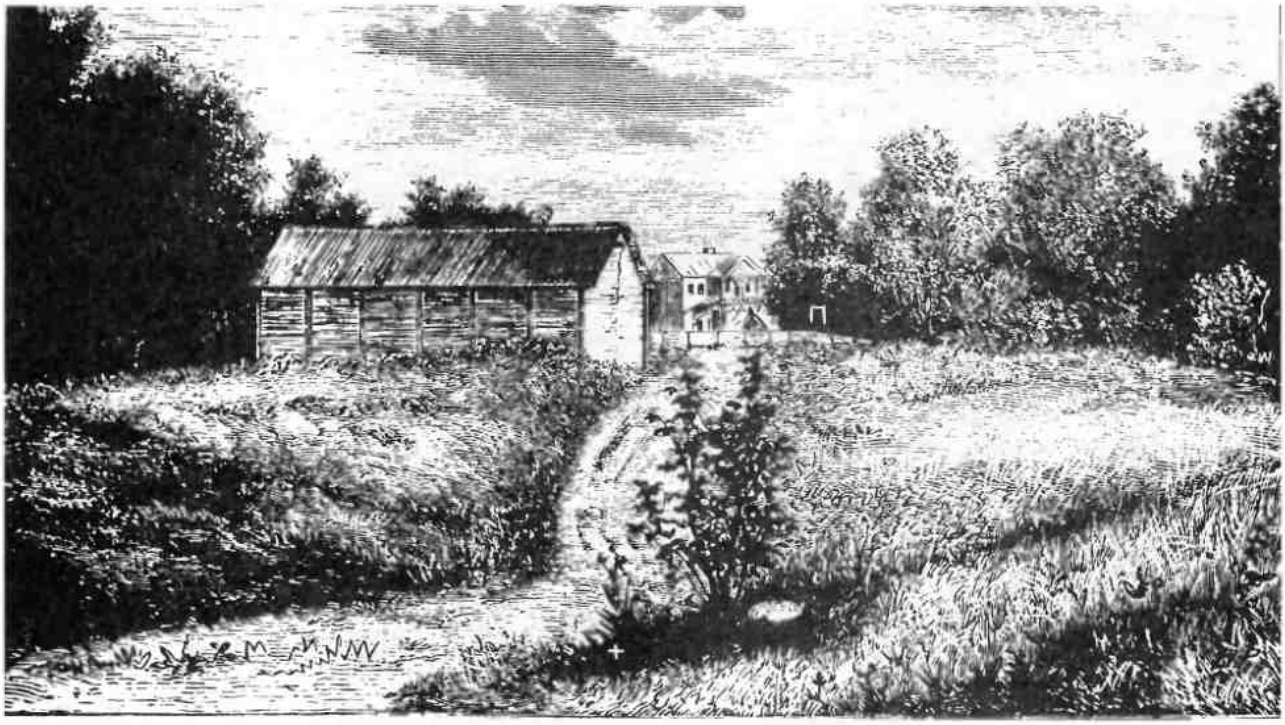
Товарищи! сегодня праздник наш.
Заветный срок! сегодня *там*, далече,
На пир любви, на сладостное вече
Стеклися вы при звоне мирных чаш.—
Вы собрались, мгновенно молодея,
Усталый дух в минувшем обновить,
Поговорить на языке Лицея
И с жизнью вновь свободно пошалить.

2

На пир любви душой стремлюся я...
Вот вижу вас, вот милых обнимаю.
Я праздника порядок учреждаю...
Я вдохновен, о, слушайте, друзья:
Чтоб тридцать мест нас ожидали снова!
Садитеся, как вы садились там,
Когда места в сени святого крова
Отличие предписывало нам.

3

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вольховский сядет первый,
Последним я, иль Брольо, иль Данзас.
Но многие не явятся меж нами...
Пускай, друзья, пустеет место их.
Они придут; конечно над водами
Иль на холме под сенью лип густых



Мѣсто дуэли Пушкина. въ 1880 г. Съ натуры рис. Рейнгардтъ.

4

Они твердят томительный урок,
Или роман украдкой пожирают,
Или стихи влюбленные слагают,
И позабыт полуденный звонок.
Они придут! — за праздные приборы
Усядутся; наполнят свой стакан,
В нестройный хор сольются разговоры
И загремит веселый наш пеан.
(1825, 19 октября. Роняет лес багряный свой убор)

И. И. Пущину

Забытый кров, шалаш опальный
Ты вдруг отрадой оживил,
На стороне глухой и дальной
Ты день изгнанья, день печальный
С печальным другом разделил.
Скажи, куда девались годы,
Дни упований и свободы,
Скажи, что наши? что друзья?
Где ж эти липовые своды?
Где ж молодость? Где ты? Где я?
Судьба, судьба рукой железной
Разбила мирный наш лицей,
Но ты счастлив, о брат любезный,
На избранной чреде своей.
Ты победил предрассужденья
И от признательных граждан
Умел истребовать почтенья,
В глазах общественного мненья
Ты возвеличил темный сан.
В его смиренном основаньи
Ты правосудие блюдешь,
Ты честь...
(1825, И. И. Пущину. Мой первый друг, мой друг бесценный!)

В сраженьи смелым быть похвально,
Но кто не смел в наш храбрый век?
Всё дерзко бьется, лжет нахально;
Герой, будь прежде человек.
(1826, Евгений Онегин, глава VI)

Убитый ею, к ней одной
Стремил он страстные желанья,
И горький ропот и мечтанья
Души кипящей и больной...
Еще хоть раз ее увидеть
Безумной жаждой он горел;
Ни презирать, ни ненавидеть
Ее не мог и не хотел.
(1828, Полтава)

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу моему наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.
(1828, Воспоминание)

Ночка, ночка, стань темнее,
Вьюга, вьюга, вей сильнее,
Ветер, ветер, громче вой,
Разгони людей жестоких,
У ворот, ворот широких
Жду девицы дорогой...
(1829, Стрекотунья белобока)

Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?

Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.
Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
(1829, На холмах Грузии лежит ночная мгла...)

Меж нами скрылся янычар,
Как между братиев любимых,
Что рек Алла: спасай гонимых,
Приход их — дому божий дар.
(1830, Стамбул гяуры нынче славят...)

I

В те дни как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткой,
Считал схоластику за вздор
И прыгал в сад через забор,
Когда порой бывал прилежен,
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив,

II

Когда в забвеньи перед классом
Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух,
В те дни... в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал,

III

В те дни — во мгле дубравных сводов,
Близ вод, текущих в тишине,
В углах лицейских переходов
Являться муза стала мне.
. . . . . .
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт,
В душе моей едины звуки
Переливаются, живут,
В размеры сладкие бегут.

IV

Везде со мной, неутомима,
Мне муза пела, пела вновь
(Amorem canat aetas prima) *
Все про любовь да про любовь.
Я вторил ей — младые други
В освобожденные досуги
Любили слушать голос мой.
Они, пристрастною душой
Ревнуя к братскому союзу,
Мне первый поднесли венец,
Чтоб им украсил их певец
Свою застенчивую музу.
О, торжество невинных дней!
Твой сладок сон душе моей.
(1830, Евгений Онегин, глава VIII)

Среди бегущих облаков
Вечерних звезд не видно было —
Огонь светился в фонарях,
По улицам взвивался прах
И буйный вихорь выл уныло,
Клубя капоты дев ночных
И заглушая часовых.
. . . . . .

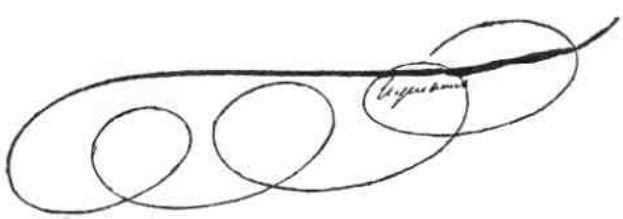
* Пусть юный возраст поет о любви (латинское).

Порой сей поздней и печальной
В том доме, где стоял и я,
Неся огарок свечки сальной,
В конурку пятого жилья
Вошел один чиновник бедный,
Задумчивый, худой и бледный.
Вздохнув, свой осмотрел чулан,
Постелю, пыльный чемодан,
И стол, бумагами покрытый,
И шкап со всем его добром;
Нашел в порядке всё; потом,
Дымком своей сигарки сытый,
Разделся сам и лег в постель
Под заслуженую шинель.
. . . . . .
Взбежав по ступеням отлогим
Гранитной лестницы своей,
В то время Волин с видом строгим
Звонил у запертых дверей
И тряс замком нетерпеливо.
Дверь отворилась — он бранчиво
Андрею выговор прочел —
И в кабинет ворча пошел —
Андрей понёс ему две свечи.
Цербер по долгу своему
Залаяв прибежал к нему
И положил ему на плечи
Свои две лапы — и потом
Улегся тихо под столом.
(1832, Езерский)

Петра не стало; государство
Шаталось, будто под грозой,
И усмиренное боярство
Его железною рукой
Мятежной предалось надежде:
«Пусть будет вновь, что было прежде,
Долой кафтан кургузый. Нет!
Примером нам да будет швед».
Не тут-то было. Тень Петрова
Стояла грозно средь бояр.
Бессилен немощный удар,
Что было, не восстало снова,
Россию двинули вперед
Ветрила те ж, средь тех же вод.
(1832, Езерский)

Со сна идет к окну сенатор
И видит — в лодке по Морской
Плывет военный губернатор.
Сенатор обмер: «Боже мой!
Сюда, Ванюша! стань немножко,
Гляди: что видишь ты в окошко?»
— Я вижу-с: в лодке генерал
Плывет в ворота, мимо будки.
— «Ей-богу?» — Точно-с.— «Кроме шутки?»
— Да так-с.— Сенатор отдохнул
И просит чаю: «Слава богу!
Ну! Граф наделал мне тревогу.
Я думал: я с ума свихнул».
(1833, Медный всадник)

Поля преградами изрыты,
Раскаты, башни и зубцы,
Как лесом копьями покрыты,
И боя молча ждут бойцы.
(1835, Когда владыка ассирийский...)



Сергей МИХЕЕНКОВ

НОЧЬ РАССТАВАНИЙ

Повесть

Серафима послушно брела за ним. Он дошел до сосны, одиноко росшей на отлогом склоне среди каменных и песчаных осыпей. Там и тут торчали сухие измочаленные палки прошлогодней полыни, облюбовавшей этот пустынный склон. Полынью пахло и теперь. Должно быть, молодые побеги уже лезли из земли, раздвигая камешки и разрывая корневища других, более поздних трав, а может, подумал Серега, запах полыни мне просто чудится. Да, снова подумал он, мне просто чудится ее запах. Горький. И желанный. Запах вечной травы. Наверное, здесь так же пахло полынью и сто, и триста лет назад, и тысячу.

В полдень на склоне, видимо, сильно пекло, даже теперь крупный песок и камешник все еще держали тепло. Он нащупал на коре сосны подходящий выступ, снял пиджак, повесил его и лег на землю. Некоторое мгновение длилась, плыла над берегом и окрестностями тишина, не слышно было даже дыхания Серафимы, остановившейся немного поодаль, и Серега каким-то внутренним неосознанным чувством, некой человеческой сутью, которая не часто столь явственно выходит на поверхность из потемок души, ощутил, как его обступает родина; вот она наклонилась над ним, коснулась лба и губ; он закрыл глаза и, чувствуя, как в горле что-то сжалось и запеклось, заплакал.

Кажется, он пролежал долго, может быть, даже спал, потому что вдруг, привстав и упершись локтями в камешник, ощутил на губах влагу — то ли пот, то ли росу. Было прохладно, и он потянулся за пиджаком. Внизу выдавал незамысловатую мелодию коростель. Странно, он ничуть не надоедал своим упорным однообразием, не раздражал, не дразнил даже, все было естественно, привычно и необходимо, как туман на излучине, как плеск воды, как роса на камнях. Серега стал слушать звуки родины. Вот начал соловей, вроде бойко начал, основательно, но замер, словно тоже прислушивался, вот снова ударил, да так, что, казалось, иглы с сосновых ветвей посыпались на землю, зашуршали вокруг, и снова замер. Осторожный какой, подумал Серега, едва переводя дыхание, или молодой еще, сил своих не познал. Вот рыба хлестнула в загоне чуть выше переката, тяжело — должно быть, крупная; вот туго пропели крылья над головой, видно, утки на ночлег полетели, гнездятся где-нибудь неподалеку в старицах — добрый знак, раньше утки здесь не гнездились. А вот арпылевскому коростелю отозвался другой, из-за речки, теперь у них получалось складнее, теперь выводили вдвоем, и лишь изредка один из них внезапно умолкал на мгновение, наверное, слушал, как оно звучит, и опять, и опять — о ногу, да потуже, потуже, потуже, чтобы на весь свет гремело; мотнула головой лошадь, всхрапнула и снова принялась мирно щипать траву. Он подумал, что скоро, очень скоро расстанется с родными местами и долго не услышит и не увидит ни вот этих знакомых еще с детства контуров сосновых ветвей, теперь черных и едва различимых на фоне звезд, ни белых косяков тумана, вольно разбредшегося вдоль поймы, ни тревожных глаз Серафимы, ни того, как неторопливо и умиротворенно хрумкает она в ночи, ни азартного состязания своих и зареченских коростелей, ни песен девчат под Матерью. Он не испытывал страха перед неизбежностью расставания, хотя не представлял себе, как можно жить где-то, а не в Арпылях, наоборот, ему даже хотелось на какое-то время покинуть все, что имел с самого рождения, чтобы там, на расстоянии пространства, а затем и времени, в совершенно иных жизненных обстоятельствах попытаться осмыслить то, что уже требовало осмысления.

В пойме заржал жеребец, эхо покатило его высокую ноту над речкой и полями, и Серега услышал, как тревожно вскинула голову Серафима, шумно втягивая чуткими нервными ноздрями ночной воздух.

Серега лежал, запрокинув голову в звездное небо, на фоне которого округло и нечетко плыли очертания безмолвных ветвей, пахнущих смолой и уснувшим ветром. Он думал о сосне, о том, что ей лет

Окончание. Начало см. в № 1 за 1987 г.

восемьдесят, а может, и все сто. Там, вспомнил он, наверху, на развилке, есть метина — вросший в живое кусок железа, осколок. Молодая плоть почти сомкнулась над ним, как сомкнулась земля над окопами и блиндажами, но узкая полоска так и осталась, и из нее, особенно когда жара, капает, растекается по коре смола, прозрачная, как липовый мед.

Быть может, подумал Серега, кто-нибудь из Аринины сыновей тоже приходил сюда. Он вспомнил рамку с фотографиями, и скорбные глаза Арюшечки глянули на него из темноты. Ведь к тому времени сосна была уже взрослым деревом, наверняка оберегаемым всеми, потому что, как и береза, тоже была единственной на всю округу. В Арпылях, где всему более или менее примечательному давалось название, не обошли и сосну, и если березу, росшую посреди деревни и привечавшую все деревенские гульбища, окрестили Матерью, то одинокую сосну за околицей на склоне Кабацкой горы нарекли Тещей. Верное или не совсем верное дали ей имя, теперь судить поздно — привыкли, и в суть самого слова «теща» не очень-то вникали, говоря, к примеру: «А пойдем-ка посидим под Тещей, тишину послушаем».

В сорок первом Теща была уже в силе, и кто-нибудь из Арюшечкиных сыновей приходил сюда и вот так же лежал на этой земле. Серега приник к земле щекой и подумал: так же, как я. Осколок засел прочно, в детстве Серега и Лёсик частенько забирались на сосну, испачкав штаны и руки в свежей смоле, пробовали расшатать его, рвали клещами, принесенными из кузницы, но ничего у них не выходило. Так и оставили. Нынешние пацаны об этом осколке, наверное, и не знают, его теперь уже не видно, совсем, должно быть, заплыл, да и сосна подросла, нижние сучья высохли и отвалились, и на дерево не вот залезешь. А может, все они были здесь? Да, все. Конечно же, почему мне не пришло это в голову раньше? Они были здесь все. И сыновья. И отец. Под Матерью собираются на праздники, на гульбища, на сходки, туда идут миром: себя показать и людей посмотреть. Так было тогда, так осталось и по сей день. Из-под Матери они и уходили. Кто навсегда, а кто до Победы. А сюда можно прийти только одному. Или с близким человеком. С другом. С братом. Прийти на последний поклон. Деревне. Земле. Речке. Дороге в поле. Лугам. Запаху полыни. Крику перепелов во ржи. Всему тому, что зовется родиной.

Земля стала остывать. Серега почувствовал голыми локтями холод округлых камешков. Пиджак лежал рядом, он сдернул его с сосны, но надеть забыл.

Без седла и уздечки вскочить на лошадь было делом не простым. Он похлопал ее по бокам, потрепал за холку, и Серафима послушно встала вначале на одно колено, потом на другое и, когда он перекинулся через ее прогнувшуюся спину, легко проделала все в обратном порядке. Однажды Серега увидел в кино, как лошадь подбирала раненого красноармейца, и через несколько месяцев Серафима уже послушно выполняла команды. «Недаром цыганская кровь»,— восхищенно сказал Лёсик, когда Серега продемонстрировал ему способности лошади.

Возле дома он снова спешился. Ноги без стремян затекли, и вначале он не почувствовал земли, боль иглами вошла в ступни, как будто босиком прыгнул в сухой дедовник. Он оперся о калитку, потоптался на месте, размял ноги, прислушался — дома вроде спали уже,— вынес уздечку, взнуздал лошадь, в сарае нашел старое седло, которое по описи у него уже не значилось и которое он однажды принес домой да так и оставил здесь. Несколько раз он чинил его, подбивал, подшивал суровыми нитками, тщательно просмоленными. Седло было ничего, но сильно скрипело. Впрочем, поскрипывание на ходу Сереге даже нравилось: легко воображать себя бывалым конником.

В седле было гораздо удобнее. Еще бы, сидишь, как в кресле. Ноги прочно стоят в стременах, можно без труда привстать, оглядеться. Серега особенно любил это делать. Серафима тогда тоже останавливалась, поворачивала куда-нибудь в поле голову и замирала. И Серега замирал, будто на сторожевом холме.

Вскоре свернули в тесный переулок, и Серега едва не зацепил стременем белую круглую кладню березовых дров. Он зазевался, и тополиная ветка больно хлестнула по щеке, холодом росы обожгла шею и обдала вязким запахом молодой листвы. Серега машинально пригнулся, и снова черное облако тяжелой тополиной листвы пронеслось над головой.

— Смотри, братцы, это же Серега! Сер-рега! — закричали возле одного из домов. Голос вроде бы Сашки Романенкова, Серега так и не разобрал, потому что, оглянувшись, никого в темноте не увидел, только острый лучик света задавленно пробивался, протискивался через щель приоткрытой двери из сенцев, а через минуту Серафима несла уже по плотине, и впереди черной отвесной стеной вековых лип и кленов надвигалась громада Усадьбы. Там, где плотина кончалась, на песчаном белесом взгорке возле черемухового куста, откуда час с небольшим назад они с Серафимой вспугнули ночевавшего дрозда, Серега увидел людей. Стояли двое. Хотел окликнуть, чтобы не затоптать ненароком, потому что лошадь понесла быстро — видимо, боялась близкой воды, только полы пиджака заворачивались и хлопали у Сереги за спиной тяжелыми черными крыльями, но поперхнулся: он узнал Лёсика и Таню. Серафима промчалась мимо, они испуганно, как показалось Сереге, отпрянули в сторону и не успели ничего ни сказать, ни даже вскрикнуть. Серега крепче придавил шенкелями, Серафима будто того и ждала, еще сильнее вытянула шею и азартно перешла в галоп. Белым облаком тумана, будто призрак, пронеслась она по Усадьбе, повернула, повинуясь всаднику, к освещенной луговине под Матерью, перемахнула через вынесенную к дороге, видимо, для игры «в соседей», лавку и, распугав женщин и девчат, стоявших под березой, пропала в ближнем проулке, будто ее и не было вовсе. Ни ее, ни всадника, низко припавшего к луке седла.

— Ну и шалопут, Сережка этот!

— Напугал как, змей!

— Так и лошадь загонит. Долго ли сдуру?

— Серега не загонит. Тем более что Серафиму он жалеет пуще глаза своего.

— Э, да пускай порезвятся, копытами побрякают! Утром увезут буйную головушку.

— Сережка конюхом добрым был, что и говорить. И коней вон соблюдал, и конюшню оборудовал. Чисто, прибрано. Как все равно в кабинете у Стрелкова стало. Черёхля-то наш хомуты пропил, конюшню разорил. А этот — хозяин. Мало что молодой. Борода ума не прибавляет.

— Не прибавляет, верно.

— Хорошие ребята у нас растут.

— То-то девкам радость.

— И не говори.

Стоявшие и сидевшие под Матерью беседовали тихо, гармонь тоже примолкла, только топот в ночи, эхо, как брызги из луж, ухало в поле, а тут отдавалось.

— Кому радость, а кому и беда.

— Тут уж, девк, дело такое, рот не разевай да ворота свои до поры до времени на запоре держи.

— Очень они боялись ваших запоров.

— И то правда.

— Ребят хулите, а девки-то нынче сами хороши. Больно быстро спеют.

— А раз поспело, нёшь не загорится?

Под Матерью засмеялись, а, отсмеявшись, заговорили еще бойчее.

— Вот бабы! Вот нар-род! — встрял в разговор Черёхля, продрав глаза и пробуя встать из-за стола, где все это время мирно отдыхал, рассовав по сторонам тарелки и стопки и подсунув под голову ладони.— Золотую жилу нашли. Теперь до утра кости мыть будут. Вот племя! Хлебом не корми — только бы поболтать.

— А тебе, Черёхля, только бы глаза залить. Ты уж сиди, праведник.

— Ишь, проснулся, дьявол юродивый!

Женщины перекинулись на Черёхлю, не сразу и нехотя оставив взволновавшую их тему.

— Так... это... бабы, я и говорю: в семье не без урода,— пробовал он возразить и защититься кое-как, но женщины напали всем скопом, и ему не оставалось ничего другого, как встать, плюнуть и уйти; хотел было матюкнуться позаористей, шуркнуть их напоследок, но поостерегся.

Глава четвертая
НОЧЬ РАССТАВАНИЙ

Вызвездило. Стали видны тыны, черные скворечники на длинных шестах и белые трубы домов. Деревня спала и не спала: огни в домах были погашены, но везде слышался смех, голоса; там кого-то ругали, там наставляли, а там вздыхали. Ночь. Под Матерью погасили фонарь, надоел глазам, а может, просто лампочка перегорела, и Арпыли окончательно поглотила тьма. Только свет далеких звезд стоял над землей. Но немного погодя снова проглянули в этом неверном свете и тыны, и скворечники на черных шестах, и белые печные трубы на крышах спящих домов.

Арюшечка шла по улице, словно тень. Возле некоторых дворов она останавливалась, напряженно вглядывалась в отсвечивающие мутным слепым глянцем окна, шевелила губами, будто вспоминала или силилась что-то сказать, да так и не говорила, шла дальше. Возле Прохорят старуха стояла особенно долго. Сложив на груди руки и склонив набок голову, она смотрела на белую, словно вишневым цветом обсыпанную пятистенку, которую совсем недавно Алексей Прохоренков перетряс, заменив нижние венцы, обшил сосновым тесом, проолифил щедро, как следует, так, что два дня воняло на всю деревню, а покрасить не успел — сыну повестку принесли. Арюшечка, верно, стояла бы и того дольше, если бы, решительно кашлянув, не поднялся со скамьи, притулившейся под тополем у окон, хозяин и не подошел к ней.

— Ну что ты ходишь, старая? Что ты все носом водишь, как...— Алексей Прохоренков качнулся перед глазами серым неподвижным лицом, будто истукан. Она не расслышала его слов. Тогда он повторил, уже тише, стиснув зубы, и она поняла, потому что отчетливо видела его лицо, искривленное ненавистью.— Эх... ходишь... Ну? — Алексей Прохоренков еще ближе надвинулся угрюмой тенью.— Что молчишь?

— Сынов вспоминаю. Четверо их у меня было. Четверо,— ответила она. И в голосе старухи послышалась такая твердая непреклонность, что Алексей Прохоренков отшатнулся и сделал шаг назад, невольно отбросив в сторону руку, словно ища опоры.— Как уходили они, вспоминаю. Много лет прошло — забыть боюсь. Забыть страшно.

— Ждешь все?

— Жду, Алексей. Мне в жизни одно ожидание теперь только и осталось. Их жду. Смерти жду. Четверо их у меня было.

— Смерть сама придет, чего ее ждать?

— Нет, сынок, смерть тоже ждать надо.

— Ждать... Витька Ефременков вон кувыркнулся — и каюк. И нет парня. А ты все живешь, старая, по земле ходишь. Ждать... Володька мой тоже, поди, не ждал. А ты все живешь, свет белый коптишь. Ну ты скажи, для какой такой надобности ты живешь?

— Я, Алексей, сынов оплакиваю. Для того и живу. И жизнь моя — не упрек тебе.

— Упрек! Вот именно что упрек! Что проку в твоей жизни? Да лучше бы они жили. Витька вдову оставил, каково-то ей теперь, одной? Эх! А Володька...

— Кто ж их вернет? Кабы можно было...

— Лучше бы молодые жили. Детей бы рожали.

— Кабы можно было...

— А вдруг не всех твоих Журавлей, тово, побило на фронте? А? Может, кто в плен сдался, а потом и в Америку драпанул? Были такие случаи. Были. Разжирели там, на фермах, посылки шлют.

— Нет, Алешка, брешешь ты мне, старухе, про сынов моих. Уж я-то их знаю, своим молоком вскармливала — не сучьим. Ежели и есть какая-то правда в твоих словах, то умерли они там, в плену, от голода, умерли от тоски, а чтоб за кусок хлеба к мериканцам... Нет, Алешка, брешешь ты, как сивый мерин брешешь. И на сынов моих наговариваешь. Ничего я от них, кроме похоронок, не получала. Брешешь. Не язык у тебя, а тенёта. Тьфу!

— Замолчи, ведьма! — И ударил бы ослепленный злобой Алексей Прохоренков старуху, не метнись вовремя между ними Анна и не останови она поднятую над Арюшечкиной головой тяжелую мужнину руку. Почувствовала Анна, как обмякла она, эта сильная, привычная ко всякой мужицкой работе рука.— Наворочал корней — не переступишь. Эх! Ну, прости. Что ж теперь озлобляться нам,— опомнившись и обхватив большими руками русую голову, выдохнул он.— Прости, мать.

Анна не вынесла, закрыла лицо косяком платка, затряслась. А Алексей Прохоренков упал на колени да так и стоял перед ними, матерями, потерявшими своих сыновей и тоскующими теперь по ним такими вот ночами смертной, иссасывающей душу тоской.

Когда со столов убрали, когда молодые сдвинули углом у дороги лавки и затеяли игру «в соседей», а старые да малые разошлись по домам, в Арпыли приехали на мотоциклах рогачевские ребята. Ревущая колонна, ощупывая дорожные обочины и тыны ярким светом фар, вылетела на Кабацкую гору, покружила по околице и ринулась по плотине к гульбищу.

Рогачевцы заглушили под березой перегревшиеся моторы и стали расстегивать шлемы. Они не спешили, поглядывали по сторонам, посмеивались не без значения, лениво перебрасывались короткими фразами, потому что все, как видно, было переговорено и обговорено заранее. Пыль, поднятая колесами их мотоциклов, еще оседала, и она, как и следовало ожидать, особенно горько и настырно защекотала в ноздрях у братьев-близнецов Гриши и Саньки Васешенковых. Во время игры «в соседей» братья сидели врозь, даже на разных лавках, «свидания» им выпадали редко, потому что девчата их не очень жаловали за грубость и нахальство, но, когда услышали рев мотоциклов, переглянулись, встали, сошлись плечо к плечу, сунули похолодевшие кулаки в карманы; задвигались, заиграли на квадратных васешенковских скулах желваки. Это ведь они, драчуны, затеяли бойню в прошлые проводы возле рогачевского клуба.

На лавках, сдвинутых углом, все запереглядывались, заперешептывались, но игру не прервали, игра шла своим чередом, хотя азарта заметно поубавилось, и парочки, которым выпадали «свидания», не уходили так далеко, как бывало до приезда рогачевцев, да и возвращались довольно скоро. Кое-кто из парней медленно стал вынимать из брючных петель широкие солдатские и флотские ремни, забрякали залитые свинцом пряжки. Все было похоже на то, как если бы внезапно, крадучись за густыми верхушками ракит, надвинулась на деревню грозовая туча, набрякшая ливнем, будто старая мешковина росой, и молчаливо зависла над крышами, огородами и стежками, обрекая и природу, и людей на мучительное и жуткое ожидание первой капли, первой вспышки удара.

Между тем рогачевцы сгрудились возле своих мотоциклов, посовещались и выслали разведчика, который, как видно, и должен был найти повод для предстоящей драки. В прошлый раз удача отвернулась от них, арпылевцы взяли верх, и теперь пришел черед посчитаться за старое.

— Ну что,— выкрикнул подчеркнуто развязным тоном разведчик, расправляя рубашку на груди и окидывая насмешливым, но осторожным взглядом «соседей»,— может, и меня к своей компании присоседите?

— Присоседим, присоседим,— ответили из темноты; разведчик оглянулся на своих: слыхали, дескать? — И тебя, и дружков твоих. Впервой, что ли?

— Ну так в чем же дело? Ну?

— Ты что же это, Славик, как в конюшне? «Здравствуйте» твое где? Уж не по дороге ли потеряли? — в тон ему и не без иронии ответила Галина Гаврюченкова и дернула за руку Сашку Романенкова, который с самого начала все порывался встать, пришептывая: «Сейчас, сейчас я заверну эту скотину в родное стадо».

На скамьях замерли, игра прервалась. «Хозяин», правивший игрой, вернул ремень его владельцу, и тот начал спешно навешивать на него пряжку. Рогачевцы тоже притихли, повернули напряженные лица, вслушиваясь в диалог разведчика и «соседей», но в разговор не вступали, зная, что сейчас и без лишних слов что-то начнется.

— Ну, здравствуйте,— немного смешавшись, сказал Славик и поскреб в затылке, видно, первоначальный его план срывался.

— Здравствуй-то здравствуй, а теперь уматывай! — в один голос грянули братья Васешенковы и первыми пошли на сгрудившихся под Матерью рогачевцев. Похоже, им надоела скучная и порядком подзатянувшаяся прелюдия, которая, по их соображениям, и вовсе могла испортить и расстроить драку, потому что если вмешаются девчата, а все шло именно к этому, то ничего стóящего не получится. Славик отскочил в сторону и тут же схватился за живот, упал на землю, скорчился, завертелся, как сброшенный ящерицей хвост, охая и ловя судорожным ртом воздух. К нему никто из своих подбежать не успел, потому что к тому времени, когда он нашел-таки силы подняться на колени, арпылевцы уже теснили это товарищей к березе, а со всей деревни по невидимым тропам и дорогам сбегалась новая подмога. Похоже, дело у рогачевцев опять не выгорело. Через минуту они были уже плотно окружены. Однако, несмотря на полную безнадежность своего предприятия, подступиться к себе не давали. Кое у кого и в той, и в другой «армии» уже сочилась, пачкая праздничную одежду, кровянка, кое-кому сдвинули набок носы, а у иных вспухли, росли, как на дрожжах, шишки, темные, словно недозрелые августовские черносливы. Ловчее всех выходило у братьев Васешенковых. Они не кричали, не суетились, петушась и раззадоривая себя и других, они хладнокровно и расчетливо ловили удобный момент и, выхватывая из рогачевской стенки какого-нибудь особо задиристого и бойкого молодца, проделывали с ним то же самое, что и со Славиком, и так же, как и Славик, тот валялся на земле, подбирая точные удары близнецов, пока свои не организовывали «прорыв», не отбивали его и не уносили под белы руки в безопасную зону, в «тыл».

Так продолжалось минут двадцать. Но потом двое или трое из «осажденных» стали спешно заводить мотоциклы. В арпылевском стане вдруг заволновались, закричали, перекрывая моторный стук: «Гон-ни! Гони их, братцы-ы! Г-гон-ни-и!» — и, уже не боясь ремней с заплавленными свинцом пряжками, пошли напролом. Хряснули концы жердей на изгороди, пошли в ход и колья. Вот тут-то и началась самая потеха, и неизвестно, чем бы все кончилось, не подоспей на шум и гвалт ночевавший у старика Кружаленкова председатель Стрелков, не зажги он фонарь на столбе и не гаркни в бога и в душу на всю деревню, отчего одни еще бойчее стали заводить мотоциклы и накручивать ручки газа, а другие, поблескивая глазами и утирая разбитые губы и носы, вновь отошли к лавкам, сдвинутым углом, где, сбившись в кучу, молча сидели и стояли девчата.

— Ну, вы у меня! — Стрелков потряс увесистым кулаком и хотел было еще ругнуться, но взгляд его вовремя наткнулся на девчат. Он плюнул под ноги и пошел прочь.

Стрелков часто ночевал в Арпылях в этом просторном светлом доме, стены которого еще прочно хранили запах сосны и березы. Дом этот Денис Иванович построил своими руками лет пятнадцать назад, когда и колхоз, и сам он как председатель еще только-только набирали силу. Помогали ему несколько мужиков и старик Кружаленков, живший тогда по соседству с Прохорятами в старой развалюхе. Кондрат Матвеевич и первые венцы положил, и стропила подводил, и крыльцо рубил. Мира тогда не получилось, потому что вся деревня сено косила, а потом началась не менее суматошная пора копки картошки.

Правление располагалось в Рогачевке, и каждое утро Стрелков запрягал Орлика в легкую рессорную тележку, уважительно прозванную колхозниками тарантасом, совал под подстилку кнут, брал в руки вожжи и чуть свет ехал на центральную усадьбу председательствовать. Закончив с домом, выстроил хлевы, сараюшки для птицы, для хранения сена и соломы. Обзавелся хозяйством. Хозяйство у него было крепкое: корова с теленком (бычка всегда пускали в зиму), свиньи, овцы, гуси, куры, утки — словом, знатное хозяйство, хотя вроде бы ничем особенным от других арпылевских хозяйств не отличалось. В деревне таким, а то и побогаче был каждый двор, в котором не чурались работы да любили пораньше вставать. Потом кто-то написал, то ли мстя за обиду (всем не угодишь, где там!), то ли из зависти, что тоже нередко в нашем народе, Стрелкова куда следует вызвали, как следует поговорили, и через год-другой он перевез свое семейство в Рогачевку, на центральную усадьбу в квартиру со всеми удобствами.

Дом осиротел, глядеть на него стало больно. Однажды председатель зашел к Кондрату Матвеевичу Кружаленкову, попил ядреного березовика — старик принес его откуда-то из сенцев в запотевшем ковше,— посидел на лавке у окна и сказал: «Больше всех, Матвеич, ты в помочах участия принял, вот и переселяйся в мои хоромы. Я хозяйке так сказал: двести рублей дадут — и ладно. Она ничего, согласилась. Если у тебя, Матвеич, денег нет, то все равно переселяйся. Потом сочтемся, люди-то свои». Кондрат Матвеевич Кружаленков тогда же вытащил из сундука старенький дерматиновый бумажник, в котором у него хранились метрики и наградные книжки, старательно отсчитал двадцать десятирублевок и подал Стрелкову. «Вот, Иваныч, деньги, ежели ты, брат, не шутишь. Потому как сомнительно мне: больно мало просишь. Даже нехорошо как-то. Пятистенку-то вроде добрую поставили, а ты — двести рублей. Да ее если на дрова продать, больше взять можно». «А, не торговец я домами. Ты только вот что, Матвеич: переночевать меня иной раз пусти. Скучно мне там, в кирпичах-то».

Вот и оставался Стрелков на ночь-другую в Арпылях, частенько оставался, особенно когда наутро в бригаде затевались какие-нибудь важные дела или так — в правление грозится нагрянуть непрошеное начальство, которое нужно принимать, пятое-десятое, и он, весь день скрываясь от «гостей» в полях, к вечеру приворачивал сюда.

Придя домой, они перекусили, поговорили о том о сем, посмеялись, повспоминали, подтрунили друг над другом и начали по-стариковски, не торопясь укладываться. Кондрат Матвеевич, кряхтя, залез на холодную печь, а Стрелков потушил свет и лег на диване. Чуть только стали задремывать, в приоткрытое окно услышал Денис Иванович странный шум, вроде как в футбол играли под Матерью. Потом подумал: какой к чертям футбол в такое время, и приподнялся, чутко вслушиваясь в странные ночные звуки. Скрипнули натруженно диванные пружины под его тяжелым телом, напряженно и как-то тревожно скрипнули, так что старик Кружаленков не выдержал и вопросительно кашлянул.

— А ну-ка, Матвеич, послушай и ты: вроде как дерутся под Матерью-то, а? Петухи наши...

Старик проворно слез с печи и высунулся в окно.

— Точно, Иваныч. Понеслась кривая в баню! Теперича все патреты себе попортят.

Стрелков выругался, вскочил, отчего еще тоскливее застонали под ним пружины, торопливо влез в штаны и, на ходу застегивая прореху, без рубахи и босиком выбежал на улицу.

Через полчаса он вернулся. Старик Кружаленков встретил его возле калитки.

— Подрались, черти. Рогачевцы приезжали. От гады! Ну не могут без этого! Подрались.— У Стрелкова все еще дрожал голос, и он попросил Кондрата

Матвеевича принести оставленные на столе папиросы, а сам сел на бревна и подумал вслух: — Воспитывать еще гаденышей надо.

Старик принес папиросы, новую нераспечатанную пачку «Беломора». Стрелков торопливо чиркнул спичкой и жадно затянулся первой затяжкой, так что едва не закашлялся.

— А братовья,— понемногу успокаиваясь, сказал Денис Иванович,— так разошлись, что и на меня готовы кинуться.

Старик снова засмеялся, замотал головой.

— Так ведь это, Иваныч, какой же праздник без драки? У наших казаков обычай таков.

За Кабацкой горой по большаку прострекотал мотоцикл, вскинул к небу сноп света, словно зарница полыхнула на черном горизонте, и замер. Стрелков прислушался.

— Ты знаешь, чем они лупцуют друг друга? Ремнями. Страшное дело!

— Ну? А мы, бывало, на кольях сходились, на Кабацкой-то горе.

— Вот-вот.— Стрелков ткнул пальцем в худую грудь Кондрата Матвеевича.— Эта, разрази ее, Кабацкая гора много дурных обычаев в нашем народе посеяла. Время долгое прошло, а они все не выводятся, не выпалываются — всходят.

— Ты погоди, погоди, дай молодость вспомнить. Придут, значит, рогачевцы наших девок обгуливать, а мы их в колья, да так, что господи, боже мой! Только земля гудит да пинжаки трещат. Чисто с татарами бились. Да и ты, Иваныч, тоже, кажись, дрался?

Стрелков заерзал на бревнах, но ничего не ответил, только усмехнулся и подумал: вот дьявол старый, подвел-таки под мою кошеву да свои полозья.

— Так оно все,— продолжал старик Кружаленков,— смолоду-то: девок пощупать да с чужими ребятами подраться.

— Да сдуру! А не смолоду. Сду-ру!

Они посидели еще немного, сожгли по папиросе другой и пошли в дом. Но на крыльце Стрелков остановился, кашлянул и неуверенно, словно знал наперед, что ему не поверят, сказал:

— Ты, Матвеич, иди ложись. А я еще немного... тут... Что-то не спится мне сегодня.— И закашлялся, а вроде бы раньше не кашлял.— Так я посижу еще немного.

Чуть погодя, когда старик улегся и захрапел, положив голову на печной боров, Стрелков накинул пиджак, осторожно, чтобы не вскрикнули ненароком петли, притворил калитку, огляделся и ходко зашагал на край деревни. Огни в Арпылях все уже погашены, но то окно, к которому Денис Иванович спешил, он нашел бы и не в такой темени, словно оно само тянулось к нему. Да так оно, наверное, и было.

Когда Серафима с расхристанным всадником исчезла за гребнем Кабацкой горы, Валерка закурил, выпустил струйку голубоватого дыма, которая будто засветилась на какое-то мгновение перед его глазами призрачным светом, затянулся еще пару раз покрепче, так что зашлось в груди и подступило к горлу, бросил сигарету в траву и оглянулся.

— Валера, я здесь,— послышался из темноты голос Полины, и у него еще сильнее защемило в груди.— Валера? Ты где?

Он сдавил ладонями голову, стиснул зубы и застонал: эх, Полина, Полина, голубушка ты моя, что же нас судьба-то так, взашей да взашей, как безродных каких. Эх, Полинушка...

О свадьбе Полины и Виктора Ефременкова Валерке вскоре написал Серега. Письмо пришло как раз накануне заступления роты в караул. Валерка должен был идти разводящим, но, разорвав конверт и прочитав письмо, он вышел из Ленинской комнаты, постучался в канцелярию роты и доложил взводному, что в караул идти не сможет. Взводный, молодой лейтенант, год как из училища, еще погоны как следует не обмял, долго разбираться не стал, отвел его в санчасть, а оттуда прямым ходом на гауптвахту.

Когда Валерка приехал в Арпыли, Полина испугалась: она вдруг поняла, что по-прежнему любит его, как любила все эти годы, мучительно и нежно, но память о муже была так свежа, а утрата так невосполнима, что ей казалось — переступить через нее было бы грехом, искупить который она не сможет по гроб своей жизни. Но когда впервые увидела Валерку возле своих окон, в сердце сделалось что-то такое, после чего она поняла другое: не жить ей без него, не даст он покоя ни ей, ни себе. «Давай погодим немного, Валера,— сказала она ему как-то на пороге своего дома, словно закрывая перед ним дверь.— Люди скажут: вот, мол, и похоронить не успела, а уже... Думаешь, простят они нам? Люди ведь... Не простят они нам, Валера, нашу любовь».

Вот и теперь он увел ее из-под Матери, считай, уводом увел: танцевали, она его в шутку пригласила, улыбнулась, подмигнула, а он недолго думал, провел ее по кругу раз, другой и, когда танец кончился, взял крепко за руку и сказал: «Пойдем, Полина, поговорить надо».

Вслед им смотрела вся деревня. Даже гармонь замолчала. А потом заговорили. Завтра, подумала Полина, еще больше говорить будут. Ой, дура, что пошла, ой, сидела бы дома, мало мне горя...

— Губы у тебя, Полина, как полынь — горькие.

— Так не целуй,— сказала она, вздохнула, легонько отстранясь от него.

Он улыбался. А она, вдруг ощутив прилив смутного, необъяснимого и сильного чувства, похожего на чувство благодарности, еще крепче прижалась к его груди.

— Вот так дремлешь иногда в карауле, посты сменишь и лежишь на топчане, сон с явью перемешиваешь. Духота. Ребята спят в гимнастерках, даже в сапогах.

— Даже в сапогах? — Она засмеялась.

— Не смейся, так положено: в гимнастерках, в сапогах, только ремни немного ослаблены. А я не сплю, то есть сплю и не сплю и думаю: как ты там? И, веришь ли, Полина, ни с того ни с сего встанет вдруг полынь перед глазами, встанет и запахнет, да так явственно и сильно, что мурашки по спине забегают.

— Это тебя родина звала.

В пруду зашлепало, завозилось, видно, чьи-то утки остались ночевать на затопленных ракитах и что-нибудь их спугнуло в этот поздний час. А может, ондатра вышла по своим ночным делам.

— Ты, наверное, курить хочешь? Кури. Мне даже приятно, когда ты куришь.

Он закурил, сделал долгую и жадную затяжку, так что красный светлячок сигареты на секунду осветил его слегка дрожащие пальцы, уголки губ, в которых прятались пока еще нечеткие морщины, нос, полузакрытые веки и брови. Полина едва удержала себя от внезапно подступившего желания крепко обнять его и поцеловать в эти первые морщины, в глаза, в брови, и лишь мгновение спустя, когда Валерка сделал очередную затяжку, осторожно дотянулась кончиками пальцев до его загорелой обветренной щеки. Он, казалось, угадал ее мысли, поймал руку, сжал ее и сказал:

— Полинушка, ну как нам друг без друга?

Она, казалось, не услышала его слов.

— Смотрела я на тебя — изменился. Здорово изменился.

— Изменился, точно. Портрет, так сказать, утратил ангельские черты.

— Просто возмужал. Стал похож на одного киноактера — девчата заглядываются. Похудел только. И еще: сердитый больно, думаешь о чем-то. А может, на меня злишься? Злишься, я знаю. Ну, вот почему ты сейчас молчишь?

— Тебя слушаю.

— Ой ли?

Валерка придвинулся к ней, хотел было обнять, но в это время по склону горы прогремели два мотоцикла, резко затормозили на плотине и осветили черную поверхность воды, дымящуюся белым паром, берег, заросли вишняка и край их скамьи.

Их было четверо. Они подошли и, тяжело дыша, остановились шагах в пяти. Вспыхнул яркий свет карманного фонарика, скользнул по мокрой траве и ударил в глаза. Полина ойкнула и закрыла лицо ладонями. Это продолжалось минуту, а может, чуть больше. Валерка встал, сунул руки в карманы и, немного откинув назад голову, шагнул навстречу. Теперь свет бил ему в глаза.

— Выключи,— сказал он.

Щелкнула кнопка выключателя, и ослепительный, будто оплавленный, диск отражателя исчез в густой липкой темени. Перед Валеркиными глазами поплыли, то убыстряя, то замедляя свое хаотическое движение, багровые и фиолетовые протуберанцы.

— Считаем звезды, армия? — донесся из темноты насмешливый голос, и Полина — он снова почувствовал ее руку в своей — вздрогнула и сказала:

— Уйдем отсюда. Уйдем, я прошу тебя.

Те, четверо, засмеялись. Он не видел их, глаза, ослепленные светом карманного фонарика, еще не привыкли к темноте. Все это ему что-то напоминало, но вот что, вспомнить он не мог, не успел, потому что неожиданно сильный удар свалил его на землю. Ударили ногой, но не совсем точно. Он упал, ткнулся головой в мокрую траву, но тут же уперся руками в холодную землю и, собрав все силы, откатился в сторону, поэтому следующий удар прошел мимо, едва задев ботинок. Бьют, гады, со знанием дела, мелькнуло у него в помутившемся сознании, похоже кровь изо рта пошла, солоно, зуб выбили или губу рассекли, черт бы их побрал, подарочек к возвращению, нужно во что бы то ни стало подняться на ноги, иначе хана, они постараются больше не промахнуться. Полина вовремя бросилась к нему и помогла встать. Острая боль молнией прошлась по всему телу и пропала, как свет фонарика, оставив неприятное ощущение слабости, и неуверенности, и еще, пожалуй, страха. Страха тоже. Такое с ним уже было там, перед атакой, когда он неудачно погасил парашют и сильно ударился бедром об острый выступ скалы. Ах, да, вспомнил он, это было там, в Афгане. По рации им сообщили, что на одном из перевалов малочисленный патруль афганских добровольцев из студентов несколько часов ведет бой с засевшими в горах вдоль дороги бандитами; во-первых, им нужно было выручить добровольцев, было ясно, что долго они не продержатся, а во-вторых, очистить перевал от душманов, перебить их или загнать подальше в горы, потому что из города шла колонна автомашин с продовольствием, медикаментами и два автобуса с детьми, и через пару часов машины могли появиться уже на перевале и оказаться под огнем. В том бою тяжело ранило их взводного и одного сержанта-москвича из третьего взвода. С сержантом они вначале вместе, задыхаясь, бежали по шоссе и короткими очередями били в глубину ущелья, по которому отходили бандиты, потом карабкались по горной тропе, и, когда тот упал, Валерка подполз, разорвал гимнастерку, на которой уже расплылось темное пятно крови, перевязал, как смог, подобрал автомат с пустым магазином и, взвалив на плечо, побежал вниз, к патрульному фургону, возле которого, распластавшись редкой цепью, лежали и палили по ущелью студенты.

...Теперь он видел этих. Хорошо видел. Они стояли, обступив его полукольцом и, видимо, еще не решили, кто сделает очередной удар. Они были уверены, что добивают его.

— Хватит, ребята, ваша взяла. Хватит.

Он поднял руку и подумал: нет, я не боюсь их, не боюсь, а ей потом объясню, почему не хочу ввязываться, она поймет, если захочет понять. Я не хочу драться. Не хочу. Потому что здесь, дома, на родине, у меня нет врагов. У меня здесь нет врагов. Нелепо. Как нелепо. Вот это действительно нелепо.

— Чего ради, ребята...

— А ну-ка, Белый, врежь ему еще разок. Да покрепче, чтобы аксельбанты отстегнулись.

Тот, который стоял слева и все время пританцовывал на месте от нетерпения и неразряженного азарта драки, мгновенно нырнул навстречу и хакнул, отрывисто и хищно. Остановить его можно было лишь только ответным ударом, и Валерка сделал это, и в следующее мгновение уже стоял лицом к лицу с тем, который подбадривал Белого, а теперь торопливо вынимал что-то из заднего кармана брюк. Горячая волна начавшейся схватки уже подхватила Валеркино тело, которое сделалось сразу легким, послушно управляемым, быстрым: он все рассчитал, медлить было нельзя, он сделал прыжок в сторону ровно настолько, чтобы его не достали сбоку, вскрикнул, сделав новый стремительный прыжок, и тот, так и не успев вытащить правую руку из кармана, полетел в вишняк. Но кусты его не задержали, он продрался сквозь заросли, и, спотыкаясь, падая, побежал к плотине. Не достал, с сожалением подумал Валерка и увидел, что двое оставшихся вначале попятились, так и не решившись напасть на него, а потом побежали к мотоциклам. Валерка потрогал рассеченную губу.

— Вот сволочи, пуговицу отодрали. Ты не видела мою пуговицу? — спросил он и облизал солоноватую губу.

Полина молчала.

— Сволочи. Как с электрического стула сорвались.

— Смотри, он не встает,— испуганно сказала она.

— Кто?

— Да этот... Белый. Ты его, наверное, убил. Разве можно так бить!

— Как?

— Ты бил их, словно хотел убить.

— Так точно, полковник, так их и надо бить. Иначе не поймут, зачем их вообще бьют.

— Посмотри, дышит он хоть или нет.

— Смотри сама. Тебе ведь, кажется, жалко его?

— Ты убил его! Ты!

— Ну и черт с ним.— Валерка сплюнул солоноватую тягучую слюну, на зубах хрустнул песок, и он еще раз сплюнул.— А тебе бы хотелось, чтобы они меня убили? А над тобой сделали какую-нибудь гадость? Если тебе жалко этого подонка, если он для тебя что-нибудь значит...

— Замолчи! Слышишь?! Замолчи!

Валерка встал, вышел к плотине, постоял немного — слушал, как уже где-то далеко за Кабацкой горой напряженно ревут, разрывая ночную тишину, моторы,— нашел в траве консервную банку, оставленную здесь, видимо, пацанами, удившими карасей, зачерпнул воды и, возвратившись, выплеснул ее на голову неподвижно лежавшего поперек стежки, того самого, которого называли Белым и которому было велено добить Валерку.

— Сейчас охрянет.— Валерка швырнул в кусты банку, она брякнула и покатилась куда-то вниз.— Встанет, гад. Если действительно не надул лапы.

Да, я здорово изменился, подумал он и, отвернувшись, чтобы не видела Полина, вздохнул. Он почувствовал, как внутри у него что-то затрепетало, как исчезал комок напряжения и усталости. Перестань, подумал он в следующее мгновение, ты был жесток к этим парням, но ровно настолько, насколько были жестоки к тебе они. Ни больше ни меньше.

Полина сидела на лавке и, уткнув голову в дрожащие колени, плакала. Иногда она всхлипывала так громко, что Валерку захлестывала и поднимала новая горячая волна. Он начал искать слово, которым можно было бы или успокоить ее или хотя бы заставить замолчать, но не находил ничего подходящего. Все слова — дерьмо, со злобой подумал он и заметил, что тот, на стежке, зашевелился и что-то замычал.

— Теперь посадят,— сквозь слезы с трудом выдавила Полина и заревела, уже не сдерживая ни голоса, ни слез.

— Смотри, твой крестник пить просит.— Он усмехнулся.— Можешь вылить на него еще пару жестянок, тогда он скорее заговорит.

Полина догнала Валерку уже на плотине. Он услышал ее торопливые шаги, обернулся и тут же, словно ожог, ощутил на щеке сильную пощечину, от которой его мотнуло, и он сделал шаг в сторону в поис-

ках опоры, чтобы не упасть еще раз за эту сумасшедшую ночь.

— Полина? — Он подхватил ее на руки, качнул, как ребенка.— Ты что же это делаешь, Полина? — Он засмеялся, прижал ее к груди.— Легкая какая. Как перышко. Полина, милая ты моя.

Туман над прудом заклубился, стал густеть, он затопил не только берега и черные острова ракит, но и вишняк, и дорогу на Кабацкую гору, и, наверное, всю Усадьбу; он бродил там по старым заросшим аллеям прекрасным белым призраком, оставляя на коре лип и кленов клочки легкой белой материи.

— Покружи меня,— попросила она.— Покружи, покружи, покружи...

Лёсик притащил еще одну сушину, осмотрел ее и начал разрубать. Костер горел ярко и жадно. Таня сидела рядом, поджав под себя ноги и уткнувшись подбородком в Лёсиков пиджак.

— Нужно, чтобы прогорело хорошенько, до углей. Вот тогда можно будет засыпать.— Лёсик разрубал сухие корявые сучья, аккуратно складывал их в штабелек и время от времени поглядывал на девушку и говорил ей что-нибудь.— А картошки ты многовато принесла.— Он указал топором на пакет, из которого выкатились несколько картофелин. Таня, видимо, хотела что-то ответить, но Лёсик поднял топор, вытянул шею и сказал: — Тихо. Во-во. Слышишь?

— Что? — Таня тоже насторожилась, оторвала рассеянный взгляд от огня.

— Вроде как лошадь. Там, на Усадьбе. Во-во, опять. Слыхала?

Она кивнула.

— Давай покричим.

— Давай.

Таня вскочила на ноги, и они в один голос закричали:

— Се-ре-га-а? Се-ре-о-о-га-а-а!

«А-а-а...» — отозвалась Усадьба.

— Ненормальный какой-то человек. На плотине чуть не наехал. Обиделся, что ли? — вздохнула Таня.

— Ничего он не обиделся.

— А почему же его до сих пор нет?

— Прощается.

— С кем прощается?

— С Серафимой. Ты же знаешь, как он ее жалеет.

— Мальчишество все это. Вам завтра шинели выдадут, а вы все в войну играете.

— Возможно, ты, Таня, и права, но и его я хорошо понимаю. Если Серега так поступает, то значит, иначе нельзя, значит, ему это необходимо.

— Ой-ой-ой! Твой Серега! Ось земная! — Таня усмехнулась.— А на нас твоему Сереге наплевать?

— Почему наплевать? Не наплевать. Очень даже не наплевать. Мы его друзья. Других таких у него нет. Да и у нас тоже.

Лёсик бросил топор, сел рядом и взял ее за руку.

— Ты что, Лёсик? — изумленная, засмеялась она опять; она умела изумляться, делаясь в такие мгновения необыкновенно красивой.

— Ничего. Красивая ты. Я таких еще не встречал. Не думай, я не обижаюсь на тебя за то, что любишь не меня, а Сережку.— Он вздохнул.— Можно тебя поцеловать?

— Лё-о-осик! Ты что, возле костра перегрелся?

Он наклонился и поцеловал ее в щеку и в губы.

— Ой, да что же это такое!

— Ничего. Это я тебя поцеловал. Спасибо тебе, Таня. Я тебе письмо напишу. Мы ведь все-таки друзья. Если нас с Серегой в разные части направят, то пришлешь мне его адрес, а мой — ему.

Костер стал прогорать, обугливщиеся палочки обваливались в малиновое пекло, и тогда в черное небо взбрасывался длинный хвост искр и синего пламени, которое освещало неподвижные ветви старой сосны, ее бугристую, изборожденную глубокими продольными морщинами кору, лица Лёсика и Тани.

— Чуть погодя можно будет засыпать картошку,— сказал Лёсик.

Он шагнул в темноту, перейдя вздрагивающую черту то наступающего, то отступающего света, и прислушался: ему снова показалось, что где-то там, за деревней, в полях, где ночь начинала уже понемногу редеть, скакала белая Серафима, неся над спящей землей его друга. Таня все еще не могла преодолеть смущения и, уткнувшись подбородком в теплые колени, смотрела, как жадное пламя обнимает свежие дрова, охапкой брошенные Лёсиком на синие угли. Она тоже думала о Сереге, о том, как скитается он сейчас, быть может, где-нибудь по полевым дорогам, а может быть, совсем рядом в этой по-летнему теплой ночи.

— Мне было лет семь, а может, и того меньше,— сказал Лёсик, высыпая картофелины из целлофанового пакета,— когда кто-то из мужиков, наверное, пьяный, я уже не помню, кто, сказал, что моя мать шлюха. Она мне иногда снится. И мужик тот тоже снится, он кричит мне, кричит прямо в лицо, что моя мать шлюха, а я...— Лёсик улыбнулся, а может, просто прищурился на огонь.— Вот так, Таня.

— Ты ее помнишь? — спросила девушка.

— Мать? Иногда кажется, что да, помню, но на самом деле нет: просто я ее вижу во сне, почти всегда в одном и том же платье, даже волосы у нее причесаны всегда одинаково, вот и запомнил ее по снам. Я ее просто придумал.

— Лёсик, скажи, а плохо жить одному?

— Плохо, Тань. Когда бабка жива была, еще ничего. Бабка у меня с юмором была, ты же знаешь, байки разные рассказывала, блины пекла, жаворонков на пасху, а потом...— Он торопливо зарыл в угли последнюю картошину, потушил вспыхнувшую палочку и взглянул на Таню. Она сидела неподвижно, все так же уткнувшись подбородком в колени.— Я рад, что в армию призвали. Может, еще и останусь там, на сверхсрочную. На прапора выучусь.

Охапка последних дров прогорела быстро, угли стали тускнеть. Синий огонь неслышно бегал по ним, он то пропадал, то снова выскальзывал из раскаленных расщелин и бойко вытанцовывал свой безмолвный танец.

— А может, и вернусь.— сказал Лёсик. Кончиком топора он заострил обгоревшую палочку, которой закапывал в угли картошины, попробовал ее пальцем и воткнул рядом с собой.— Все ж таки родина. Дом. Бабкина могила. Бабка мне наказывала, когда помирала: ты, мол, Лёсик, на могилку мою ходи, траву скашивай. А материна могилка где-то на Дальнем Востоке. Может, там служить придется, тогда разыщу.

После драки с рогачевцами все снова под Матерью пошло своим чередом. Играли «в соседей». Парни и девчата рассаживались на лавках, выбирали хозяина, который зорко следил за соблюдением всех правил. Хозяин же и начинал игру: выставлял на середину табуретку, брал ремень, обычно солдатский, снимал пряжку от греха подальше, шлепал кого-нибудь из девчат по плечу и клал ремень на табуретку. Хозяином всегда выбирали старшего из парней. Девушка, которую он «помечал», выходила, брала ремень и шла по кругу, выбирала, кто больше по душе. Если же, к примеру, «помеченный» ею парень шел к ней, то хозяин отнимал ремень и прогонял образовавшуюся таким неслучайным образом парочку на «свидание». На «свидание» отправлялись те, кто делал, нарочно ли, нет ли, по три удара кряду.

Несколько пар уже было отправлено гулять по деревне, кое-кто вернулся назад, нагулявшись, а кто и затерялся до утра на бесконечных арпылевских стежках-дорожках (условия игры этому не препятствовали), когда братья Гриша и Санька Васеченковы, посовещавшись о чем-то, закурили в сторонке, сделали по нескольку торопливых затяжек, переглянулись и молча скрылись в темном проулке. Ухода их никто не заметил, не больно-таки заметные кавалеры. А минут через десять на краю деревни скрипнул колодезный валек, загремело вниз по неровным стенкам старого, должно быть, сруба ведро — это братья решили попить свежей колодезной водички, а напившись, постучали в дверь ближнего дома, где жила семья Федора Егоровича Селиненкова. Бригадир вышел к ним одетым, словно и не ложился спать, хотя

свет в доме был потушен и загорелся только тогда, когда братья подступились к сеничной двери, сотрясая ее тяжкими ударами. Он спросил, зачем звали, и, не услышав ни слова в ответ, выругался и пошел было обратно в дом, но возле крыльца его догнал Санька и ловким ударом свалил на грядку, прямо на сухие цибулки недавно высаженных георгинов.

— Это тебе за прошлогодний сенокос, дядя. А то уйдем, и все забудется, и некому тебя будет наказать. Стрелков — человек мягкий, не та у него рука. А вот мы сегодня спишем с твоей совести, дядя, этот грешок. И будешь ты чистеньким, как колодезная водица.

— Будет он чистеньким...

— И то правда: свинья грязи найдет.

— Дай ему, Сань, еще чуток.

Но Федор Егорович неожиданно встал, вырвал штакетину и пошел в наступление.

В прошлом году бригадир, был такой грех, здорово надул ребят на сеноуборочной. Не учел несколько стожков, которые ставили братья Васешенковы. Работали братья на единый наряд, и эти неучтенные стожки здорово резанули по заработку. Но тут бы они пошумели, побуянили малость и дело на том кончилось, однако случилось так, что осенью уже Гриша и Санька проезжали зачем-то через Галичевы луга и не увидели на месте этих трех своих стожков. Они на ферму: «Возили сено из Галичей?». «Нет, не возили»,— ответили доярки. «Все ясно, бабы, спасибо за информацию, босс будет доволен». «Какой еще такой босс?» — не поняли доярки шутки, но чувствуя: братья что-то затеяли. Спрашивал Санька, и, когда доярки насторожились, он с таинственным видом кивнул на Гришу и громко рассмеялся. «Вот черт горластый!» — разочарованно посмотрели ему вслед доярки. Стожки исчезли, и только теперь братья догадались, почему бригадир, всегда такой аккуратный и дотошный, их не учел.

На шум выбежала тетка Шура и, увидев озлобленных племянников и обломок штакетины в руках у мужа, закричала благим матом:

— У-уби-ваю-ут! Люди! Люди! Убивают! Скорей! Скорей! Рятуйте!

Братья, смекнув, что затея их наполовину провалилась, хотели было уже выскочить через калитку на улицу, но тут-то их и перехватили подоспевшие мужики.

— Вяжи их, подлецов! — крикнул кто-то хрипло, надсадно, и всем прикладом навалился на Гришу, но тот как-то отбился и стал рядом с братом — спина к спине. Санька к тому времени успел еще раз съездить по шее осмелевшему бригадиру, выбил у него из рук штакетину и держал ее теперь в вытянутой руке, будто гладиатор короткий меч, долго не давая к себе подступиться. Так их и связали, спина к спине, обмотав руки и ноги старыми ременными вожжами, принесенными кем-то из дому.

— Пусть до утра тут полежат. Ишь, гады, что умудрили! А утром я их в милицию сдам.

Федор Егорович отпустил мужиков и затворил скрипучую дверь сарая; там, на прошлогодней сенной трухе, густо пересыпанной сухим куриным пометом, лежали, злобно скрипели зубами его племяши.

— Развяж-жи, г-гад! — кричали они.— Развяжжи-и, а то деревню запалим!

— Поорите! Поорите! Будет вам армия,— все еще дрожа голосом, отвечал им с улицы бригадир Федор Егорович Селиненков.— В армию уркаганов не берут. Утром отправитесь в милицию, а не на вокзал. По пятнадцать суток вам за такие дела обеспечено. А там, может, еще и побольше приклепают. Наградил бог родственничками.

— Какой ты нам родственник, дерьмо собачье?!

— Шурка! — заорал, срывая голос, Федор Егорович.— Неси воды! Неси! Да похолоднее! Из колодца неси! Вот я их окачу разика два, небось прижмут языки.

— Р-раз-звяж-жи, г-гад! — еще сильнее завопили братья, видно, бригадирова угроза окатить водой не произвела на них должного впечатления.

— Я вот пойду да по отца и мать схожу,— начал Федор Егорович с другой стороны.— Пусть поглядят на своих сыночков. Пусть посмотрят, кого они в армию отдают.

— Развяжи, вор-рюга! — по-прежнему не унимались братья.— Развяжи, вошь на теле колхозном! А то завтра заявление в милиции сделаем, что ты, гад, сеном колхозным торгуешь. Мы все знаем.

— Каким сеном? — подбежав поближе к сараю, уже тише крикнул бригадир.— Каким таким сеном! Ишь, рожи бандитские, придумали что!

— Ну, сук-ка, хор-рош-шо!

В сарае вскоре наступила тишина. Федор Егорович подошел к двери и прислушался: из недр сенника донесся вначале приглушенный и прерывистый, с присвистом, храп, потом он выровнялся, окреп и перешел в мощный вибрирующий рокот, от которого у бригадира забегали по спине мурашки, а у соседей через двор проснулась и завыла долгим протяжным воем собака.

Шура, жена, стояла на освещенном крыльце и куталась в пуховую шаль.

— Федь!

— Чего?

— Слышишь, как собака Марьичкина воет. Наверно, Черёхля опять пьяный на крыльце спит. Не любит она его пьяного.

— У кого голова на плечах, тот не напьется. А вон родные твои до чертиков нахлестались. Ну и порода ж у вас!

— А чего? Хорошая порода. Здоровая.

— Да, это точно. Ряжки нахлопали — будь-будь!

— И не пьяные они. Что ты, Федь?

Федор Егорович ничего не ответил.

— А порода наша хорошая,— снова сказала Шура, зябко кутая плечи в пушистую шаль.— Ведь правда, Федь? А? — И слегка толкнула мужа в бок.— Ну, так как, Федя?

Федор Егорович искоса посмотрел на жену, заметил, как в уголках ее губ неумело прячется улыбка, и, теплея сердцем, подумал: ох, и порода же, ну что за порода такая...

Ночь пошла на убыль, и далеко в полях уже не так робко узкой полоской закурился, поднимаясь все выше и выше, розовый зоревой туман, когда в середине деревни грохнул выстрел, потом другой, звякнуло стекло на фронтоне гаврюченковского дома, крикнул раз-другой гусак за высоким забором, эхо ухнуло над прудом, раскололось надвое, словно там забивали сваю и нечаянно переломили, и покатилось по Усадьбе; на липах всполошились галки, забили крыльями по молодой листве, закявкали спросонья и невидимой стремительной стаей пронеслись над Арпылями.

— Галина! — властно крикнул Сашка Романенков.— Галина, слышишь? — снова позвал он, но и на этот раз ответа не дождался.

В доме, похоже, все крепко спали или просто не оправились еще от испуга. Щелкнул ружейный замок, и через мгновение снова ударили в ночную тишину два выстрела, и, если в это время кто шел по большаку, то, должно быть, ему казалось, что в деревне какие-то чудаки и правда забивают в землю сваи. Мало ли чудаков в Арпылях?

— Открывайте ворота!

По улице потянуло пороховым дымком, словно по лощине во время тяги.

— Галина Петровна! Открывай, а то я щас залпом стрелять буду! Начну обстрел жилых кварталов. Слышишь, что я говорю? Не слышишь? Ну, ладно, щас услышишь.

Со звоном открылось окно, казалось, стекла из него сейчас так и брызнут, и сонный голос Галины произнес:

— Это ты, дурак несчастный?

— Конечно, я.

— Ну, конечно, ты. Кому же еще в голову такое вступит? Уходи сейчас же. Отец встал, пошел в огород за дрыном. Сейчас он тебе даст. Степку разбудил.

И действительно, в неосвещенной глубине спящего дома послышался детский плач, плакал полуторагодовалый брат Галины Степан.

— Вот отец сейчас выйдет.

— Петр Иванович? Ну и отлично.

— Уходи, Саш.— Теперь Галина уже упрашивала его, потому что отец, на самом деле, одевался и чем-то подозрительно гремел на кухне, не включая света.— Ну чего, скажи, с ума сходишь?

— От полноты чувств.

— От полноты чувств,— передразнила Сашку Галина.— Братьев связали и тебя свяжут. Ну и призыв! Подобрались... Сто лет такого не бывало. Вы там, наверное, всю армию разнесете.

— Наоборот. Нас всех на границу надо, по одному на каждую заставу, для поднятия, так сказать, боевого и морально-патриотического духа, потому что за нами — будто за каменной стеной.

После того, как Стрелков разогнал драку и под Матерью сели играть «в соседей», Сашке и Галине выпало «свидание». Когда они немного отошли от игрища, Галина вдруг объявила, что пойдет домой. Зная ее норовистый характер, Сашка ничего не ответил и только скорчил в темноте гримасу. Он проводил ее до калитки. Шли медленно, почти ничего друг другу не говорили, подолгу напряженно молчали, и Сашка заметил, что уходить-то ей не хочется, последняя ведь ночь, но раз сказала, не прижала вовремя зубы, то так и сделает, уйдет. Возле калитки он хотел было поцеловать ее, но Галина вырвалась, а он оступился и упал на выбранную наполовину кладню сухих прошлогодних дров; дрова загремели, и покуда Сашка выбирался наверх и отряхивал пиджак, девушка прошмыгнула в калитку. В угловом окне зажегся свет, обозначил на белой шторке знакомый и милый силуэт, но вскоре погас, и все исчезло. Сашка пошел было домой, но по дороге разобрала икота, к тому же побаливала скула, кто-то из рогачевцев все же достал его, и хорошенько, увесистым, по всем приметам, кулаком, так что полет на кладню был у него в эту ночь не первым по счету. Спать не хотелось. Какой тут сон, подумал он, глядя, как проступают очертания домов и хлевов, скоро и вставать, так что лучше теперь и вовсе не ложиться. Галина уже не выйдет. Обиделась. Полез напролом, дур-рак! Вздохнул. Усмехнулся. Надо ей напоследок хоть окно выбить.

Пришло откуда-то в Арпыли поверье и прочно укоренилось, став обычаем: уходя на службу в армию, парень выбивает в доме любимой девушки стекло, а по возвращении вставляет новое, прочное, светлое. Никто, кроме него, все два, а то и три года не должен прикасаться к этой работе, разве что девушка устанет ждать. Но такое в Арпылях случалось редко, и уж если случалось, то дружки солдата разбивали другое, а то и два сразу: если уж дело пропало, то хоть душу отвести.

Под стрехой изредка перещебетывались ласточки, едва успевшие после дальнего перелета подновить свои жилища, наверное, уже проснулись и ждали, выглядывая из тесных гнезд, когда немного развиднеется, чтобы выпорхнуть на простор и вдоволь поплескаться в чистом утреннем воздухе своей родины. Вверху, на фронтоне, выкрашенном светлой краской, поблескивало небольшое оконце, и Сашка подумал, что его нетрудно потом будет застеклить. На всякий случай он посвистел, покашлял возле калитки, но, так и не дождавшись Галины, взвел курки.

Старуха подходила уже к дому, дорога вильнула вправо, за акации, а там шагах в десяти—двенадцати вот оно, крыльцо. Но, пройдя еще немного, Арюшечка почувствовала, как начали неметь и отказывать ноги.

— Да что же это вы, родимые,— попробовала она их срамить,— столько-то годов как заводные бегали, а теперича оквелели вовсе. До дому-то, милые, до дому донесите. А там и отдохнем. Умаялись, работницы, умаялись. Да. Жизнь вон какая выпала. Трудная. Долгая. Да, долгая. Э-э, не беряжила я вас, не беряжила, это правда. Не до того было.

Но все равно ноги не слушались, они все немели и немели. Старуха кое-как добралась до калитки и уже ползком осилила ступеньки крыльца. Их было всего две, старых, шатких и сгнивших по краям и вокруг ржавых гвоздей, с широкими разводами трещин, за которые она и цеплялась скрюченными пальцами, поднимая вверх свое немощное, худое, ставшее теперь тяжелым и обременительным тело. Она вспомнила, что такое с нею уже было. Давно, еще в молодости. Да, в молодости, теперь она вспомнила точно, когда это с нею произошло впервые. Первенца, Василия, она родила прямо в поле, дергала лен да и разогнулась как-то неловко, оно и началось. Случилось так, что рядом никого не оказалось. Дело далеко уже за полудни было, соседи все домой ушли, а Степана председатель Никита Проничев услал в лес, жерди готовить для скирд. Зубами перегрызла пуповину, завернула маленького в платок, отлежалась, кое-как собралась с силами и пошла в деревню. И, верно, добрела бы не торопясь, да на околице стали млеть ноги, так в суставах и стягивало, скручивало, словно тугими льняными жгутами. Хорошо, тогда заметили ее бабы, подбежали, подхватили под руки, ребеночка из рук приняли. Молодая была, ничего, обошлось, даже снопы довязывать через два дня поднялась. И рожала потом легко. Но теперь вот не дошла. Словно аукнулось ей оттуда, издалека.

— Что ж это вы не донесли старуху?.. Э-эх, бессовестные, серед дороги повалили.

Она говорила и чувствовала, что язык и губы тоже стали неметь, деревенеть и что слова выходят какими-то несуразными, как у дитя малого или у помешанной.

Так это ж я помираю, подумала она без страха и даже без сожаления. То, что с нею происходило, не было похоже на смерть, такую, какой она себе ее представляла всю жизнь, а точнее, с тех пор, как стала о ней думать. А когда она впервые подумала о смерти? Да в детстве еще, когда от тифа и голода перемерли почти все ее братья и сестры. Дышать стало легче, и во всем теле Арюшечка почувствовала необыкновенную легкость; вот, подумала, и силы пришли-прибыли, сейчас немного полежу да и пойду, корову проведаю, что-то сегодня к пойлу не подошла, какая ж это смерть, это не смерть.

Последний вздох Арюшечка сделала глубокий и долгий, как дороги ее сыновей, и, чувствуя, что пространство обнимает ее уставшее за долгую трудную вдовью жизнь тело, успела подумать о Степане и сыновьях. Так она и загадывала: в последнюю минуту подумать о них. Этого просила и у судьбы.

— Неужто ты, Денис? — спросил из темноты приглушенный до полушепота голос, от которого у Стрелкова сразу вздрогнуло и замерло все внутри, так что ни слова вымолвить, ни навстречу шагнуть. Эх! Сколько ночей сладких здесь, у этого окна, под яблоней, зачиналось! Сколько речей переговорено! Сколько вздохов было! Эх, Денис, Денис, корил он самого себя, вот ведь и молодость годы унесли, и волосы твои поредели, да и остатние так сединой перебило, что будто пеплом голову посыпали, давно семья у тебя, дети выросли, внуки пошли, а все давнее забыть не можешь, все узел тот не развяжешь, все трется он по сердцу и оттого только туже становится с каждой новой встречей. Новая встреча — новая боль. А и без них жить сил не хватает. Годы такие долгие прошли, вот и притерпелся. Хоть и не раз ты, Денис, говорил себе, что у этой ягоды горькая серединка, ох, брат, горькая. Притерпится. Поздно уже мосты жечь, менять что-то в своей перекособоченной жизни. Оглянись, посмотри, где она, твоя жизнь? Где? Вроде бы и везде, и нигде. Но дело в другом, в том, что— о г л я н и с ь, что все уже там, там, позади. Но ведь и счастье было! Было ведь счастье! А раз было, то не могло оно вот так, как прошлогодние листья, сгореть, превратиться в прах, растаять, как снег в оврагах. Но может быть, что-то и в душе осело. А как же! Много из ее сердца в твое перетекло, многое из твоего — в ее. Вот так и живете, трепетно

ощущая эту невидимую, но крепкую связь, оберегаете ее как можете, тем и согреваете друг друга. Трудно все это объяснить тебе, Денис, трудно. Ни природного твоего ума, которым ты вытащил из отстающих и крепко держишь в руках свой колхоз, ни книжной, ни житейской мудрости не хватило тебе, чтобы осмыслить то, как живешь ты на свете и в чем вина твоя. Вот ты подумаешь иногда сгоряча: ну, баба, ну, не нашлось ей мужика доброго вовремя, потому как все мужики на войне сгинули, ну, поддалась тебе по слабости по своей этой самой бабьей, а дальше-то зачем? После первого-то раза о чем думала? Ведь просил ты у нее тогда прощения, на коленях стоял, как перед иконой, могла бы и отвадить. Раз и навсегда. Слова бы достаточно было: сказала бы — уйди, мол, Денис, не срами меня, и ушел бы, сердце бы в кулак зажал и ушел. А вышло, что сама потуже узел затянула. Да, Денис, так-то оно все так, есть здесь и ее вина, кто спорит. Хотя, постой, брат, какая ж тут вина, если она тебя полюбила, да так полюбила, что всю жизнь не смогла переступить через нее, любовь свою. А если полюбила, то какая ж тут может быть ее вина?

Не один ты вздыхал по ней, не одному тебе не давали покоя кроткие Анастасиины глаза с ясной зеленцой, будто березовая листва в начале мая, да тугие, молодыми соками налитые бедра, подступались к ней не раз и с баловством, и по-серьезному, предлагали мальчонку усыновить и жить честь по чести, сватов засылали и уговаривали, руки целовали, проклинали, златые горы сулили, но у нее так и не было за всю жизнь другого, кроме тебя, Денис, мужика. Не лето — жизнь прошла, вечерами, ночами темными тебя дожидаючи. Не придешь, ладно, что ж поделаешь, у тебя ведь жена, дети, работа, да такая трудная, что не приведи господи, а придешь — счастье, держи сердце в груди, Анастасия, как бы не выскочило на радостях.

Вот и сегодня за столом под Матерью увидела, как он взглянул на нее, чуть вилка из пальцев не выскользнула, бабы заметили, заперешептывались, от них разве ж что утаишь, а домой пришла — повалилась на диван и до боли в деснах закусила край платка, чтобы не завыть, не разбудить старуху мать, которая, должно быть, на чуть теплой с утра печи. Ох, господи, да что же это такое со мною делается, немного погодя подумала Анастасия, встав и поправив волосы, уложенные в тугую и по-девичьи тяжелую косу на затылке. Волосы у Анастасии были красоты необыкновенной: длинные, черные, но не совсем, а с русой прядью, и слегка вились. Как-то, давно это было, Денис сказал ей, глядя на вполовину расплетенную косу, что за косу-то и полюбил он ее так крепко. Усмехнулась тогда Анастасия, вроде бы виду не подала, а у самой сердце ой как зашлось, и с той поры стала она пуще прежнего холить и беречь свои волосы. Неужто и впрямь за косу полюбил? Или так, сказал только? Захотелось хорошее что-нибудь сказать, вот и сказал. Она лежала на диване и вспоминала ту ночь; вспоминалось Анастасии легко, самое дорогое всегда крепко помнится. Да, так и сказал, сказал и волосы ее погладил. Должно быть, пошутил, вздохнула она разочарованно, мало ли чего мужику в голову взбредет под настроение.

Костер горел ярко, пламя выхватывало из темноты огромный круг, который то и дело вздрагивал, сужался, колеблясь, будто лист на ветру, но потом снова увеличивался до прежних размеров, раздвигал ночь, и тогда белая лошадь, гулявшая по обрыву, поднимала голову, замирала и, прядя острыми ушами, вслушивалась в ночную тишину.

— Ну иди, иди в табун, Серафима,— окликнул ее Серега. Полчаса назад он проводил ее до излучины, где гуляли колхозные кони, обнял за шею, попрощался и пошел к деревне, но Серафима догнала его на полдороге, ткнулась мордой в плечо, заперебирала теплыми шершавыми губами и как привязанная пошла следом.— Ну чего ты, на самом деле. Иди.

— Не гони ее, пусть тут погуляет,— сказала Таня, выкатывая палочкой черный кругляшок картофелины из вороха мерцающих углей.

— Как бы, Серег, за машиной не побежала.— Лёсик усмехнулся и тоже полез отыскивать картофелину.

— Вот приручил.— Таня украдкой взглянула на Серегу.

— Ничего, отвыкнет.

— Красивая лошадь. И жеребята у нее должны быть красивыми.

— А кто ее Серафимой назвал?

— Черёхля.

— Черёхля? Надо же!

Печеные картофелины из ночного костра — это был у них своего рода обряд, священный праздник детства, праздник встреч и расставаний. Здесь они жгли костер, когда закончили пятый класс и Таня впервые уезжала из Арпылей в пионерский лагерь, здесь же, встретив ее месяц спустя, ели картошку, вот так же задыхаясь горячим парным ароматом. Потом были другие встречи и расставания. Одну из них Таня запомнила особенно. Только-только прошел выпускной, закончилась школьная жизнь. Она собиралась ехать в Ленинград поступать в университет на факультет журналистики, Серега — в Москву, на исторический, Лёсик же оставался в Арпылях. Стрелков пообещал ему новый трактор. Она и Серега подтрунивали над Лёсиком по этому поводу. Евдокушиным в ту ночь как раз подошел черед стеречь коней, и все трое обрадовались случаю вновь вместе провести ночь под Тещей. Вот так же они сидели у костра, переговаривались, смеялись, тягали обугленными палочками картофелины, черные, шуршащие, из бурого пекла углей. Чуть поодаль, где теперь гуляла Серафима, спал Черёхля; еще вечером, повидну, конюх сдал им табун, а до дому дойти не хватило сил, лег передохнуть, набраться сил перед дорожкой, да так и спекся в бурьяне. Перед отъездом они были возбуждены, Таня особенно. Уже тогда Серега и Лёсик любили ее той первой любовью, которая случается порой еще в детстве, она всегда нечаянна, как радостный вздох после слез, и от нее на всю жизнь остается светлое воспоминание, если даже судьба сведет потом с другим человеком и если в пути будут тысячи мытарств, неудач, утрат. Есть, видимо, в сердце такой уголочек, куда ни через годы, ни через десятилетия не проникает житейская муть, где всегда хранится самое лучшее, что может быть в человеке, самое нежное и святое. Есть, наверно, есть. Ведь без этого и жить невозможно. Вот и полюбили ребята, вперед не заглядывали: будь что будет. Таня, конечно же, обо всем догадывалась, к тому же подруги и одноклассницы все уши протараторили: ой, Танечка! ой, подруженька, как они на тебя смотрят! ой, да как они за тобой ухаживают! Она и сама не раз и не два замечала, как они за ней ухаживают, но виду не подавала. Лишь иногда украдкой нет-нет да и взглянет то на одного ухажера, то на другого, будто испытывала, верно ли подружки болтают и не обманывает ли ее сердце? Взглянет и подумает: ох, женихи, ну и женихи, и ведь хороши оба, только от одного все же больше сердце меркнет. И усмехнется про себя: как же вы делить-то будете, а, женихи?

В тот раз она попросила Серегу очистить ей картофелину. Картофелина парню попалась огромная, и Таня начала помогать. Кончики их пальцев часто соприкасались, потом он стал делать это нарочно, а она смеялась. И тогда Серега поймал ее за руку и так посмотрел в глаза, что в горле у нее что-то вздрогнуло и затрепетало, а губы замерли, дернулись и никак не могли сложить слова. Таня попыталась выдернуть руку, но сделала это робко и не сразу, а он держал крепко. Лёсик сидел по другую сторону костра и ничего не видел. Таня окликнула его — Серега отпустил руку и отвернулся. «Поди-ка коней заверни»,— сказала она Лёсику. «Да ведь они все здесь, в пойме,— ответил тот удивленно.— Вон Тарзан с Кубанкой ходят, вон Герой и Буян, а там...» «Поди, поди, а то на клевера уйдут».

В крайнем доме над речкой, как и во всех арпылевских домах в этот поздний глухой час, было тихо. На кухне Полина забыла выключить свет, он заливал ближний угол сада и возвращался в незашторенное окно маленькой боковой комнаты, которая планировалась, видимо, как детская и которую Полина любила больше всего, потому что здесь были полки с книгами, удобная софа, впрочем, и софу и книги можно было бы перенести и в другие комнаты, но все же именно здесь она почему-то меньше всего чувствовала тяжесть своего одиночества.

— Теперь нам нельзя расставаться,— сказал он и отыскал ее руку.— Горе ты мое.

— Нельзя,— согласилась она.

В голосе ее было столько доверчивости, незащищенности и счастливой надежды, что у него чаще заколотилось сердце. Словно боясь, что в тишине сумрачной комнаты она услышит это тревожное биение, он сказал еще что-то и поцеловал в горячий висок.

— Ты стал такой сильный,— шепнула она в ответ и в ответ же поцеловала в плечо.— Какая же я, дуреха, счастливая! А может, всего этого нет? Может, все это мне просто кажется? Может, все это сон? Наваждение?

Он ничего не ответил. Она снова поцеловала в плечо и, откинув волосы за плечи, спросила:

— Что у тебя здесь написано?

— Так, ничего, ерунда.

— Как ничего, я видела, какая-то наколка. Покажи, мне интересно.

На левом плече у него была маленькая татуировка. Ее наколол Валерке один ефрейтор-танкист, который лежал вместе с ним в госпитале. Полина включила ночник: тускло забился красным мотыльком колеблющийся свет за узорной медной решеткой.

— Ментo мори. Что-то знакомое, читала где-то. Кажется: помни о смерти. Да?

— Да: помни о смерти.

Они какое-то время молчали. Слышно было, как бились их сердца, а под окном пролетела большая птица, тяжело упираясь в упругий воздух широкими крыльями.

— О чьей смерти, Валера?

— О своей. О своей и о смерти друга.

Она погасила ночник и погладила его грудь. Теперь он стеснялся этой татуировки — мальчишество. Он сказал об этом Полине. Но она ответила:

— Не смейся над собой. Не надо.

— Конечно, не стоило бы портить шкуру, но после того как мне ее изрядно попортили на перевале, терять уже было нечего.— Он хотел все обратить в шутку или хотя бы закончить ею, но ничего не вышло, стиснул зубы и отвернулся к стене.— Там, в Афгане... А, ерунда, все ерунда. Заскучал по дому, расквасился малость. Госпиталь и лечит, и портит солдата. Слишком много свободного времени. Ефрейтор тот играл на гитаре. Хорошо пел. Медсестры, будто на мед, сбегались. Молоденькие, беленькие, как херувимчики. Он поет, а я смотрю на какую-нибудь и тебя вспоминаю, сравниваю с тобой. Ефрейтор в танке обгорел. Потом майор, врач наш, заметил эту наколку. Нам здорово влетело.

— Помни о смерти. Ты думаешь о смерти? — осторожно спросила она.

— Иногда.

— И я иногда.

— О ней все думают. О ней нельзя не думать. Нельзя не думать о том, что уходит время. Время уходит навсегда.

— Да, навсегда... Вот и ночь эта тоже уходит, уходит, уходит.

— Давай вернем ее?

— Это невозможно. Ты же знаешь. Ты только что об этом говорил.

— И все же давай вернем ее.

— Невозможно.

— Хотя бы что-то.— Он прикоснулся к ее прохладной коже.

— Не спеши,— зашептала она тягучим шепотом, останавливая его руки.— Не спеши, не надо пока. Давай еще поговорим.

— Но ведь скоро рассветет?

— Ну и что?

— Как что? Ночь пройдет.

— Да, но впереди — целая жизнь.

— А ты что, хочешь, чтобы жизнь состояла из одних ночей?

— Из таких, как эта,— да! А ты нет разве?

— Я — как все.

Они рассмеялись.

Немного погодя она наткнулась пальцами на маленький бугорок на его груди, это был шрам. Она поцеловала этот бугорок и неслышно заплакала. По его руке потекли слезы, и тогда только он понял, что она плачет. Он не успокаивал ее, он думал о том, как тяжело ему будет жить в доме, построенном ее первым мужем, что придется, наверное, рано или поздно уезжать отсюда. Первым мужем... Почему — первым мужем? Почему я так подумал? Разве я ей уже муж? А разве нет? Муж. Все равно. Муж. Второй муж. Кто-нибудь когда-нибудь швырнется такой фразой: второй муж Полины-агрономки... Уезжать из Арпылей. Из родных Арпылей. Можно, конечно, жить где угодно... Где угодно... Даже в горах, где ни черта нет, кроме шестидесяти градусов жары. Где угодно... Сердце опять начало бешено колотиться.

— Мне нужно будет учиться. Потом, когда все устроится,— сказал он.— Мне это необходимо.

— Ну и хорошо. А я тебе буду помогать.

— Нам нужно будет уехать.

— Хорошо, уедем.

— Ты слишком легко соглашаешься.

— Это что, подозрительно, да?

— Но ведь ты привыкла жить здесь?

— Привыкла.— Она снова отбросила за плечи волосы и пристально посмотрела ему в глаза.— Только лучше уж к новому дому привыкнуть, чем к одиночеству.

— Прости.

— Одиночество — как и чужбина. Есть которые и привыкают и к тому, и к другому, а я не смогла.

— Ты не потому не смогла.

— Может быть.

За окном рассвело. Робкий свет проникал в комнату, скользил по голубоватым обоям, окроплял полки, покрытые лаком, корешки книг и фотографии в маленьких багетных рамках. Ласточки уже проснулись и радостно носились над форточкой, над яблонями, над штакетником. Их восторженные вскрики и пение стремительных крыльев плыли над деревней, не беспокоя, однако, ее крепкого предутреннего сна.

— Ну и проводы закатили нашим пацанам! Нас скромнее провожали. Всю ночь куролесят. Поднесли им, что ли?

— Нет, новобранцам не давали.

— Ну да, усмотришь за ними.

— Послушай, Валера, вот ты говоришь, что надо уехать. А не боишься, что через год-другой назад потянет?

— Потянет. Это точно.

Она вздохнула.

Глава пятая
В ЧЕМ ВИНА ТВОЯ?

Анастасия провела Стрелкова в другую половину и плотно притворила за собою дверь.

— Не ко времени ты пришел, ой, не ко времени.

— А я всегда не ко времени.

Помолчали. Он стоял у окна и смотрел на нее. А она сидела на стареньком диване и тоже не сводила с Дениса глаз. Из-под красной цветистой шали, которую он ей привез из Костромы лет шесть тому назад, выбилась русая прядь и легла на бледную щеку, словно морщина. Ушли наши годы, Анастасия, думал он с горечью, ушли, родимая ты моя. И тут же, будто повинуясь некоему незримому поводырю, который иногда вдруг возникал в нем самом, повторил это вслух. Она вздрогнула и виновато улыбнулась. В чем же вина твоя, подумал он. Подумал, не

выдержал ее взгляда и отвернулся. Э, стареешь, брат, стареешь, вон и слезы уже близки. Скоро будто Кондрат Матвеевич станешь: тот как фронт вспомнит, так и плачет. Как дите малое. А у тебя, Денис, вон какой фронт вышел...

— Может, я принесу чего?

— Не надо, Анастасия. Так посидим. Долго рассиживаться, сама ведь сказала, не с руки сегодня. Хотя жаль, сына все же в солдаты провожаем.

Анастасия снова виновато улыбнулась и убрала под шаль русую прядь. А он подумал: что ж ты казнишь меня своими кроткими глазами, Анастасия? Что ж ты мне сердце точишь? Неужто столько-то вины на мне? И сказал:

— Посидим чуток. А там я и пойду.— Вздохнул.— Всю жизнь мы с тобой, как воры.

Разговор повернулся столь неожиданно, что и сам Денис Иванович растерялся вначале.

— Как это, Денис?

— А так! Всю жизнь любим друг друга и всю жизнь украдьмя. Точно чужое сено гребем.

— А то не чужое? — И тоже вздохнула.— Словно сам не знаешь.— Она внимательнее всмотрелась в его лицо и спросила: — Уж не упрекаешь ли ты меня, Денис? А?

— Да нет, не тебя я упрекаю.— Он снова почувствовал непреклонную волю поводыря.— Себя.

— Ой, Денис! — Она встала; давние пружины тоскливо охнули почти в голос ей.— Коля идет!

— Вот и посидели,— сказал он и подумал: а ведь и вправду словно воры: застигли, поймали, как пацанов на горохе, и страшно стало — аж в горле засвербело. Он прокашлялся, взглянул на Анастасию. Та испуганно застыла у двери, вслушиваясь в тишину ночного дома и изо всех сил сдерживая рвущееся из груди дыхание.

Стрелкову и хотелось и не хотелось этой встречи. Он боялся ее. Сын вырос, вон какой поднялся, под самую притолоку, а отцом его так ни разу еще и не назвал. Да и какой я ему отец, думал Денис Иванович. Не тот, говорят, отец, кто родил, а тот, кто выходил. Кто на ноги поставил. Кто уму-разуму научил.

Во дворе стукнула калитка, нет, не ветром ее ударило, заскрипели сенечные доски под тяжелыми шагами, и через мгновение в горницу вошел Коля и недобрым хмельным взглядом уперся в Стрелкова.

— Вот неймется людям! Хоть бы подождали, пока я в армию не ушел.— Парень усмехнулся, сощурил глаза и снова усмехнулся. Теперь он поочередно смотрел на них обоих.

— Ты, Николай, вот что: со словами-то не торопись, наговорить сгоряча вон сколько можно — сто верст до небес и все лесом. Так наговорить, что потом и не своротишь.

— А, перестаньте вы. Сами за словами прячетесь, как мыши в соломе.

— Осуждаешь, сынок,— покачала головой Анастасия.

— Нет, одобряю.

— Осуждаешь. Вижу, осуждаешь.

— Бог вам судья.

Этих слов от него не ожидали ни Стрелков, ни Анастасия. Она поднесла край платка к губам и замерла. А он стал торопливо искать по карманам папиросы.

— Ну, что замерли? Уйти мне?

— Постой, Николай,— остановил его Стрелков.— Постой. Утром уйдешь. На два года. Так что не торопись.

Коля снял короткую кожаную куртку и повесил ее на спинку стула.

— Тогда, мать, тащи огурцы и стопки.— Он снова усмехнулся, но в этой усмешке было уже больше снисхождения и даже жалости, чем издевки.— Как-никак, а полной-то семьей, считай, в первый раз собрались. Так что по такому случаю грех не выпить. А, Денис Иванович? Правильно я говорю?

— Ты, Николай, не больно-то ершись. А то в слова, как в поддавки, играешь.

— И вправду, сынок, помолчал бы где, послушал, что старшие говорят.

Стрелков положил руку на плечо парня, но тот сбросил ее.

— Не надо. Только этого не надо. Лучше давайте посидим, трахнем по маленькой. И все. А то щас вообще уйду. Что вы меня учите? Учите, учите морали читаете, советы даете, как жить, как быть а сами запутались в жизни — хуже некуда. Учителя. А ты, Денис Иванович, терпи, если что и скажу не по нутру тебе. В гости тебя сюда не звали, сам пришел, вот и терпи.

— Коля, сынок, да что ж ты говоришь?! Уймись!

Стрелков махнул рукой и отвернулся. Эх, парень, думал он, потягивая папиросу и успокаивая себя дымом, лызганул бы тебе сейчас по затылку, чтобы не буровил при матери что ни попадя, да жаль, не время, помириться не успеем.

Коля Горюнов уходил в армию не со своим годом. Его год уже отслужил. Первый раз он получил повестку вместе с Валеркой Евдокушиным. Но Валерка ушел, попал в воздушно-десантные войска, а Колю почему-то вернули с призывного пункта. Четыре раза потом получал он повестки, и четыре раза тайком от него Анастасия выхлопатывала в военкомате отсрочку. Да и без Стрелкова, как видно, дело здесь не обходилось, позванивал председатель военкому, замолвливал словечко-другое. Коля каким-то образом все это разузнал, устроил дома скандал, явился к майору и сказал, что если ближайшей весной не призовут, как положено, напишет рапорт в Министерство обороны в Москву. «Рапорт тебе, парень, еще рано писать,— спокойно сказал военком, терпеливо и не без улыбки выслушав его и пометив что-то на розовом листочке перекидного календаря.— А задерживаем мы тебя на полном основании. Мать-то на кого оставишь? Да еще если во флот направим, на три года?» «Мать, товарищ майор, и одна пока поживет, не девочка несмышленая. К тому же бабка у нас еще тово, бодрая. Может, слыхали про такую: бабка Ганьча Горюнова? Не слыхали. Странно. Ее весь район почти знает. Вы, наверно, здесь недавно работаете. Так что призывайте, а то ведь я точно рапорт накатаю в самую высшую инстанцию». «Что ж, призовем. Молодец, что пришел». «Так ведь я только недавно понял, откуда ветер дует». «Призовем. Иди, Николай Горюнов. Думаю, что не придется тебе рапорт писать в самую высшую инстанцию».

В конце апреля он завернул на своем «газоне» домой и увидел, что мать ждет его у калитки. «Ты что, мать, такое постное лицо сделала, как все равно умер кто?» «Повестка тебе пришла, сынок». «Повестка? В армию? А где она? Давай-ка ее сюда, родимую. Все правильно — повестка в армию.— Он взял из рук матери синенькую бумажку и улыбнулся.— Что ж я, мать, инвалид у тебя, что ли?» В тот же день Стрелков разыскал его в поле и попросил не сдавать пока механику машину и поработать до окончания сева. Коля долго смотрел на голубоватый и кое-где уже обметанный зеленой дымкой окоем широкого поля, будто прислушивался к чему-то, и, когда председатель, прокашлявшись и потоптавшись возле кабины, спросил во второй раз, согласился — молчаливо кивнул и захлопнул дверь. Машина вздрогнула и затряслась, загремела разболтанным кузовом по неровному проселку. Коля опустил стекло, высунулся поправить зеркало: Денис Иванович все еще стоял на обочине, по другую сторону виднелся его «козелок» с распахнутой дверцей. Но вскоре накатила серым душным облаком пыль, накрыла и оставшуюся позади дорогу, и председателя на обочине, все еще смотревшего ему вслед, и машину с открытой дверцей, и край поля, которое засеяли еще в начале страды и на котором уже проклюнулись красными гвоздиками ровные и напористые всходы. Коле редко приходилось работать с полеводами — сев да жатва,— но эту пору он любил особенно. Любил мотаться по полям на своем допотопном «газоне», возить на ток и с тока зерно, обеды сеяльщикам, а осенью сетки с картошкой в район, где рядом с железнодорожной станцией находился заготпункт и где в тупике ошалевшие от усталости и азарта тяжелой и денежной работы колымщики грузили вагоны, подбадривая друг дру-

га матюгами и насмешками. Шоферам в такое время тоже платили неплохо, не то что, к примеру, зимой. Деньги он почти целиком отдавал матери. Но случалось и такое: где-нибудь в районной столовке или в станционном буфете встречал дружков и с легким сердцем оставлял там изрядную часть своей получки. Домой заявлялся лишь на следующий день. «Не пил бы ты так, сынок,— корила сына Анастасия с виноватыми слезами на глазах.— Сгубит она тебя, водка эта проклятая. И что на тебя нашло?». «Да ладно тебе, мать, не стони, а то у меня голова еще сильнее пухнуть начинает. Брошу когда-нибудь. Брошу. Водку все равно плохую стали делать. Брошу, точно. Только сразу нельзя, постепенно надо, а то помереть могу». «Смейся, смейся, измывайся над матерью. Мать все снесет». «Ну не сердись. Прости». «Хоть бы меня пожалел. А, Колюшка?» Бабка Ганьча к пьянкам внука относилась не так терпеливо, как мать. Когда Коля заявлялся домой «болеть», она молча брала из комода какое-нибудь рукоделье и так же молча уходила к товарке своей, Ниловне, иногда оставаясь там и на ночь, и на другую. Возвращалась мрачнее снеговой тучи и еще с порога говорила окончательно выздоровевшему внуку что-нибудь в этом роде: «В пеленках был — грудь сосал, а притолоку теменем доставши да ума не наживши — за сердце принялся». «Неправда твоя, ба,— пробовал он отбиться от нее,— теперь я водку пью». «Да, истинно говорят: бессовестные глаза словами не выстегаешь. Тебя бы поленом да через всю спину. Э-эх, совсем совесть потерял. Недаром сказано: сын без отца, что глумная овца».

— Может, хватит с тебя, сынок? — Анастасия вздохнула.— Болеть ведь будешь. Да еще в дорогу. А там, говорят, комиссия строгая. Вернут — нас ругать станут.

— А может, и станут. Кто его знает, точно-то не угадаешь. Я вот Денису Ивановичу налью, а сам — глоточек один. Там ведь старшина не поднесет.

Стрелков кашлянул в кулак.

— Правильно мать говорит, Николай, много пьешь ты.

— Да где там много? Я и не научился еще пить как следует. Вот научусь, так чтоб голова утром не болела, и все — кранты! Мне, может, не сама по себе водка важна, не дурь в голове, а другое: я, может, хочу победить ее, чтобы пить и не пьянеть и чтоб назавтра голова — как стеклышко.

— Ишь ты, какую хреновину нагородил!

Стрелков вытер платком потную шею. Но потом разговор у них стал вроде как ладиться. Вот и объездился жеребчик, подумал Денис Иванович, ничего, сынок, поживешь, многое еще поймешь. Поймешь и меня, и мать свою, и всю неправильность нашу. Будет еще время подумать. Не все ковром дорога — бывают и перебсины. Еще как бывают. Бывает и так, что всю жизнь вспомнишь, всю душу по зернышкам переберешь.

Говорили о нынешней посевной. Денис Иванович раскраснелся. Анастасия сидела, подперев щеку ладонью, смотрела на своих мужиков и насмотреться не могла. Потом разговор зацепился за другое — заспорили о топорах — и перешел на плотницкие дела. Денис Иванович вспомнил, как хорошо ему жилось в своем доме, здешнем, арпылевском, и едва слезу не пустил. А Коля мечтательно сказал:

— Вот отслужусь, мать, вернусь и дом тебе поставлю. Будете жить с бабкой, как королевы. Кирпичный не хочу, вы в нем клопов разведете. Из сосны поставлю. Кондрата Матвеевича в прорабы возьму. Уж он-то маху не даст. Поставлю дом — и на учебу. Покину вас на время. Я ведь еще не все формулы и теоремы забыл. Помню! Закон Ньютона, аксиомы разные...

— Давай, давай, Николай, правильная мысль. Только вначале вот это брось.— И Стрелков постучал ногтем по горлышку пустой бутылки.

— Брошу. Здесь проблемы нет.

— Вот и хорошо. А я тут пока лес заготовлю. На стройку. Хорошего леса привезу.

— А вот этого и не надо. Не надо, Денис Иванович. Мы что, нищие какие? Или сироты? — Он внимательно и почти осмысленно, насколько ему позволяло его теперешнее состояние, посмотрел на Стрелкова.— Ты ведь дерева эти сопрешь, а нам потом люди глаза колоть будут.

— Ты, Николай, вожжи-то попридержи немного, а то так тебя далеко занесет.

— Я знаю, что говорю. Лес-то государственный. Так? А ты из этого, государственного, попрешь, как будто для колхоза? Так?

— А кто твоя мать, не колхозница, что ли? Вон мы в позапрошлом году трем старухам крыши перекрыли, хлевы подновили. Колхоз, брат ты мой,— это не только коллективная собственность, но и коллективные отношения, а значит, и коллективная помощь.

— Ну ладно, ты эту ерунду лучше с трибун молоти, там у тебя, надо сказать, хорошо получается. А здесь не собрание. Здесь тебе сегодня, Денис Иванович, можно сказать, судный день. Вы там старухам крыши перекрывайте, это хорошо, старых забывать нельзя, а вот мамку мою не тр-рожьте. Сами обойдемся. Или ты что, откупиться хочешь? — Коля побледнел, похоже, ему становилось плохо.— Ты теперь, Денис Иванович, ничем не откупишься. Разве что жизнь, ха-ха, повернешь да проживешь поправильнее.

— А я и не собираюсь откупаться,— неожиданно ответил Стрелков и решительно глянул в глаза Коле. Тот побледнел еще сильнее. Сейчас ударит, щенок, мелькнуло в сознании Дениса Ивановича. Пусть только попробует, я ему руки-то окорочу, это у меня за милую душу. Но вспомнил, как тот сказал ему про судный день, и опустил голову: а, пусть хоть и ударит разок-другой, заслужил, может, и полегчает.— Потому как люблю я ее, Анастасию, матерю твою. Смерть как люблю. И дай бог тебе, Николай, так любить свою женщину.

— О! Любовь! Так у тебя ж, Денис Иванович, она не одна! А? Как быть с таким очевидным фактом в твоей биографии?

— Ой, братцы мои! Лихо! Совсем сдурел! Допился! Наружу полезло! Замолчи сейчас же! Совесть бы поимел перед старшими! — Анастасия всхлипнула.

— А эти старшие много совести перед нами, молодежью, имеют? Вы мне о совести... Да ну вас...

Стрелков сгреб Колю за плечи и через кухню и сенцы выволок на улицу. Там парня стошнило, несколько минут он корчился на четвереньках возле дровяной кладки, потом Денис Иванович встряхнул его, окунул головой в кадушку с дождевой водой и уложил на скамейку.

— Вот так-то, парень, никчемный ты человек. Полежи чуток, охрянь. А то не мужской у нас с тобой разговор получается.

Коля что-то забормотал, забился на широкой шаткой скамье, но немного погодя успокоился, похоже, уснул.

Денис Иванович сел рядом и закурил. Пальцы у него дрожали, так что он раза два обжегся и в конце концов швырнул папиросу под дерево, подумал: а зедь Николай прав. Ну что я дал ей в жизни? Что? Страдания? Бесконечные ожидания? Слезы, которые и утереть-то некому было? А парень нагляделся. Да, нагляделся вдосталь. Вырос, понял, откуда они текут, материны слезы, и почему им нет конца-края. Что не понял — люди подсказали. Понял, озлобился. Но ведь и я мучился, хватался Денис Иванович за спасительную соломинку. Я ведь тоже страдал! А помнишь, Денис, почти зашептал он, как тебя вызвали в райком? Помнишь, как сидел ты в кабинете первого секретаря и тот тебя отчитывал, как мальчишку; помнишь, как вдруг отяжелела и поникла от осознания своей вины голова? Вспомни, коли забывать стал. Не забыл? И немудрено, такое всю жизнь в сердце носят. Не будет больше этого, сказал ты тогда секретарю, холодными одеревеневшими губами прошептал. Ты не лгал. В ту минуту ты не лгал. Ты решил: хватит, повожжались, посмешили людей, друг друга потешили. Хватит. Ты отрекался. От

прошлого. От любви. От всего, что было связано с нею, с Анастасией. И возненавидел даже ее кроткие с ясной зеленцой глаза и длинную душную волну ее темных волос с русой прядью, которую она всегда так медлительно расплетала. Ты даже сдуру подумал о том, что она, Анастасия, приколдовала тебя, и стал вспоминать, не опоила ли она тебя чем-нибудь таким, не шептала ли чего, когда ты в изнеможении дремал рядом с ее горячим, как непотухший огонь, телом. Вот теперь и сокрушаешь меня, гадюка, думал он тогда, ощущая уже радостное облегчение от того, что освободился-таки наконец от дьявольского наваждения, что все теперь пойдет своим добрым чередом, как твой труд и труд твоих земляков на родной и такой же привычной земле, что высохнут теперь слезы Галины и не о чем будет говорить-охать бабам да старухам возле арпылевских и рогачевских колодцев.

И вправду полегчало у него тогда на сердце. Пожал Денис Иванович руку первому секретарю, сел в машину. Но до деревни не доехал, свернул на Галичевы луга. Луга те километрах в трех от Арпылей. Была когда-то деревня довольно богатая, стоял барский дом в липах и вязах, жили в нем какие-то Галичевы, и ничего ни от них, ни от усадьбы их не осталось, кроме названия местечка и лугов заодно. Но зато уж луга были хорошие, всем лугам луга. Травы к середине лета — по бровь. Косы не протащишь. Заехал Денис Иванович посмотреть покосы, прикинуть, сколько стогов можно будет поставить на усадьбе в это лето. Да не вышло дело. Сердце так и зашлось, когда заглушил мотор и вышел на середину луга, вспомнил, что ведь где-то здесь, в Галичах, и зачиналась их любовь. Повалился в траву, словно спрятаться хотел от стыда за свое малодушие и отступничество, и лежал так до самого заката, пока седой долговязый стебель овсяницы не выгнал на самое завершье своего соцветия тугую каплю росы, которая, медленно зрея, наконец нагнула его низко-низко и упала на горячий висок председателя.

Так же вот сено возили, вспомнил Денис Иванович со стыдом и растущей, распирающей всю его огромную грудь нежностью, ставили стога — один, другой, третий, пятый. Мужики, а с ними и он, стояли на подаче, вилами на длинных тонких черенках подавали сено вверх скирдоправом. Дни стояли знойные, не дни — порох. Сено высыхало за одну упрежку: утром на ранках, до теплой росы, скашивали, а к вечеру на этой делянке уже готовое сено подбивали в боровки, а если хватало сил и времени, то и складывали июльское добро в стог. Мужиков на подаче не хватало, рядом становились бабы кто побойчее, поглаже телом да посноровистей, потому что работа эта тяжелая, иной раз и с косой так не наломаешься, как под стогом. И вот попал он на подачу рядом с Настькой Горюновой. Раз попал, другой попал, а под третий стог уж сами рядом встали. Словно сговорились. Хотя слов-то никаких и не было сказано, только раза два локтями коснулись друг друга, подавая наверх охапки, да переглянулись разок: он — насмешливо и с вызовом, а она — кротко. Ее так и звали в Арпылях — Кроткая. Ишь, смотрит как, подумалось тогда тебе, будто монашенка какая. Ишь, и вправду кроткая. Кроткая. Стог заканчивали уже в сумерках, и ты один раз подошел к девушке совсем близко и сказал, ощущая в груди неожиданный сладкий трепет: «Не усердствовала бы так, Анастасия, не мужик поди». «А что ж, Денис, поделаешь, раз мужиков не хватает»,— тут же ответила она, снова ловко подхватила и дальше передала увесистый навильник сена. Не играючи сказала — с болью, ведь мужиков и вправду не хватало в те трудные послевоенные годы. Самых удалых поубивало на фронтах, а другие еще не подросли, в мамкиных юбках путались. И снова посмотрела на него кроткой монашенкой из-под белого платка, повязанного наглухо, что лишь подчеркивало эту кротость да красоту бровей и свежесть загорелых щек. А ты, Денис, и не нашелся, что ответить ей тогда. Потому что правду она сказала. Тебе хотелось возразить, да другой-то правды не было.

Галичевы луга и при хорошей погоде всегда косили и убирали двое-трое, а то четверо суток. Но в этот раз под самые откоски, когда им, молодым председателем, было отдано уже распоряжение о застолье, на тебе — дождь впорол. Да не залетная облачина, от которой и растрясенное можно прятать, не копнить,— обложило небо со всех сторон всерьез, да еще с грозой. Последний стог так и не успели завершить — замочило. Назавтра пришлось обратно растаскивать, не упускать же такое сено в осень — задымит, загниет. Того, что в рядах оставалось, черт с ним, не жалко, а это, считай уже готовое, высушенное, по травиночке на вилах да на граблях вынянченное, жалко. Ладно, растащили. Полдня угробили, да и сами угробились. Погода, однако, устанавливалась, и вскоре сено зашумело, и его стали помаленьку подбивать в вал и потом в копешки. А на третий день, чуть только ветер и солнце сняли росу с кошенины и отавы, начали стоговать и до вечера счастливо управились. Вот эта скирда и была у них та, третья...

Вечером он запрягал Орлика, на котором ездил в те первые свои председательские годы, и думал о том, что Анастасия с матерью и бабами ходит домой не большаком, а через Выселки, маленькую деревушку в шесть дворов. Так было ближе. Не раз за дни покоса в Галичах он видел, как Анастасия, развязав на затылке тяжелый узел и пустив косу по плечу и груди, шла по стежке, оставшейся от старинной той дороги на Выселки, шла, склонив голову, словно что-то искала или думала о ком-то. То с матерью, то с подругами, то и вовсе одна. В тот день, когда завершали стог, он сказал ей: «Давненько я не ездил по выселковской дороге. Заросла, поди, дороженька?» «Заросла, Денис. Хотя на твоей коляске проехать можно». «Можно, говоришь?» Анастасия не сразу ответила, она какое-то время смотрела на него, прямо в глаза, будто всматривалась, силясь понять, о чем это он, и, поняв, что не ошиблась, покраснела, опустила голову и сказала тихо: «Можно». У него тоже ёкнуло сердце и пересохло в горле.

А зимой, когда вывозили к фермам сено с лугов, в одном из стогов нашли белый платок, и кто-то из баб, покрутив его перед носом, повертев и так и сяк, сказал, что платок-то этот не иначе как Настьки Горюновой.

Шила в мешке не утаишь, Денис. А знаешь, что до войны тебе за такие проделки было бы? Нет, не в райкоме, а здесь, в деревне. Парни бы не простили, встретили бы где-нибудь на узкой дорожке и до полусмерти забили бы кольями. Были такие случаи. Чтобы девок не поганил. А старухи бы прокляли, проходу бы не дали, вслед бы плевали. И председательство бы твое — до первого собрания. А там, глядишь, не только с должности, но и из деревни бы вышибли. Не таким орлам перья приглаживали. Но парней тех на войне побило, других, помоложе, в Германию угнали, а кто в оккупацию от голода умер, кто в гестапо попал, кто на окопах сгинул. Старухи же и вдовы рады тебе и такому, потому что ты их своим старанием, строгостью и неутомимостью досыта накормил хлебом. Горьким, послевоенным, но — досыта. Потому что многодетным семьям, семьям погибших и старикам ты всеми правдами, а в основном неправдами, каждую осень выделял побольше пшеницы с нового урожая. Потому что колхоз быстро поднялся на ноги, окреп, и родня из соседних сел и деревень смотрела на арпылевцев с завистью. Вот так и простился тебе твой грех, Денис. За кусок хлеба простился. Задобрил ты народ. Куличом да копеечкой. А теперь время прошло вон какое долгое — годы: что позабылось, а что и притерпелось.

Вышла на крыльцо Анастасия и оборвала его тяжелые раздумья тревожным голосом:

— Ну что, Денис, ему еще плохо?

— Нет, ему уже хорошо. Спит.

— Вот так всегда: напьется без меры, а потом болеет. Говорила я ему, сколько раз просила: брось, Колюшка, брось ты ее, поганую, не пей, давай я тебе лучше мотоцикл куплю, так нет, не бросает. И с девками, говорят, бедокурит, надсмехается.

— Как это надсмехается?

— Ну как над девками надсмехаться можно? Известно как. Ох, и хвачу я с ним, Денис, горюшка!

— Давно я не видел, как наш сын спит, Анастасия. Давно. Мальчонкой был, так на руках, бывало, и сомлеет, а то в тарантасе закачает... Помнишь? А теперь гляди вон — мужик! А девки ему еще мозги вставят.

— Да хоть бы уж прибивался к одному-то берегу. А то вчера — в Рогачевку, позавчёра — в Дрыновку. Не знаю, что он и думает. Хлебну я с ним. У нас, в Арпылях, вон какие красивые девки, ладные да работящие, вот бы провожал какую, может, и вышел бы толк, женила бы. Дак не хочет. Я ему про это начну говорить, а он только посмеивается. Как порченый какой.

— Все верно: в чужой деревне девки лучше. Так, кажется, говорят?

Помолчали.

— Да ты особенно не переживай за него, Анастасия. Добрый он, и доброты этой у него больше, чем всего дурного. Он ведь отчего бесится?

— Ты думаешь?

— Да, Анастасия.— Он взял ее за руку.— Да. Не может простить. Особенно мне. Сильно виноват я перед ним. Он мужчина, он это понимает. Другой бы на порог не пустил, выгнал бы в три шеи, а он...

Было уже довольно светло, и они, чувствуя вину перед сыном и людьми и неожиданную растерянность после всего сказанного и не сказанного, но пережитого в эти минуты молчаливо и глубоко, избегали смотреть друг другу в глаза. Стрелков все курил и курил. А Анастасия села рядом, положила руки на колени, сдерживаясь, чтобы не услышал он и чтобы они случайно не встретились взглядами, вздохнула.

На другом конце Арпылей тявкнула, будто ушибленная, собака, тявкнула и завыла, высоко и протяжно. Стрелков и Анастасия прислушались. Немного погодя собака снова тявкнула и завыла, но уже на другой ноте, более низкой и жуткой.

— У, чертей дразнит, раздирает ее нелегкая,— сказала бабка Ганьча, шаркая калошами на крыльце. Она выходила на двор и, увидев на скамье под тополем рядом с дочерью и внуком, который, похоже, спал, председателя, замешкалась перед растворенной в темные сенцы дверью.— Ишь, затрубила, окаянная. Не к добру.

— Шла бы ты в хату, мама,— сказала Анастасия, не оборачиваясь.

В это время собака завыла еще громче. Стрелков бросил папиросу. Анастасия взглянула на спящего сына. Тот заворочался и открыл глаза.

— Что это? Кто это воет? — сглатывая слюну, спросил он.

— Лежи, лежи. Это тебе снится.

— А, снится...— И он успокоенно и расслабленно усмехнулся и снова закрыл глаза, поудобнее подпихнув под ухо пральник.

Теперь собака уже не тявкала, мучительно долгий надсадистый вой обрывался на вибрирующей ноте, замирал на мгновение и потом снова взбрасывался над спящей деревней.

— Кой к черту снится! Аж нутро все выворачивает.— Коля сел на скамью и протер глаза.— Сколько времени? Скоро машина придет. Чья ж это собака так исходит? Пристрелить бы ее, чтобы не выла так. Ох, как голова болит! Помер, что ль, кто, пока я спал? Ну, что вы молчите? Точно на поминках сидите.

— Плети, дурень.

— А чего ж она так разрывается? Ишь, ишь, что делается. Прямо как волк на святки. Точно помер кто-нибудь. Мертвечину чует. Братья, наверное, кого-нибудь в драке тяпнули. Что-то они из-под Матери по-темному смылись...

— Связали твоих драчунов.

— Как связали?

— А так. Дядьку своего отлупцевать хотели, а тут мужики как раз мимо двора шли, вот и порятовали бригадира. В милицию грозился позвонить, Федор-то Егорович.

— Давно бы пора ему морду набок своротить,— равнодушным тоном ответил Коля и снова поморщился, положив на потный лоб холодную ладонь.— И куда ты, Денис Иванович, смотришь? Бригадир-то твой... тово... хреновый тебе помощник. Только и караулит момент, как бы колхозную корову подоить.

— Ты, Николай, такими словами не замахивайся. Доказательства где? А, ну вот, тогда молчи, не порти воздух. А то ведь так ни за что ни про что обидеть человека можно, на всю жизнь очернить.

— Да к нему никакая чернота уже не пристанет.

— Как у тебя, Николай, слова-то вольготно льются: этого выгнать, того судить, третьего с должности снять! А сам-то в рюмку дальше, чем в будущую свою жизнь заглядываешь.

Коля усмехнулся и отвернулся: ему не хотелось отвечать. У него страшными болями разламывало голову, и каждое сказанное слово горячим эхом ударяло в затылок и в виски. Хотя бы таблетку какую, подумал он, стискивая зубы, но просить у матери таблетку при Стрелкове он почему-то стеснялся. Сказал только:

— Рюкзак собрала, ма?

— Собрала,— ответила она и с жалостью спросила: — Может, выпьешь немного, голова-то и перестанет болеть?

Он ничего не ответил, только мучительно поморщился и замотал головой: от одного упоминания о водке его передернуло, а внутри заворочалось, задвигалось и предостерегающе подступило к горлу. Опохмеляться Коля не мог. Сколько раз пробовал, но всегда это заканчивалось изнуряющей рвотой, что приносило еще большие страдания.

Собака вскоре замолчала, видать, кто-нибудь пугнул, и Коле понемногу стало легче. Он лег обратно на скамью, закрыл глаза. Он не спал. Спать уже не хотелось. Он думал о матери и об отце.

Глава шестая
ДОМ

Узкая полоска на востоке с каждым мгновением все увеличивалась и увеличивалась и вскоре охватила ясной подковой, выщербленной кое-где неподвижными черно-багровыми перьями облаков, половину горизонта, который открылся Лёсику в одно мгновение и в такой неожиданной широте и величии, что парень осадил Серафиму, привстал на стременах и долго смотрел туда, за Арпылинку, дымящуюся в глубоко прорезанной пойме, за клеверища на той стороне, за черную зубчатку леса, похожую на изношенное полотно тракторной косилки, и не мог справиться с гулко бьющимся сердцем. Ах ты, мать честная, хорошо-то как на земле, подумал он, немо шевеля пересохшими губами, хорошо-то на родине как! То-то — родина... Чуть погодя он спешился, шлепнул Серафиму по темному потному боку и сказал:

— Ну иди, Серафимушка. Иди. Вон твой хозяин. Только ему, наверное, не до тебя сейчас.

Лошадь, будто не веря, повернула голову, покосилась и пошла к сосне, темно-зеленой башней видневшейся за гребнем Кабацкой горы. Лёсик еще раз оглянулся на занявшуюся зарю, перелез через жерди березовой изгороди, которой были обнесены огороды, и по невспаханной полосе пошел к дому. Вокруг чернела обмякшая в ночном тумане взрыхленная плугом земля, пахло навозом и прошлогодней картофельной ботвой. Свой огород он нынче не сажал, даже не распахивал под зиму, как делал это всегда, и поэтому в некоторых местах, где лужи талицы стояли особенно долго, сохранив много влаги, уже зеленела сурепка, пробивал серую корку настырный осот, напролом лез хвощ; его коричневые толкачики виднелись тут и там, иногда попадали под ногу, ломались с хрустом и чавканьем, и тогда на подошву начинала налипать, а потом отваливалась ошметками земля.

Зарастет теперь бурьяном, подумал Лёсик, оглядывая свою неухоженную полоску, надо было хотя бы клевером засеять. Дед Кондрат подкашивал бы для своих кроликов, и земля бы не дурнела под лебедой да полынью.

Калитка в сад была отворена. Он вошел и остановился на недавно протоптанной стежке между двумя прошлогодними грядами, тоже не тронутыми лопатой и уже зазеленевшими. Огляделся. Подумал: как быстро земля дичает. Вишня возле хлева в углу еще цвела. Она всегда поздно зацветала, солнца там было мало, потому что с одной стороны его загораживали две березы, росшие за тыном у дороги, а с другой — черной бревенчатой громадой напирал покосившийся хлев. Плоды на ней тоже были всегда поздние и редкие, да и кислые, так что обирали их редко, только разве что в неурожайный год, и потому почти все с этого дерева доставалось птицам. Неподалеку, под зеленой, замшелой от постоянной сырости изгородью, стоял наполовину сгнивший пчелиный улей. Когда Лёсик был совсем маленьким, он прятался в его прохладном, пахнущем вощиной и грибком чреве от бабки и помнил там каждую планочку, каждый сучок и гвоздик. Бабка после очередной Лёсиковой проказы, драки с соседскими девчонками, которые не упускали случая пожаловаться ей, или налета на чужой сад, ходила около с плеткой в руке и сердито ругала его то «антихристом», то «враговой силой», но никогда не находила при этом, то ли нарочно, то ли на самом деле, и потому здесь он был всегда спокоен за свои ягодицы. Когда вернусь, подумал Лёсик, поменяю всю изгородь — изветшала. Столбы тоже отстояли свое, можно будет поставить железные трубы и покрыть их битумом.

Почти в середине сада росла старая раскидистая антоновка. Года три назад она вдруг щедро и тяжело заплодоносила, до этого в ней такой силы не было, сучья вовремя не подперли, и яблоню однажды ночью во время грозы разорвало надвое. Лёсик кое-как наложил шины и стянул сучья проволокой. Ничего, еще поживешь, старушка, вспоминая ее ядреные бугристые яблоки, долежавшие в ящиках с сеном до февральских оттепелей, подумал он, а там, глядишь, дичка из лесу принесу и почкой твоей привью.

Рядом с антоновкой стояла молодая коричневка. Он тогда учился в четвертом классе, вернее, должен был пойти в четвертый класс, когда Бабка повезла его в Калугу покупать к школе пальто и ботинки, потому что в рогачевском сельмаге и в районных магазинах его размера не оказалось и кто-то из деревенских, в шутку ли, всерьез ли, подсказал старой съездить в областной город, где продаются, мол, хорошие дешевые пальто, но где, однако, она ни разу еще не бывала. Пальто тогда они купили, такое, какое хотелось Бабке, на два размера больше и не особенно дорогое. Лёсик надул было губы, но Бабка строго сказала: «Подрастешь ишшо»,— и властной рукой повернула его боком к зеркалу, расправляя на плечах мальчика непокорные складки и трогая черные глянцевитые пуговицы. Ботинки они тоже купили. Вот тогда-то, в ожидании поезда, они и зашли на колхозный рынок, и у скрюченного, как сухой яблоневый сучок, старичка Бабка начала торговать саженец. На будущий год она привила его, потом еще, и вот уже несколько августов коричневка давала нежно-сладкие с приятной кислинкой плоды, приплюснутые, как луковицы, и обтянутые тонкой прозрачной кожурой, обметанной красными, будто нарисованными полосками и розовыми накрапами. В саду была и еще одна яблоня. Остальное же пространство занимали вишни.

Сорта этой, третьей, яблони Лёсик не знал. Кто-то подсказывал, что славянка, мол, но в одном журнале Лёсик нашел описание яблони этого сорта и фотоснимки плодов и ничего общего между описанием и деревом, росшим в саду, не обнаружил. Однако название — славянка — ему понравилось, и с той поры он все больше и больше привыкал к нему, как привыкают к кличке коровы или собаки, даже самой невероятной, и если бы ему вдруг преподнесли истинное название дерева, при этом приведя массу убедительных доказательств, он не поверил бы и оставил бы все по-прежнему. Цвела славянка рано, вслед за вишней, и сейчас, в середине мая, была самая кипень. Яблоки на ней созревали рано, и почти всегда это совпадало с сенокосом. Пока была жива Бабка, держали корову. Сенокос им выделяли в дольках, как и всем в деревне. Дольки были небольшими, Лёсик их выкашивал за четыре-пять зорь, а затем что травой, что уже сеном вывозил домой на лошади. Соседи смотрели на него, жадного и ухватистого на работу, и качали головами, говоря: «Посмотрите, как красиво косит! Мужик!» Потом корову продали, сено косить стало незачем. Но каждый август Лёсик набирал в траве под яблоней мелких желтых яблок, ложился в прохладных сенцах на лавку, хрустел податливой медовой плотью и глядел в оклеенный газетами потолок; это были особенные минуты, потому что всякий раз, закрой он глаза, ему казалось, что все вокруг пахнет сеном, свежевыкошенным лугом и бабкиными малосольными огурцами, а еще укропом, распаренным в чугунке на глянцевитых боках молодого картофеля.

Сегодня он наказал старику Кружаленкову, чтобы посматривал за яблонями, особенно за славянкой, чтобы снимал плоды и обрезал сушины. «Ты мне, Лексей, адрес свой пришли,— сказал Кондрат Матвеевич, обойдя сад и остановившись возле цветущей славянки.— Я тебе посылочку как-нибудь справлю. Славяночки твоей пришлю, чтобы не забывал, как родина пахнет. На чужбине-то оно, знаешь как... яблочка из своего сада...»

Он отворил другую калитку, прошел под черными окнами и сел на крыльце. Ему показалось, что он устал. Недалеко, двора за четыре, завыла собака. Что это она, подумал Лёсик и прислушался, вытянув шею и задержав дыхание. Но в деревне было тихо. Только ласточки с нарастающим беспокойством без умолку щебетали под стрехой, должно быть, договаривались, кому выпархивать на волю первому, да галки шумно просыпались в Усадьбе.

— Вот и рассвело,— вслух подумал Лёсик и толкнул дверь в сенцы.

В сенцах пахло свежим тесом и соляркой. За дверью на косо вбитом в балку гвозде висела его фуфайка, которую он носил всю зиму и весну и которая за это время стала походить на черный, подбитый ватой кожан. Лёсик хотел было снять ее, но петелька зацепилась за шляпку гвоздя, и тогда он рванул фуфайку вниз, петелька хлопнула, как сломанный сучок. Он вышел на крыльцо и швырнул фуфайку через штакетник.

Почти все он уже унес из дома. Почистил ружье, смазал погуще стволы и заткнул их пыжами; сшил чехол для магнитофона и кассет; упаковал в коробку телевизор; собрал в мешок кое-что из одежды и мелких вещей и все это отнес к Евдокушиным.

Теперь в доме было пусто. Постель он тоже унес. Снял шторки с окон, занавески, собрал половики и подвесил их, завязав в узлы, в чулане к балке, чтобы не изгадили крысы. В углу за печкой теперь стояла пустая койка, рядом валялась опрокинутая табуретка и пустая бутылка из-под олифы. Он сел на койку, пружины скрипнули и напряглись под ним. На кухне тикали ходики. Вот черт, забыл-таки снять, вспомнил он и в следующее мгновение с каким-то тупым безразличием подумал: а, пускай теперь висят. Лёсик невольно стал прислушиваться к работе часов: они тикали то громче, с нарастающей силой и чистотой звуков, то тише, будто волна этих рокочущих звуков откатывалась вдаль и слабела там.

Дом был старый, но крепкий. Стоял он на высоком фундаменте, и даже нижние венцы, потемневшие и словно обуглившиеся на дождях и солнце за долгие-долгие годы, не тронула ненасытная гниль, которая съела хлевы и даже изгородь, разрушая их с каждым годом все сильнее и сильнее.

Матовый зоревой свет свободно протекал в окна и заливал все небольшое пространство дома. Белый бок печи порозовел, словно его только что подновили белилами, в которые добавили немного жженой охры.

На темных стенах в трех местах почти под самым потолком виднелись бледные, будто заклеенные свежей бумагой, квадраты: там до вчерашнего дня висели рамки с фотографиями. В одной из них была маленькая, величиной со спичечный коробок, фотография, с которой застенчиво и наивно улыбалось красивое лицо деревенской девушки. Это была его мать. Он вынул стекло, аккуратно, чтобы не порвать и не поломать уголки, отклеил фотографию от картонки и положил ее в комсомольский билет рядом с другим снимком, сделанным года два назад учителем физкультуры, где они стояли втроем — Серега, Таня и он, Лёсик,— с портфелями и беззаботно улыбались, неподалеку стояли их велосипеды и виднелся белый угол кирпичной школы. Лёсик достал комсомольский билет, вытащил фотографию матери и только теперь обратил внимание на то, что на обороте под корочкой пожелтевшего клея фиолетовыми чернилами, немного выцветшими и расплывшимися, была сделана надпись: «Мне 17 лет. Какое счастье!»

— Красивая у меня была мамка,— вслух подумал он.— Тут ей семнадцать. А уже через год родился я. Красивая. А я, наверно, в батю. Интересно, кто мой отец. Живет где-нибудь себе и знать не знает... А может, знает. Сволочь. Колька Горюн тоже, как и я... Но его отец не прячется. Говорят, любовь у него с теткой Анастасией была. Зря Колька так относится к нему. Денис Иванович мужик хороший. А мой, сморчок, где-то прячется.

Он снова пристально посмотрел в смеющиеся материны глаза.

— Зачем ты меня бросила, ма? Ты ведь такая хорошая. Зачем?

Ему ответили нарастающим громким тиканьем, которое, казалось, переполняло опустевший дом, вытесняя даже свет наступающего утра, забытые ходики. Он встал с койки, пружины снова вскрикнули и расслабленно задрожали. Но ходики тикали все громче и громче, они уже рокотали, как колокола. Он переступил через порог кухни, подошел к ходикам и, уже не в силах вынести того бессмысленного исступленного упорства, с каким они уносили в небытие минувшего мгновения этого утра, минуты и часы его жизни, его друзей и односельчан, изо всей силы ударил отяжелевшим кулаком по зеленому циферблату. Под ним что-то облегченно щелкнуло, цепь с грохотом заскользила вниз, увлекаемая привязанной к ней увесистой железякой от безмена, которую пристроила еще Бабка, заметив однажды, что часы стали отставать.

— Зачем ты меня бросила, ма?

По белому манжету рубашки расплылось красное пятно. Но он не почувствовал боли.

— Жили бы и жили сейчас. Я много денег заработал, за корову и свиней тоже на книжку пошло. Купил бы тебе хорошее пальто, с лохматым воротником, как у Полины-агрономки. Туфли красивые. Платьев бы разных. Я бы для тебя, ма...

Теперь ему никто не ответил. Ходики, еще минуту назад стремительно уносившие время в прошлое, а прошлое в более дальние и неведомые пределы, послушно молчали. Темные безмолвные стены старого дома обступили его. Но тишина не раздражала, а, наоборот, успокаивала. Тишина была похожа на Бабку, этого единственного родного человека, которого он знал в жизни.

— Что ж ты...— Он стиснул зубы и еще раз прошептал: — Что ж ты...

Фотокарточка лежала на полу. Лёсик нагнулся, подобрал ее и только теперь заметил, что рассек ладонь, что из раны течет липкая кровь и что успел испачкать ею рубашку и полу пиджака. Он вытащил из кармана носовой платок и обмотал им саднящую ладонь. Скоро придет машина, да, теперь, должно быть, уже скоро, подумал он и вспомнил, что до отъезда нужно успеть сделать еще кое-что, а главное забить окна и сходить к Бабке на могилку, попрощаться. Черт! Совсем забыл! Надо же Арюшечкин штакетник поправить! Не успею. Хотя бы сбить поперечину. Нет, уже не успею. Стрелкова попрошу, он плотников пришлет. А я уже не успею.

Топор, доски и гвозди он приготовил еще вчера. Все лежало возле крыльца. Доски были свежие, пахли смолой и древесной горечью — так пахнет осенью в лесу. Он выбрал одну, самую ровную, с крупными округлыми янтаринками сучков, загреб в горсть гвоздей и пошел к крайнему окну, именно с него он решил начинать. Доска наличника, когда-то выкрашенная в голубой цвет, а теперь облупившаяся, рассохлась и отошла, между нею и рамой застрял кленовый лист, прилетевший сюда из-за дороги, может, прошлой осенью, а может, осени три назад, когда еще была жива Бабка. Она любила сидеть возле этого окна. Выйдет с батогом, вынесет скамеечку и сидит до самых сумерек, пока не пригонит пастух Нила коров с полей. А когда заболела и из дому уже не выходила, пододвинет, бывало, табуретку к окну и глядит на улицу, и кто бы ни прошел мимо, всякий видел в квадрате нижнего переплета ее бледное, неподвижное, будто вылепленное из воска, лицо, обрамленное белым платком, покрытым привычным шалашиком. Ну что стоишь, шепнул он самому себе, начинай. Доска легла ровно и плотно, словно заранее все было подогнано и примерено, гулко заухали в прохладной утренней тишине удары обуха по тугой шляпке гвоздя. Галки, заслышав эти удары, стремительной дружной стаей поднялись в Усадьбе и пронеслись над старым петруненковским домом, словно решили посмотреть, что тут делают в такую рань. Гвозди шли неохотно, заматерела сосна в венцах, будто железная стала, но Лёсик старался бить точно, делая широкие взмахи, и гвозди поддавались. Вздрагивали и вызванивали мелкую дрожь стекла. Вернусь, снова подумал он, прислушиваясь к их тревожному звону, который, казалось, вот-вот завершится стеклянными брызгами, и новые рамы с Кондратом Матвеевичем свяжем, двустворчатые, я такие в районе видел. И наличники обновлю, с голубями вырежу, как у Гаврюченковых, с шашечками, с разводами. Видел я в магазине такую специальную узенькую пилочку, которой можно и перышки голубю вырезать, и клювик, и все, что тебе заблагорассудится. Крышу тоже надо будет снимать, стропило среднее заменить, а заодно и дранку можно сорвать и шифером, а еще лучше железом оцинкованным покрыть. Жили бы да жили, снова, в который уж раз, подумал он о матери. А там, глядишь, и папка бы объявился. В глаза бы ему глянул... Хотя черт с ним!

Когда Лёсик забил последний гвоздь, ему захотелось войти в дом и немного побыть там.

На кухне и в горнице было темно и немного жутковато, как в чужом сарае в сумерки. В узкие щели между досок пробивался осторожный утренний свет и, будто молоком, чертил ровные белые полоски на подоконниках и стенах. Он вспомнил, как возвращался сюда с поля, усталый и голодный, как в сенцах на керосинке варил суп из пакетиков и лежал потом на широкой удобной лавке у окна, подсунув что-нибудь под голову — книгу или патронташ, висевший на гвозде над лавкой рядом с двустволкой шестнадцатого калибра, которую он купил с первых же заработков. Иногда он так и засыпал здесь и только в полночь, очнувшись от холода, вставал, шаря рукой по стене, шел босиком в кухню, жадно пил из ведра, стоявшего на обитом жестью табурете возле печи, раздевался и ложился на кровать. Но уснуть уже было трудно. Ночью чувство одиночества становилось настолько острым и сильным, что сламливало, подавляло его. Хорошо бы пришли Серега с Таней, всегда в такие минуты думал он, глядя в едва различимые потолочные доски. Иногда они действительно приходили. Стучали в окно и кричали: «Лень! Сонный! Открой!» Он радостно вскакивал с постели, нырял в джинсы, обычно висевшие на спинке стула, торопливо натягивал свитер и босиком бежал в сенцы. Там отодвигал засов; Серега и Таня уже стояли на крыльце, даже в ночи он видел их улыбки и улыбался сам, говоря при этом что-нибудь в оправдание, словно действительно был в чем-то виноват. По темным длинным сенцам он вел друзей в дом. Иногда они слушали музыку, новые записи, иногда просто говорили о чем-нибудь, спорили, доказывали друг

другу свои истины, горячились. Лёсик приносил из сада яблок, они вытирали их полотенцем и жадно ели. Случалось, что засиживались у него до рассветов, а потом весь день клевали носами; вечером же собирались снова, шли в Рогачевку на танцы или смотреть кинофильм, а на обратном пути опять заворачивали к нему.

Но когда они не приходили, минуты превращались в часы, часы в годы, ночь в вечность.

Лёсик оперся о дверной косяк.

— Ну, прощай. Через два года свидимся.

Однажды Лёсик слышал, как Бабка разговаривала с Домовым. Это было, когда они собирались в Калугу покупать пальто и ботинки для школы. Вернее, говорила Бабка, Домовой молчал. Молчал и слушал. А она наказывала ему стеречь дом, блюсти во всем порядок и не пускать никого до их, хозяев, возвращения. Теперь он говорил нечто подобное, но разница была в том, что слова его были обращены к Дому.

Закрывая дверь, он обратил внимание, как тоскливо она заскрипела. Раньше этого вроде бы не было. Или просто не замечал? Он вернулся в сенцы, вытащил из-под стола чемоданчик с инструментами, отыскал масленку и смазал петли. Теперь дверь ходила мягко и неслышно. Замок со вставленным ключом висел в пробое. Он смазал и его, вылил остатки масла и бросил пустую масленку на пол, чтобы не возвращаться назад. Времени оставалось совсем мало, так что надо было спешить.

Арпылевское кладбище находилось за Усадьбой на небольшой горушке, поросшей соснами и березами. Кладбище древнее, может быть, такое же древнее, как и сама горушка. Среди крестов и памятников, поставленных недавно и давно, были там камни и надгробные плиты с вырубленными непонятными письменами. Никто, кроме Ганьчи Горюновой и одного парня из Рогачевки, читать их не умел. Бабка Ганьча говорила, что написано на тех камнях поцерковному. Парень же рогачевский учился в педагогическом институте и тоже неплохо знал старославянский язык. Старуха, однако, читала бойчее, не без гордости говоря, что ей-де бог помогает, а тот, в джинсах, нехристь. Лёсик и Серега часто ходили на кладбище и пытались сами прочитать заросшие лишаем и мохом надписи, но ничего у них не получалось, удавалось лишь разобрать в конце концов отдельные слова и даты. А даты Лёсик запомнил наизусть: «1560», «1682», «1812». Некоторые камни, по виду самые старые и почти ушедшие в землю, были и вовсе без надписей и дат.

Возле одного из таких камней, сколотого с одного края и потому похожего теперь на некий древний языческий символ, был родовой курган Петруненковых, потомственных крестьян из деревни Арпыли, чьей последней живой ветвью был он, Алексей Петруненков, колхозный тракторист, а с завтрашнего дня солдат Советской Армии. Здесь лежал дед Лёсика по матери, это его руками был срублен дом, здесь лежали бабки, одна из которых заменила ему мать. Дальше деда с бабками Лёсик никого не знал, потому что никто ему об этих далеких предках не рассказывал. Не осталось никаких и записей, потому что грамоте старики не разумели. Только вот из рассказов Бабки знал он, что батюшка ее, а стало быть, Лёсиков прадед, воевал в армии генерала Брусилова, что погиб во время первой мировой войны и зарыт где-то в чужой земле. Бабка все горевала, что не здесь «успокоилась его буйная головушка», что «не согреет родная земелюшка его белых косточек».

Костей в этой земле было много, потому и росли так буйно и неистово березы и сосны среди могил. Они копали могилу для Бабки, Лёсик хорошо запомнил, как пошел вначале песок с комочками красной глины и редкими камешками, а потом началась черная земля, в такую только пшеницу сеять, подумал он, и уже когда углубились еще на штык, вывернули наружу первую кость. Лёсик первый раз в жизни видел человеческую кость и, может, поэтому ему стало нехорошо, и он вылез из ямы. Дело доканчивал Черёхля; после того как содрали дерн с петруненковского кургана, он прямо из горлышка влил в себя целую бутылку портвейна, и теперь ему было все нипочем. «Что, малай, страховито родню тревожить? Ну ладно, посиди. А я тут аккуратно, я в сторону чуток возьму». Но и в стороне то и дело попадались кости. Словно братскую могилу разрыли они с Черёхлей — некуда лопатой было ткнуть. В конце концов решили углубить по прямой, кости сложили рядком внизу и присыпали свежим песком. Черёхлю Лёсик вытащил из ямы бледного и почти протрезвевшего.

Теперь он думал о тех из своего захудалого рода, кого донесли до его сознания скупые рассказы Бабки и других деревенских стариков. В сущности, то были не рассказы, так, упоминания по какому-либо поводу, эпизоды, случайно выхваченные из далекого прошлого затухающей памятью. Были бы грамотные, хотя бы самую малость, с грустью и жалостью подумал он, наверно бы, осталось что-нибудь. След. Имя. Прозвище. Письма, расписки, купчие... Хотя какие у них могли быть купчие, в зажиточных ведь сроду не хаживали, так, с хлеба на квас... Он запрокинул голову и в разрывах между ветвей, обметанных молодой листвой, увидел чистое вечное небо. Кто были они, мои предки? Те, за четвертым, за седьмым коленом? Тоже, наверно, хлебопашцы и солдаты.

— Солдаты и хлебопашцы,— вслух повторил он. Он смотрел в небо и думал о том, что пройдет и еще тысяча лет, сменятся многие поколения, а оно все так же будет набухать утренними зорями и голубеть над этой землей.

Лёсик сел на край кургана. Могила уже заросла первой реденькой травкой. По другую сторону кургана стоял тяжелый дубовый крест. Это он, Лёсик, поставил его после смерти Бабки. Так она наказывала ему, прежде чем закрыть глаза: поставь, мол, Лёнюшка, «хрёст дубовый», а больше ничего и не надо.

Дуб он нашел в Галичах. Ходил по чернотропу на рябчиков и присмотрел в одном овраге крепкое взгонистое дерево. Через несколько дней завернул туда на тракторе, свалил старикана, убрал топором сучья, подвел под комель хлыста петлю троса и к вечеру приволок его к дому. Дома нарезал его на три части. Верх пустил на дрова (ох, и лютые ж дрова получились!), а остальное закатил в сарай и всю зиму, как только выпадало свободное время, тюкал там топориком, вытесывал Бабке «хрёст». Как наказывала.

Устанавливали крест вдвоем с Серегой, за что им потом на комсомольском собрании и попало. И неизвестно еще, чем бы все кончилось, потому что когда «об установлении креста» известили собрание, поднялся невообразимый шум, гогот и крик, шумящие и кричащие разделились на два лагеря и начали сверкать друг на друга глазами, словом, пошла изба по горнице, а сени по палатям, если бы не вмешался секретарь парткома и не разъяснил особо горячившимся, что никакой религиозной подоплеки в поступке ребят не было, что была всего-навсего последняя воля покойной, которую Алексей Петруненков, будучи даже комсомольцем, не выполнить не мог. Только после выступления секретаря парткома, пошумев еще немного, собрание закрыло вопрос.

Он разгреб песок под крестом и положил в ямочку ключ. Потом заровнял ее, стряхнул с ладоней влажные холодные песчинки, постоял немного и быстро пошел к кладбищенским воротам. Он шел и думал о том, что крестьянам из его рода много, должно быть, земли пришлось вспахать и засеять, много хлебов собрать и великое множество людей им накормить, солдатам же — много дорог и городов повидать, в русских и в нерусских землях, много рек перейти и на многих полях лечь костями. Много и могил пришлось выкопать. Я последний из этого рода. А что будет после меня? Одно лишь небо? Одна лишь земля? Неужто все закончится на мне? Последняя ветвь захудалого рода. Перед его глазами снова всплыл дом; дом представлялся ему таким, каким он видел его вчера и сегодня на рассвете, с еще не заколоченными окнами и распахнутой дверью в сенцы. Неужто на мне и прервется нить? Потом дом исчез, и вместо него возник зарастающий травой курган и широ-

кий разлапистый крест над ним, на котором, казалось, распяты пространство и тишина. Лёсик чувствовал, что между тем и другим существует некая связь, которую ему пока не объяснить ни себе самому, ни другим, но которая все же была, и о ней он стал догадываться со дня похорон Бабки. Чем были для него тщетные попытки прочитать полуутраченные письмена на древних камнях? Рассказы Бабки? Дни изнурительной и желанной работы в поле? Бессонные ночи, переполненные тишиной, одиночеством и смутными тревогами? Теперь он преодолел в себе смуту и понял: что бы ни случилось с ним, он вернется сюда. Сядет на трактор. Перестроит дом. Как все просто и мудро! Он вернется и сразу возьмется за эту работу. Потому что начало уже положено. Крест. Он срубил дерево, вытесал из него могучий крест на могилу своих предков. Он воздвиг его и в память о тех, кого навсегда объяли другие земли. Крест. А минуту назад совершенно неосознанно спрятал под ним ключ от дома. Да, я должен вернуться сюда, думал он, выходя на аллею старинных лип и вязов Усадьбы.

Когда уходит род, время разрушает вначале его жилище, а потом исчезают с лица земли и могилы. Остаются только камни, на которых не всегда разберешь надписи и даты. Но и это не вечно. Время безжалостно. Но им правит высший закон, высшая справедливость — память. А потому вечен только род. Род построит новое жилище, обновит крест над своим курганом. И каждый род должен иметь потомка, сильного и мудрого, потому что подхватить дело предков сможет только он. В народе говорят: не будь тороплив, а будь памятлив. Силу и мудрость потомку даст память. Память о минувших поколениях рода, об их земле и могилах, о родине, о том, откуда пошла она. Иначе род может пресечься. И тогда время разрушит жилище и сгладит курган, проложит по нему стежку или сдавит могучими корнями сосны. Там, на кладбище, много таких могил. Они давно заросли бузиной, дичающей сиренью и соснами. Старые люди, может, и помнят, кто лежит под этими безымянными холмиками. А может, и нет. Могилы не затаптываются нарочно, тропы по ним прокладываются так же неожиданно и вдруг и так же естественно, как в одну из весен над гребнем такого холмика появляется тонкая былиночка с нетерпеливой почкой березы или бузины. Иногда, это он помнил из детства, на пасху или на родительскую субботу в Арпыли приезжал кто-нибудь незнакомый. Незнакомец обходил деревню, тряс руки встречным, разговаривал со старухами, окликал баб и мужиков, а потом шел сюда. То был очередной блудный сын, когда-то, может быть, не успевший бросить горсть податливой арпылевской земли на гроб своего родителя и вот теперь по неведомому и непреложному зову приехавший взглянуть на могилу, постоять, помолчать, попросить прощения, набраться сил для того, чтобы жить дальше. Но вскоре незнакомец уезжал, в лучшем случае поправив кое-как могилку, или просто исчезал, как вор, как бродяга.

Глава седьмая

УТРЕННИЕ ПЕРЕПЕЛА

Утром по всей округе забулькали, будто роняя крупные хрустальные капли в тихие светлые бочажки, перепела. Сроду Серега не слыхал, чтобы они так дружно и ладно выделывали в утренней тишине свои незамысловатые коленца. Эхо вначале помалкивало, словно не приняв этот перепелиный переполох всерьез, а потом загулькало, затрепетало в пойме разбуженными голосами.

— Таня, ты спишь?

Таня не ответила, она спала, разметавшись на рыжем полушубке, который он принес из дому, и отсвет догорающего костра едва-едва розовил ее заспанные и слегка влажноватые губы. Серега хотел растормошить ее, но потом передумал — так сладко она спала. Вот уеду, думал он, глядя на нее, дождешься ли. Два года. Не шутка. А парни вокруг красивые, нахальные. Вон братан уходил, думал, что уж Полина-то дождется, не такая она, чтобы слова не сдержать, да ведь не сдержала. Не упросишь мотылька не лететь на огонь. Сладится ли теперь у них? Может, и сладится. Полина хорошая. Замужем побывала, а красоты не убавилось.

Ветер из-за Арпылинки дернул немного, заструился в зыбкой молодой листве черемух, и еще отчетливее и ближе послышались голоса перепелов, засевших в заречных клеверищах и чутко сторожащих самок, которые, должно быть, нанесли уже яичек и теперь терпеливо и настойчиво высиживали перепелят. Эх, Лёньки нет, послушал бы! Концерт! Не хуже частушек под Матерью.

Утро принесло прохладу. Туман еще гуще заскользил по обрезу Кабацкой горы, оставляя на иглах нижних ветвей Тещи капли влаги; капли эти с каждым мгновением тяжелели, увеличиваясь, и вскоре начали падать, вначале редко, будто роса ночью с крыш, а потом чаще и чаще, как начинающийся дождь. Туманом заволокло всю пойму, и уже не видать было ни клеверищ на том берегу, где неистовствовали перепела, ни бора, которым начинался Заречный лес, ни Усадьбы, ни зарева от близкого солнца. Серега обхватил руками холодные плечи и поближе подсел к костру. Тяжелый влажный туман оседал на откатившиеся угли, остужал их, осаживал пепел. Серега выбрал несколько сухих поленьев, пошуровал в еще живой сердцевине костра и, когда пламя обозленно и жадно взбросилось вверх, сунул их туда и с удовольствием слушал, как они трещали. Туман закрыл горизонт на востоке, и теперь казалось, что все замерло, утро остановило свое движение, казалось, что даже потемнело немного, словно время потекло вспять и возвратился час рассвета, когда в воздухе все еще так зыбко и неясно, что не поймешь: то ли луна взошла и цедит на землю свой чахлый и призрачный свет через рыхлые облака, то ли и вправду светает. Только невидимые певцы весеннего утра — неутомимые перепела — били и били в свои неведомые бубны, только они одни помогали сейчас человеку определить время в бесконечности пространства, отделить ночь от нарождающегося дня, прощание от расставания.

Он нагнулся и поцеловал девушку в щеку. Щека была горячая, наверное, от костра. Таня открыла глаза, улыбнулась и снова закрыла их. Она по-прежнему крепко спала.

— Таня,— сказал он; ему не хотелось будить ее, просто нежность переполняла сердце.— Таня.

Через полтора года он выйдет в очередной наряд вместе с двумя товарищами. Они пойдут по кромке косы вдоль моря, еще с осени забитого торосами, а к тому времени уже заметенного у берегов снегами суровой арктической зимы. Застава останется позади, и никто из троих даже не оглянется на казарму и вышку над ней, настолько привычным делом будет для них этот обычный в общем-то обход восточного участка острова, затерявшегося посреди ледяного безмолвия. Быстро станет угасать короткий полярный день, и над морем и косой загустеют сумерки. Дозор обступит тишина. Сергея окликнет один из пограничников, над головою которого будет раскачиваться из стороны в сторону гибкая тростинка антенны радиостанции: «Товарищ сержант, кажется, пурга будет». «Ерунда. Метеосводка была хорошей»,— ответит он и тут же почувствует в характере ветра какую-то перемену, а потом и увидит, что в стороне тундры, там, где в хорошую погоду играло, вздрагивало всеми цветами, какие можно только вообразить, сияние, поднялась высокая серая стена, с виду неподвижная, но на самом деле — он-то, прослуживший здесь уже больше года, это хорошо знал — мчащаяся с немыслимой скоростью и, возможно, в сторону моря. «Может, вернемся? Товарищ сержант?» — скажет, глотая ветер и смаргивая слезы, молодой пограничник из недавнего пополнения. «Не успеем,— ответит

он.— Пурга застанет нас на косе. Не успеем. Смотрите, как почернело там. Она идет прямо на нас. Нужно уходить к домику охотника». Домик охотника — это только название. На самом же деле на галечной косе, насквозь продуваемой ветрами, так что даже в середине зимы там лежал снег, будет стоять небольшой сруб. Крышу и дверь сорвало здесь во время жестокого шторма лет пять назад и унесло в море. Он примет единственно верное решение: переждать пургу в домике охотника, а пока попытаться установить связь по рации с заставой, чтобы, если пурга не утихнет в ближайшие несколько часов, сообщить хотя бы свои координаты. Но случится нечто непредвиденное: радист долго будет пытаться вызвать заставу, но в эфире воцарится такой кавардак, что все попытки его окажутся тщетными, и в конце концов он доложит, что с заставой связаться не удалось и вряд ли удастся вообще. Раньше такого не случалось. Дозоры успевали сделать обход участка, даже если пурга заставала их где-то в середине пути. А эта обрушится стремительно, как цунами, бешеная и жестокая, насквозь пробивая их бушлаты, вырывая пуговицы и срывая наглухо застегнутые капюшоны и маски. Они ввалятся в домик охотника и, ни слова не сказав друг другу, прижмутся к стене неподалеку от входа, все еще сжимая закоченелыми руками узловатую веревку из накрепко связанных брючных ремней. Ремни они торопливо вынут из брюк и свяжут сразу, как только на них обрушится первый снежный удар; сделают это они для того, чтобы не потерять друг друга, чтобы тот, кто споткнется, не упал, а тот, кто упадет, смог подняться и идти дальше в общей связке. Потом, когда они отдышатся, радист снова попытается пробиться в хаосе эфира к позывным заставы, которая к этому времени уже будет ждать их сообщения, а он и солдат из недавнего пополнения попробуют, но так и не смогут разжечь костер из остатков стропил и потолка, провалившегося вовнутрь. Порывы ветра достигнут такой силы, что щепки, наколотые штыками, разлетятся, словно сухие осенние листья на сквозняке, а пальцы станут непослушными и не будут держать уже ни спичек, ни оружия. Тогда они немного передохнут, прижавшись к стене и друг к другу, и Сергей, согрев кое-как руки, начнет стрелять из ракетницы. Когда он втолкнет в ствол последний заряд, радист уставшим безразличным голосом скажет, что молодой плачет. Он бросится к нему, стряхнет обледенелую глыбу и швырнет ее к стене, где будет едва стоять на ногах радист. Они снова прижмутся к зашпаклеванным снегом бревнам, словно пытаясь удержать свое ненадежное укрытие от окончательного разрушения. Молодой вскоре сползет на колени. Сергею тоже захочется лечь в снег, он даже попробует разгрести сугроб под ногами, но вдруг поймет, что это спасет только его и то едва ли. Нужно держаться. Держаться. Держаться. Как держался на перевале Валерка. Как держался его лейтенант. Товарищи. Радист тоже вскоре откажется ему подчиняться, ляжет в снег, только не рядом с молодым, а у противоположной стены, словно там было теплее или затишнее; наверное, он просто не мог слушать нытье молодого. «Встать! Встать! Встать, сволочи! — закричит Сергей, задыхаясь от ледяного ветра и внезапно нахлынувшей злобы.— Я приказываю вам встать! Хлюпики маменькины! Встать!» Он схватит автомат и выпустит в черное ревущее пространство длинную беззвучную очередь. Но солдаты не встанут. Тогда он соберет оружие и сложит его возле входа, там будет меньше всего снега, стащит неподвижные глыбы в черных бушлатах к дальней стене, выкопает прикладом автомата нишу в сугробе и затолкает их туда, наглухо застегнув маски и капюшоны. А сам посреди мчащегося в неведомую пропасть пространства, стиснув автомат и расстегнув маску, в некоторых местах примерзшую к лицу, закричит: «Та-ня! Та-а-ня-а-а!» Ему будет казаться, что кричит он так громко, что весь мир слышит этот крик.

Утром пурга утихнет, уползет белыми длинными языками в море, за гребни заголубевших обветренных торосов. Их найдет вертолет, обмороженных, но еще живых, и отправит в госпиталь, на материк. Через две с половиной недели сержанту Сергею Евдокушину в палату принесут письмо; неуклюже-толстыми забинтованными пальцами он разорвет конверт, и на белую простыню упадет фотография смеющейся Тани. «Таня»,— скажет он, испытывая те же самые чувства, которые испытывал однажды утром возле костра.

Где-то возле плотины запели песню. Серега вздрогнул, так это было неожиданно, и шагнул из-под сосны. Слов песни было не разобрать, но мотив он уловил сразу. Пели вольно и во всю мочь, так поют в поле, где ни птица, ни эхо, ни человек, никто на свете тебя не подслушает и не передразнит, так поют, возвращаясь из дальней деревни, куда сердце вечерами летит соколом, а обратно разве что к рассвету собирается. Пели братья Васешенковы, они, больше в Арпылях никто эту раздольную песню так держать не умел. Начали тихо и в один голос, вроде как и не они — робко. А потом грянули так, что и перепела померкли.

При широком по-о-оле,
При знако-о-омом табуне-е
Конь гулял по во-ле.

Эх! Да куда там перепелам! Пели братья в два голоса, и так умело подлаживали друг другу, что и не хочешь их, драчунов, слушать, а заслушаешься. Послушаешь-послушаешь, постоишь и — заслушаешься. Недаром сказано: русская песня и врагов помирить может.

Ты гуляй, гуля-ай, мой конь,
Пока не спойма-а-аю.
Как спойма-а-аю, зауздаю
Шелковой уздо-ю.
Вот споймал парень ко-оня,
Зауздал уздо-о-ою...

И вот тут-то снова выхватил более высокую ноту один из голосов, Гришин или Санькин, кто их разберет, да и важно ли это, ведь без любого из них не было бы, пожалуй, песни, такой, какую слушала теперь, затаив дыхание, вся деревня.

Вдарил шпо-оры-ы под бока-а —
Конь летел стрело-ю.

Казалось, вот теперь бы, в этом самом месте, и слиться бы им, и повести в один голос, но не тут-то было: первый шел раздольно и правильно, словно коренник, а другой трепетал, замирал и мерк, и снова взвивался над ним гибкими вольными переливами.

Ты лети, лети-и, мой конь,
Лети — не споткни-и-ися.
Возле милки-и-ина двора-а
Стань, останови-ся.

В это время Кондрат Матвеевич Кружаленков в том же шевиотовом пиджаке с медалью, под которым виднелась белая исподняя рубаха, распахнутая на впалой, поросшей седыми волосами груди, сидел на бревнах возле дома и не спеша курил. Рядом с ним раскуривал свою трубку Федор Егорович Селиненков. Он слушал, как пели племянники, и, то ли табак был сыроват, то ли еще отчего, трубка часто гасла, и Федору Егоровичу снова приходилось лезть за спичками; ему хотелось, чтобы певцы сбились с лада, перепутали слова или хотя бы один из них сплоховал и взял не ту ноту. Но, похоже, братья умели не только драться, и там был полный порядок.

— Эшь! Эшь, Санька-то, Санька как голос вьет! А Гриша тоже бузует — господи, боже мой! — Старик Кружаленков изумленно покачивал головой и

причмокивал губами, что окончательно выводило из себя Федора Егоровича: трубка у него опять гасла, спички ломались и обжигали пальцы, видно, и вправду подмочил где-то бригадир свой табачок.— Запевалами будут парни. Точно. Попомни мое слово. Это у них получится. Так на плацу гаркнут, что — господи, боже мой! А запевала в роте — первый человек.

— Ну, Матвеич, ты больно тово... не возноси,— нетвердо, словно для пробы, возразил Федор Егорович.— До первых-то им еще о-го-го!..

Тем временем певцы начали новый куплет, и бригадир замер, прислушиваясь: каково у них тут пойдет? Санька и Гриша опять повели на два голоса, и выходило у них лучше прежнего.

— От дают, гусляры! А ты говоришь...

— Да погоди ты! — уже со злобой, которую не сумел-таки скрыть, вскрикнул бригадир и сунул потухшую трубку в карман пиджака, косо сидевшего на его плечах.

— Зря ты, Федор, так осерчал на них,— снова начал подступать к бригадиру старик Кружаленков, выждав, когда братья допели трудный куплет.— По молодости это. А молодость и ременные гужи рвет. Гляди, еще придут да прощения попросят.

— Ага! Задним-то умом мы все умны! Придут... А я еще подумаю. Придут они.— И он усмехнулся, и губы у него задрожали.

— Вот вступило тебе в душу! — уже без всякого увещевания высказался Кондрат Матвеевич.— Корявые они, известно, потому порода такая. Деда-то ихнего, Ивана Платоныча, так Драчуном и звали — Ванька Драчун да Ванька Драчун. Бывало, где драка, там и он, а где он, там и драка. Без него не начинали даже по праздникам. С рогачевцами-то кто на Кабацкой горе на троицу да на масленицу кашубузу заваривал? Опять же он, Ванька Драчун. А Ивановичи теперь — следом за дедом. Так что тут, Федор, глыбше смотреть надо. Это у них Драчунова заноза в кровях бродит. У каждого кота своя пестрота.

— Ну да, мне еще на их пестроту оглядываться... Ладно, Матвеич, дай я послушаю. Вроде как и вправду славно поют. Вот не собьются, доведут до конца как следует, прощу, так и быть. А на кровя ихние мне плевать. У меня они, может, тоже тово...

— Чего?

— Шальные...

— Нет, Федор, у тебя кровя не шальные. Шальные — это когда как вода полая: прут, куда ни попадя, и все им нипочем — ни лед, ни запруда. А у тебя, Федор, кровя-то мудрые.

— Как это — мудрые?

— А так: такие на запруду, как на рожон, не полезут — дырочку найдут.

— Э, развезла кума квашню по печи.— Федор Егорович сплюнул под ноги и, уловив в глазах старика ехидную соринку, снова вытащил из кармана трубку и стал ковыряться в ней спичкой и выколачивать о колено.

Песня между тем смолкла, и на деревню опять навалилась тишина.

— Ну вот...— Федор Егорович выругался в сердцах и тоскливо посмотрел поверх смородиновых кустов, на которых, словно зеленые бабочки, неподвижно сидели резные листочки, разнося по всей улице крепкий, устойчивый запах весеннего обновления.—И конца дослушать не дал. Не дал, говорю, дослушать, как племяши мои спели.

Кондрат Матвеевич усмехнулся. Чуть погодя он поскреб ногтем худую грудь и спросил:

— А про какое это сено Санька с Гришей тебе напоминали?

— Да так, ерунда,— нехотя ответил бригадир и запыхал своей трубкой.

Федор Егорович знал, что теперь старик не отвяжется, и ему захотелось как-нибудь потихоньку уйти. Но просто так встать с бревен и уйти было уже нельзя, старик больно хитер, такое слово найдет, что и не вот ответишь. Но и сам он не лыком шит. А потому решил вначале увести разговор в сторону, а там — авось кривая куда и вынесет или старик сам уймется.

— Ночь в сарае переночевали, дурь-то, поди, и сошла. А то ведь Санька грозился деревню запалить, а Гриша тоже зубами скрипел. И точно, запалили бы, если бы не образумили.— Бригадир говорил не спеша, как бы нехотя, он все пробовал старика.

— А кто же их ослобонил? Из-под ареста-то кто ослобонил, говорю?

Вроде подалось, подумал Федор Егорович, но с ответом нарочно не заторопился, чтобы не насторожить старика.

— Дочка моя,— наконец сказал он и снова начал что-то мудрить с трубкой.— Видно, услыхала, что в сарае храпят. Они ж, окаянная сила, храпели так, что доски тряслись. А она, Таня моя, храпу мужского не выносит. Иногда даже мне замечания делает. Я утром пошел, а там одна веревка валяется.

— Ну, стало быть, благодари, Федор, дочку свою. Потому как до утра, ой, поднакопил бы ты в них злости! Деревню они, может, и не тронули бы — поостереглись, а вот под твою крышу точно бы красного петуха подпустили.

— Ишь ты! Может, не им ко мне, а мне к ним поклониться сходить? А? Ты ведь в эту сторону клонишь, вижу. А то я вроде что-то недопонимаю.

— Поклонишься — не переломишься, а грех с души снимешь. И ребяткам души очистишь.

— А! Вон ты как заговорил! Грех? — Федор Егорович вдруг понял, что все это время не он старика, а старик его за нос водил. Подобрался-таки, старый барсук. Медово начал, да вон как закончил, старый черт.— Грех? — Бригадир не сразу и нашелся, что сказать старику, а потому ляпнул первое попавшееся на язык: — А ты что, Матвеич, веруешь, что ли?

— Верую, Федор.

— Не зна-ал,— усмехнулся бригадир,— вот уж не знал.

— Верую,— сказал он опять.— И ты знаешь эту мою веру: век душой не кривил, а нынче, когда жизнь на закат пошла, и подавно кривить не буду. Так я что хочу сказать: и в ихнюю правду я верую, да, верую.— И Кондрат Матвеевич кивнул в сторону плотины.

— А вот не было! Не было этого сена! Понятно? Не было вовсе! Не бы-ло! Вот и моя правда — не опровергнешь. Попробуй докажи, что это кривда?

— А вот в твою правду я не верую. Твоя правда хужей кривды. Потому как она другим души калечит. И ты, Федор, подумай об этом. Ночью как-нибудь проснись и подумай. Ночами хорошо думается. Денис-то Иванович, гляжу, не больно строг с тобой. Здорово ты ему очки втираешь. А люди, брат, все видят. От людей не спрячешься. У людей глаз вострей председательского.

Певцов слушали и в кирпичном доме с большими окнами; одно из них было открыто почти настежь.

— Подумать только,— тихо сказала Полина,— забияки, сквернословы, а так хорошо поют.

— Парни что надо. Друг за друга горой. Такие и сами не пропадут и другим пропасть не дадут. Там, в войсках, это пригодится.

— А что драчуны такие — разве хорошо?

— Каждому из нас еще в раннем детстве не однажды внушали: драться — не-хо-ро-ш-шо. И это на самом деле так. Но в жизни не все так правильно и ладно, как хотелось бы и как кажется в детстве. А поэтому нужно быть готовым и подраться. За себя или за друга, не важно. Причем так быть готовым, чтобы тебе же за твое благородство и честность, за гордое желание вступиться за ближнего своего или слабого не набили морду.

— Нет, ты снова не прав. Благородство... Честность... Какое может быть благородство и какая честность, когда дерутся?

— Когда дерутся, о благородстве действительно думают редко. Времена дуэлей безвозвратно минули

и ничего не принесли взамен. Но, ты прости за высокие слова, кто же тогда защитит женщину, к которой пристают на улице? Друга? Просто незнакомого человека, который попал в не менее трудную ситуацию? Я знаю, тебе хотелось бы помирить всех, волка и агнца. Только вот беда, это невозможно. К счастью, невозможно,— поправился он.

— А почему к счастью?

— Все очень просто: люди не перестанут делать гадости даже тогда, когда будут удовлетворены все их запросы и нужды. И если исчезнут зависть, жадность, трусость, то гадости люди будут делать еще лет сто, не меньше, просто по привычке их делать. Одна надежда: люди когда-нибудь устанут делать гадости и посмотрят друг другу в глаза с откровенной добротой.

— У тебя такой кавардак в голове! Тебе не кажется? Так, Валера, можно любую дикость оправдать. А тебе рассказывали, какую они драку во время первых проводов затеяли? Многих избили очень жестоко.

— Я не оправдываю эти драки. Конечно, дикость. Но зачем ты вспоминаешь первые проводы, ведь сегодня ночью...

— Прости,— перебила она его,— но мне кажется, что, будь ты здесь в тот вечер, ты бы тоже вмешался в эту бессмыслицу.

— Не знаю,— не сразу ответил он.— Может быть, и вмешался бы. Хотя мне не доставляют особого наслаждения физические мучения человека, который корчится у ног от твоего же удара. Не думай, я не кровожаден и не страдаю комплексом неполноценности.

— Ой, да ну тебя! Ты странно мыслишь. Давай лучше послушаем наших драчунов. Наверное, сегодня ночью они опять что-нибудь натворили, вот и поют.

Валерка усмехнулся.

— Поют-то как, а? — Полина сидела у окна, закрыв ладонями лицо и упершись локтями в подоконник. Щеки ее пылали, и, может быть, оттого она и выбрала именно эту позу, чтобы скрыть от Валерки свое волнение.— И песни-то все хорошие. И слова знают, не собьются вот нигде. А то, бывает, за столом или на покосе другой раз запоют, куплет-два, а там, глядишь, и расстроилась песня — слова позабыли. А они не сбиваются. Славно поют. Народ должен помнить свои песни. Ты слышишь меня? — спросила она, не оборачиваясь и не отнимая ладоней от пылающих щек.

Он коснулся рукой ее плеча: «Слышу». Он стоял позади нее и смотрел, как вздрагивает, будто крохотный, но неутомимый и неиссякаемый родничок, едва заметная синяя жилка на ее шее. Он смотрел на этот родничок и думал о ней, о Полине, о своей шальной и мучительной любви к ней, в которой он обрел в жизни все, и затем потерял, казалось, навсегда, но снова обрел. Он знал, что дурной молвы не миновать, что люди осудят эту его любовь. Осудят и Полину. Но знал он и то, что они уже не смогут друг без друга и делают все для того, чтобы больше не разлучаться, не испытывать судьбу. А может, люди и поймут все, думал Валерка, не камни же у них заместо сердца. Не камни. Ведь сумел же понять Серега. А уж он бы сказал, не потаил в душе, если бы имел что против Полины. Никогда мы с ним друг от друга не прятались.

Кыш вы, летите-е-е,
Воды не мути-ите,
Будут Марусеньку
До-ома брани-ити...

— пели братья, видимо, уже захваченные стихией новой песни. Вряд ли они подозревали, что их слушает вся деревня — просто вышли вот на плотину и запели, чувствуя простор и радуясь вновь обретенной свободе после тяжелого сна в чужом неприютном сарае, а может, огляделись — светает, скоро в дорогу, и когда еще приведется побывать здесь, вот и решили попрощаться с родными местами.

Где ж ты, Маруся-а-а,
Так долго гуля-ала,
Долго гуляла,
Кого-о поджида-а-ла-а?

Последний куплет братья пели особенно протяжно и нежно, видно, и вправду близко к сердцу приняли горькую печаль Маруси или хотели проникнуть в сокровенную ее тайну: кого же она все же поджидала, гуляючи у реки? И если бы кто вышел сейчас на плотину, то увидал бы на самой ее середине Гришу и Саньку: крепко обнявшись и вскинув головы, горячие и непреклонные, они стояли, повернувшись к деревне, и пристально смотрели на ее порядок, на палисадники, стежки, бани, на наличники утонувших в вишняках домов, на колодцы и дровяные кладушки, они словно прислушивались к далекому умирающему эху, которое подхватило последний вздох допетой ими песни и не хотело с ним расставаться. Ах, и песня ж была! Да и певцы под стать ей, что тут скажешь!

— Нет, больше не запоют. Ушли, наверное.— Полина потрогала кончиками пальцев холодное оконное стекло, отчего то место, к которому она прикоснулась, сразу покрылось молочно-матовой испариной, но стоило ей отнять руку, как все сразу исчезло, словно мираж.— Однажды на покосе, в Галичевых лугах, бабы попросили их спеть. Они вначале засмущались, долго отнекивались, а потом запели какую-то тоже старинную, я уже не помню ее слов, что-то там про брата, сестру и ее любимого, которого забирают в рекруты. Там есть один куплет, где сестра просит господ начальников вместо ее любимого взять в солдаты ее родного брата. Так вот когда они запели куплет, заплакали вначале наши солдатки, вдовы, а потом и все остальные заплакали. А с теткой Просой сделалась истерика или что-то в этом роде, так что пришлось отпаивать ее водой.

— Бывают такие песни, где все, чем жив и болен наш народ, словно в узел завязано. Есть такие песни, что и мужики плачут. У тетки Просы, может, слышала, мужа и трех сыновей в войну убило. Под Юхновом, недалеко отсюда, в танке сгорели. Там и памятник есть. Бывают такие песни.

Они замолчали. Долго слушали утреннюю тишину деревни. Полина опять трогала стекло, оно слегка дребезжало, и смотрела в сад. Валерка стоял рядом и тоже смотрел в сад и на Полинины пальцы со слегка выгнутыми кверху кончиками, на нежный родничок под завитками неубранных волос.

— Нет, не запоют больше наши драчуны.

— Через два года вернутся — споют.

— Да, вернутся и споют,— как-то рассеянно ответила она и повернулась к нему.— А какая песня у нас сложится, Валера?

— Какую сложим,— не сразу ответил он и обнял ее за плечи.— Какую сложим, Полинушка, милая ты моя. Такая и будет. Может, веселая. Может, серединка на половинку. А может, и грустная.

— Грустная?

— Кто ж знает?

— Грустная, да наша. Правда?

Он кивнул и поцеловал ее в волосы, чувствуя, как у него начинают дрожать пальцы.

Полина включила радиоприемник, стоявший на книжной полке: «Маяк» передавал новости с молодежных строек, потом начался концерт знаменитого пианиста. Они сидели на софе и изредка полушепотом переговаривались.

— Наши ребята из батальона тоже на стройку уехали. Почти целый взвод. Прямо в форме.

Полина вопросительно посмотрела на него.

— А я по дому заскучал. Да, самым жестоким образом. Захотелось на родину. Как ни крути, а что-то такое есть в нашей деревне... притягательное, верное, вечное. Во всяком случае, для меня. Правда, когда ехал, думал: приеду, посижу с отцом, с матерью, поговорим за столом, братана на службу провожу, на тебя посмотрю, хотя бы издали, и поеду своих ребят догонять, свой родной взвод.

— Неужто ты меня так любишь, Валера,— зашеп-

тала она неистово, задыхаясь, чувствуя, как внутри что-то перервалось, захлестнув ее отчаянием и раскаянием.— Я ведь предала тебя! Предала! Предала! Неужели...

Валерка сжал ее руку выше локтя, ей стало больно, и она замолчала, закусив губу.

— Помню, бабка говорила: посердишься — уймешься, этот бес не задавит, а вот полюбишь — конца и краю не будет.

Полина положила голову к нему на колени. Ей все еще не верилось в то, что произошло, что Валерка с нею, рядом, такой близкий и родной. Но иногда становилось вдруг страшно и стыдно за то, на что решились они в эту ночь. А может, прогнать его, думала она. Пока еще не поздно. Дальше в лес — больше дров. Сказать: передумала, одумалась... Да ведь не смогу. Не смогу я ему это сказать. Ей хотелось лечь на софу и плакать. Может, слезы, думала она, успокоят, очистят. Но потом застилала все на свете сладость прикосновения его рук, сильных и в то же время робких и нежных, горячий шепот, в котором было столько настоящего счастья и надежды на счастье будущее, волнующий запах его одежды и коротко остриженных волос. Она вдруг вспомнила, как ночью, когда они лежали на софе у открытого окна, ловя струи свежего воздуха, он спросил: «А что же у вас детей-то не было?» «Так вот, не было,— ответила она.— Вначале строили. Витя не хотел, говорил: еще успеется. Потом мне самой страшно стало, ведь он почти всегда пьяный приходил...» «А теперь не страшно? — спросил он, нежно трогая губами мочку ее уха.— Вдруг получится что?» «Теперь не страшно. Теперь мне даже хочется, чтобы у меня завелся ребеночек. Мне никогда еще не хотелось этого так, как теперь». «Правда?» — радостно спросил он, и она увидела, как горели в то мгновение его глаза. «Да, правда. Просто сумасшествие какое-то. И это, видимо, не пройдет. Во всяком случае, пока ты рядом». Чуть погодя она сказала: «И все-таки я не могу избавиться от чувства вины. Вины перед тобою. И перед н и м». «У меня на душе тоже нечто подобное. Это надо пережить». «Трудно». «И все-таки надо».

Глава восьмая
МЫ ВЕРНЕМСЯ!

Сашка Романенков выпрыгнул из окна гаврюченковского дома, огляделся — стало совсем светло, туман согнало под горку, к пруду, скоро, наверное, должно было взойти солнце,— и крадучись прошел к калитке. Возле калитки оглянулся: белая ручка отвела белый тюль, махнула ему и исчезла.

Нужно было зайти домой и забрать рюкзак с собранным в дорогу: ложкой, кружкой, полотенцем, бритвенным прибором, которым он начал пользоваться совсем недавно, пачкой конвертов без марок, в каждый из которых было вложено по два чистых листка, новой шариковой авторучкой и запасными стержнями.

На крыльце его встретила сестра и, поставив на лавку ведро с только что принесенной из колодца водой, спросила:

— Что, жених, опять у рыжухи своей ночевал?

— Точно, конопатая, угадала. А тебе что?

— А то, что вот расскажу все матери, она тебе живо гулянки эти прекратит. Бессовестный.

— Ага, иди. В самый раз. Только не забудь сказать, что я еще и окно выбил со всеми вытекающими, так сказать, отсюда последствиями.

— Ой! Дурак ненормальный! — Вера села рядом с ведром, при этом едва не опрокинув его.

Они рассмеялись: смеялись долго, до слез.

Сашка и Вера уже привыкли к таким не совсем обычным для брата и сестры отношениям, однако это не мешало им любить друг друга и заботиться друг о друге. Сашка был на два года старше сестры, но та, совершенно точно и подробно осведомленная во всех его делах, сердечных и несердечных, считала своим долгом давать ему советы, которые, впрочем, он охотно выслушивал, руководствуясь при этом весьма веским доводом: как-никак, а Верка все-таки женщина и кое-что из ее болтовни извлечь можно.

— Погоди-погоди! — смеялась Вера.— Еще образумишься! За семьсот-то тридцать один день! Да и Галина дождется ли?

— Галина? Галина дождется.

— Галина дождется — ой-ой! — передразнила его Вера.

— Слово дала.

— Слово?

— Слово. Железное!

— Ха, слово! Слово — солома. Подожди, вот припрет и на слово свое наплюет.

— Что припрет?

— Что. Как будто не знаешь, что. Ой-ой, не прикидывайся.

— Прижми-ка зубы, сестрица.— Сашка сдвинул черные брови.

— Ой-ой, не грозись! Не таких грозных видала. А то, что сказано было, на ус мотай. Усищи-то вон какие распустил! Слово она ему дала... Хороши слова, говорят, а все не пряники!

— Слушай, Вер, и откуда ты у нас такая умная? А?

— Откуда и ты.

— Ну-ну. А сидор мой где, умница?

— Там,— кивнула она на дверь.— Принести?

— Нет, я сам возьму. Скоро уже идти надо. Мать с отцом еще дома?

— Ушли. Тебя, что ль, с гулянки дожидаться будут? Ушли,— повторила она,— пока ты там с рыжухой миловался. Отец, правда, обещался на станцию к поезду успеть, так что смотри его там.

— Ну вот, елки-палки! С матерью, выходит, не прощаюсь!

— Выходит. Сам виноват. Прошлялся...

Он вошел в дом, взял со стола собранный еще вчера рюкзак, забросил его за плечо и окинул взглядом обступившие со всех сторон родные стены. Рюкзак показался ему тяжелым, неловким, и он спросил, чтобы не молчать, потому что молчание становилось тягостным:

— Ты, что ль, напихала чего?

— Мать. Сала кусочек, хлеба и курицу вареную.

— Сала кусочек... Небось целому взводу на обед? Кусочек... Тоже мне. Вы бы еще конфет кулек сунули! А курицу зачем же зарубили? Зиму зимовала, трудилась, до хороших времен дожила, а вы ей голову долой. Впрочем, курица — это хорошо.

— Саш, а взвод — это много солдат? — спросила вдруг Вера, и на длинной ее реснице блеснула слеза.

— Много. Больше тридцати,— ответил Сашка и отвернулся, с тоской подумав: сейчас нюни распустит, хоть бы смыться от нее поскорее.— Ты, Верка, вот что: под березу не приходи. Давай мы с тобой тут попрощаемся.

— А почему не приходить-то? — тихо возразила она, и слеза блеснула у нее уже на щеке, смешалась с веснушками и задержалась в уголке рта.

— Сказал, не приходи — значит, не приходи. Надо так.

— Ну, Саш, там я не заплачу, не бойся.

— Ты только говоришь.

— Не заплачу. Честное слово.

Они сели на табуретки и помолчали с минуту. Сашка посмотрел в окно, на душе стало как-то нехорошо, наверное, оттого, что не попрощался с матерью. Хорошо хоть отец к поезду успеет, подумал он. Ну, все, посидели, а теперь и идти надо. Верку жалко, теперь все заботы на ее плечи: воду носить, корову доить, зимой и дрова придется таскать, и снег расчищать. Обиделась. Ладно, пусть идет, может, ей не только на меня посмотреть охота.

— Ты, Верк, платье свое зеленое надень,— сказал он и встал, поправляя рюкзак на плече.— Ну, ладно, давай здесь поцелуемся, что ли, а то там некогда будет.

Вера обхватила брата за шею и стала торопливо целовать его в щеки и в губы.

— Ну, хватит.— Он смущенно улыбнулся.— Что ты, на самом деле. Не навсегда ведь ухожу.

— Все равно жалко.

Сашка легонько отстранил сестру и погладил ее по голове, чего она обычно не любила, но сейчас приняла молчаливо и покорно, словно и впрямь поняла, что перед нею старший брат.

— Ты гляди тут, Верка, будь молодцом. Матери помогай, отца слушайся.

— Не маленькая,— сквозь слезы пропищала она.

— Если кто обидит или еще чего там... приставать будет, то дай знать, я тогда ему письмишко напишу ласковое, свидание назначу на Кабацкой горке.

— А ты служи там хорошо. Фотографию сразу пришли, в форме. Ну, иди.— И она вздохнула прерывисто, со всхлипами, как ребенок после горьких слез.

Под Матерью стали уже потихоньку собираться. Рюкзаки были свалены в кучу под березой. Призывники и провожающие стояли и сидели вокруг столов, теперь уже пустых и лишних здесь. Братья Васешенковы, расстелив телогрейки, сидели прямо под Матерью рядом с рюкзаками, они привалились широкими спинами к шершавой коре дерева и, похоже, спали. Кондрат Матвеевич Кружаленков поскрипел вокруг них своей деревяшкой, остановился и усмехнулся, разглядывая умиротворенные лица ребят:

— Умаялись, гренадеры. Ну, поспите, поспите. То-то на родине и спится сладко.

Серега, Лёсик и Таня стояли возле прясел и разговаривали. Парни нетерпеливо поглядывали на дорогу, откуда вот-вот должна была появиться машина.

— Вы, ребята, вместе проситесь,— говорила Таня, вздыхая и глядя на них то грустным, то ободряющим взглядом.

— Как получится,— отвечали они.

Неподалеку от них стояли Прохоренковы. Анна плакала, а муж и сын негромко и по-мужски терпеливо уговаривали ее успокоиться. Михаил гладил материны плечи и виновато оглядывался на своих товарищей.

— Не плачь, ма. Все будет нормально. Сейчас же не война. Хватит тебе. Ведь смотрят все. Ма, ну не надо. Слышишь, ма, не надо...

Сашка сидел за крайним столом рядом с другими призывниками. А за их спинами, взявшись под руки и что-то напевая, стояли девчата. Среди них были Галина и Вера.

Подошли и Горюновы. Впереди, будто меряя батогом стежку, шла бабка Ганьча. Лицо ее было сердитым. Следом за ней Коля, Анастасия и Стрелков.

— Ио-иё, бабы! Гляньте-ка, милые! — понеслось над столами, где собрались в основном бабы и старухи.

— А-а, сына, стало быть, провожают.

— Что ж, что ж...

— Какой же тут, бабы, грех? Это не грех. Анастасия ведь не какая-нибудь... Чего зря наговаривать.

— А никто и не наговаривает.

— Никогда так, рядышком чтоб, не хаживали.

— Знать, помирились.

— Да, видать, помирились. А то ить он, Колька, Дениса не признавал ни в какую.

— Ганьча-то больно сердита.

— Помирились.

— Ну и слава тебе, господи!

Как только Стрелков и Горюновы с бабкой Ганьчей во главе подошли совсем близко, возле столов сразу примолкли.

— Здравствуйтя вам! — громко сказала бабка Ганьча и поклонилась. Затем она села на крайнюю лавку и неторопливо оглядела собравшихся.— Эй, Романёнок! — окликнула она Сашку, шевельнув батогом.— А где же ваша машина?

— Сейчас, бабуль, приедет,— ответил тот.

— Глядите, черти баловные, на службу не опоздайте.

Ребята засмеялись. И в это время где-то за Усадьбой грохнула бортами машина, видать, проглядел шофер ухабину, торопился.

— Едет! — пронеслось под Матерью.

— Машина едет!

— Едет!

— Скорейши, ребяты!

— Да не суетитесь вы, бабы!

— На поезд бы не опоздали...

— Не опоздают.

На площади сразу все задвигалось, засновало, замелькало. Где-то что-то загремело, наверное, опрокинули пустую флягу из-под воды, там заплакали навзрыд, а тут хором, будто их взорвало, захохотали.

— О-от базар колхозный! — озабоченно покачал головой Стрелков.— А ну-ка, ребята, давайте на машину. Пора.

Странное дело: машину все ждали с беспокойством, нетерпеливо поглядывали на часы, поругивали шофера и его, председателя, за то, что не распорядился пригнать машину в Арпыли с вечера, но когда она, наконец, пришла, садиться не торопились. Денис Иванович снова подал команду, однако и на этот раз его никто не послушал. Только кое-кто из матерей озабоченно и рассеянно посмотрел в его сторону, и в их глазах он прочел: не до тебя сейчас, дорогой наш председатель, не до тебя.

— Так ведь опоздаем! — крикнул он, но его крик потонул в других криках, плаче и смехе.

Возле машины образовалась густая толпа, там заиграла гармонь.

— Ну,— вслух подумал Стрелков,— сейчас еще и запляшут.— И закричал: — Рюкзаки грузите!

Рюкзаки полетели через борт, но сами призывники все еще стояли рядом с матерями, отцами, братьями и сестрами. Стрелков посмотрел на часы: нужно было уже выезжать, потому что до отправления поезда оставалось полтора часа, из которых час, а то и с минутами, сожрет дорога.

— Валерий! Евдокушин! — окликнул он Валерку, проходившего мимо.— Давай, товарищ сержант, выручай — скомандуй. Отправлять, понимаешь надо, а они от матерей, видишь, что творится, оторваться не могут.

— О-отделение! — выбежав на свободное от народа место, крикнул десантник.— Слушай мою команду! В одну шеренгу стройся-а!

Под Матерью сразу стало тише, гармонь пиликнула раза два и тоже замолкла. Призывники стали выбираться из толпы и, на ходу застегивая телогрейки и куртки, засуетились возле десантника. Через минуту с небольшим они образовали нечто наподобие шеренги и замерли.

— Равняйсь. Сми-ирна!

— Стоп, товарищ сержант! — выкрикнули из строя.— Братанов нет.

— Где Васешенковы? — заволновались в толпе.— Драчуны где?

— Да вон они, ангелы! Спят под Матерью! — засмеялись на другом конце.

— Так, слушай мою команду,— быстро и четко говорил Евдокушин-старший, поблескивая медалью на груди и возбужденными глазами.— Напра-ву! Взять Васешенковых, погрузить на машину, а затем быстро, без суеты, занять свои места. Бегом, арш!

Братьев Васешенковых так и не смогли разбудить; возле них стояла мать и, сцепив на груди серые пальцы больших натруженных рук и немного склонив набок голову, смотрела на своих сыновей заплаканными глазами.

— Ребяты,—сказала она твердым, спокойным голосом, когда Серега и Лёсик начали тормошить Гришу, а Колька и Сашка принялись за другого брата.— Не будите вы их, не надо. Все одно не добудитесь. Грузите так.

Быстро открыли задний борт, втолкнули братьев на влажную солому, подтащили поближе к кабине и сунули под головы рюкзаки.

— Эх! — крикнул Черёхля, в руках у которого в эту минуту оказалась гармонь; он ловко играл «барыню», успевая при этом подталкивать локтями девчат и подмаргивать призывникам.— Таких орлов провожаем! Девки! Эх, девки! Горе вам горькое! Кто ж вам теперича юбки-то задирать будет!

Ни на машине, ни внизу уже не обращали внимания на болтовню Черёхли, который, похоже, еще не проспался с ночи, а потому, приняв это молчание за одобрение, он дал своему языку полную волю.

Колька перегнулся через борт и крепко поцеловал мать, подавшуюся к нему всем телом.

— До свидания, мама,— сказал он.

— Гляди там, Николай, не чепуши.— Бабка Ганьча сердито посмотрела на него, и Колька увидел, как сбегают по бороздам ее частых морщин слезы.

— До свидания, ба.

— Служи, Николай. Время быстро пройдет, а там домой вертайся. Ежели помру тут без тебя, матерь тебе напишет, так отпросись у командира на похороны. Хорошо будешь служить — отпустят. Ну, господь с тобой.— И она, прячась, перекрестила внука.

— До свидания, отец.— Коля подал Стрелкову руку, но Денис Иванович потянул сына к себе, обнял за плечи и три раза крепко поцеловал в губы.

— Служи, сынок, честно. Сейчас это для тебя главное в жизни.

— Заводи! Поезжай! — крикнул Стрелков шоферу, и через минуту машина дернула с места и стала разворачиваться, тесня толпу и объезжая сдвинутые в суматохе столы и опрокинутые фляги.

— Возвращайтесь! — дружно закричали девчата и звонко захохотали, так что смех их слышали, должно быть, даже в Рогачевке.

— Ждите через два года! — ответили им с машины и тоже захохотали.

И в это время новая ватага пацанов выскочила из ближнего проулка, пронеслась мимо выруливающей на дорогу машины и, крича: «Арюшечка умерла! Арюшечка умерла!» — вылетела на площадь. Под Матерью все сразу замерло. Машина тоже остановилась, дернулась, так что на ней все попадали на дно кузова, и заглохла.

— Поезжай! Поезжай! — Стрелков выбежал на дорогу и замахал шоферу руками.— К поезду опоздаешь! Поезжай!

Когда грохот разболтанного кузова и гул мотора пропал за Кабацкой горой, из-за лип и вязов Усадьбы показалось ослепительно яркое солнце. Розовый свет его отразился в глазах девчат, лег на бледные, с землистым оттенком руки старух, посеребрил кепки мужиков, заиграл весело и молодо на ясных планках молчавшей в руках растерявшегося Черёхли гармони.

Восход солнца наблюдали и ехавшие по большаку призывники. Солнце вышло из-за громады Усадьбы как-то неожиданно, сразу и вольно, по-хозяйски неторопливо поплыло над полями, над деревней, все еще видневшейся позади, над окрестностями, так что ребята смотрели на него какое-то время молча, пораженные его величием, силой и тем смыслом, который открывался каждому из них в этом восхождении.

Серега и Лёсик сидели рядом, привалившись спинами к борту. Кузов подбрасывало на ухабах, шофер спешил, боясь опоздать к поезду, и тогда Серега видел край поля и березовый перелесок за ним. Это поле, подумал он, видно из окон Арюшечкиной хаты, и березы тоже видны. Потом пошел лес, а когда машина выскочила из сосняка, ни поля, ни перелеска, ни деревни уже не было видно за серой горбиной большака, кое-где обметанного молодой зеленой травой, еще не успевшей набрать силу. Серега привстал на коленях и, глядя на большак, на умытое голубое небо над ним, подумал: «Ну вот, родина, ты уже и за холмом. Он вспомнил, как в школе учил наизусть отрывок из «Слова о полку Игореве», как шептал эту фразу потом, готовясь к вступительным экзаменам. А теперь привелось взглянуть на свой холм и самому.

Машина возвратилась из райцентра перед обедом. Шофер вначале завернул на тракторный стан, сгрузил там возле склада какие-то железки, два ящика, бухту провода, потом подрулил к правлению и окликнул стоявшего на крыльце Стрелкова.

— Ну что, посадил ребят на поезд?

— Посадил, Денис Иванович. Тут вот они передать просили...— Шофер вылез из кабины, вытер ветошью руки и полез в боковой карман старенького вельветового пиджака, шитого, как видно, в районном комбинате бытового обслуживания.— Вот, ага. Тут все двести девяносто семь рублей. Пересчитайте.

— Постой, не пойму, что это за деньги? Зачем ты мне их даешь? Чьи это деньги?

— Там еще и записка. Прочитайте, Денис Иванович, все сразу и поймете. Я тоже вначале думал, что ребята малость свихнулись за эту ночь, а потом... подумал...

Стрелков развернул вчетверо сложенный лист тонкой белой почтовой бумаги. Глаза побежали по строчкам: «ТОВАРИЩ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. ЗДЕСЬ ВСЕ, ЧТО СОБРАЛИ ДЛЯ НАС ЗА СТОЛАМИ НА ДОРОГУ. НАМ НИЧЕГО НЕ НАДО. СПАСИБО ЗА ПРОВОДЫ И ДОБРЫЕ НАПУТСТВИЯ. А НА ЭТИ ДЕНЬГИ ПОХОРОНИТЕ БАБКУ АРЮШЕЧКУ, С ОРКЕСТРОМ. ПРИВЕЗИТЕ БЕЛЫЙ КАМЕНЬ С КАБАЦКОЙ ГОРЫ, ЕСТЬ ТАМ ТАКОЙ, КАМЕНЬ НЕПОДАЛЕКУ ОТ СОСНЫ, ГДЕ КАРАТЕЛИ РАССТРЕЛЯЛИ КОММУНИСТОВ, И ВЫРУБИТЕ НА НЕМ СЛОВА:

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ СОЛДАТСКАЯ МАТЬ
АРИНА КАРПОВНА ЖУРАВЛЕВА».

— Больше ничего не передавали? — зачем-то спросил Стрелков, держа в руках трепещущий на ветру листок и пачку стареньких, затертых по кошелькам и мужицким заначкам пятерок, трояков и рублей, и не знал, что с ними делать.

— Нет. Только вот записку и деньги. Двести девяносто семь рублей.

— Сыночки вы мои милые,— прошептал председатель, но тут же спохватился.— Так-так. Что ж они, думали, что у нас не найдется денег старейшую нашу колхозницу похоронить? Так-так... А белый камень там есть. Есть там белый камень. Я еще пацаном был... Проводил, значит, ребят наших.

— Проводил,— ответил шофер.— Братаны-то за деревней проснулись и песню врезали: «Бежал бродяга с Сахалина». Их вначале остановить хотели, но пели они больно хорошо, так хорошо, Денис Иванович, что ажно дрожь по спине. А как допели, ребята возьми и скажи им про старуху эту. Ну, они там, на кузове, драку затеяли, хотели машину назад повернуть. Что она им — родственница какая?

— Да нет, не родственница.

— А что ж они тогда ошалели? Пришлось связывать, машину останавливали. Так и везли до станции. А потом они уже пошли как шелковые. Прошло, видать. Ну, я поеду, Денис Иванович?

— Поезжай.

Стрелков еще с минуту стоял на дороге, потом завернул деньги в ребячье письмо, сунул сверток в карман и пошел к большаку. Выйдя на большак, он пошел быстрее. В середине пути Стрелков почувствовал запах дыма, ветер дул прямо в лицо, видно, в Арпылях, в Усадьбе, жгли прошлогоднюю листву. Запах дыма был горьким, как молодая полынь, и от этой родной горечи в груди у Дениса Ивановича легонько защемило. Над землей, над пашнями и яровыми, как дети, кричали жаворонки и чибисы. Он запрокинул голову и, предчувствуя слезы, внимательно прислушивался к этому восторженному крику.

г. Таруса

Татьяна
НАБАТНИКОВА

РАССКАЗЫ

Позвонил

Полез в шкаф за студенческим конспектом (иногда пригождались), и попались среди постаревших общих тетрадей твердые корочки от альбома, а внутри — реликвии молодости: фотографии, читательский билет и затертые конверты тех времен с тогдашними картинками — шестидесятые годы, еще радовались «стеклу и бетону»,— на одной горделиво изображен новый тогда аэропорт Новосибирска, тут же и устаревший по неудобству и тесноте, помнил он тот аэропорт: летал к ней, летал-трепетал, что-то они тогда решали, да так и недорешили, бросили, она

Татьяна Набатникова родилась в 1948 году на Алтае. Окончила Новосибирский электротехнический институт и Литературный институт имени Горького. Работала инженером, редактором книжного издательства. Автор двух книг прозы. Член Союза писателей.

Дебют в „Юности"

ведь уехала в Новосибирск курса с третьего, кажется (Надо же, забыл! Уже, все позабыл, а думал: ну, эти воспоминания — пожизненный капитал; а вот хватился — капитал-то полураспался, как жемчуг, который не носят... ха, период полураспада любви...),— и сел с этими письмами в руках, стал напрягаться, вспоминать, когда что было, что вперед чего... Э-э, почаще надо вспоминать, колеса-то все заржавели!

Все дела прочь отставил, испугался вдруг, что источник его памяти пересох, ох, ведь это означает старость. Старость — это когда ты изжил до дна последнюю память и живешь только настоящим. Где-то написано: молодость имеет впереди жизнь, а старость — смерть, вот разница между ними. Да, так. Прошлое все извелось, истратилось, а будущее впереди тоже кончилось, впритык подошел — и одно только убогое настоящее при тебе.

Перетрухал, сидит, делом занят: воскрешает. Старости испугался, еще бы — «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Ирка зашла: «Ты чего?» — сидит на диване, всклокоченный, вокруг конверты и письма...

Стыдно стало: действительно, занимаюсь ерундой. Она наоборот: нет, это не ерунда!

Называется, жена с понятием — выкралась, вышла, занимайся своей святой ерундой.

Ох, какой был дурак! Вот она пишет: «На танцы я тут не хожу—в отличие от некоторых. Но рада, что тебе не скучно. И что тебя окружают друзья». Это, видимо, он, идиот, расписывал ей, как роскошно они проводят каникулы своей оголтелой компанией — именно оголтелой, их каникулы были, как тризна по юности: все были как бы в истерии дружбы накануне окончательного расставания — предчувствие конца пронимало всё насквозь, словно предзимье, каждый день праздновали как последний общий — разлетимся, не будет больше «мы». И уж они там давали дрозда! И он, кретин безмозглый, описывал ей, видимо, взахлеб их подвиги. Танцы, сопутствующее (ему казалось, искусно им умалчиваемое)... Но фиг, теперь-то он знает: женщина — она насквозь видит

все, что ты там искусно умолчал, она кишками чует урон, понесенный ею во тьме твоего сердца. А отказаться было невозможно, это же, говорят вам, похмелье юности, юность уже ушла, ее нет, уже взрослость, но они впопыхах, оборачиваясь, хватали горстями это минувшее, глотали, спешили доизрасходовать, чтоб не досталось врагу,— так, отступая, сжигают...

А она пишет: «А у меня такое прекрасное, такое одинокое лето. Бабуля будит меня в пять часов утра, я иду доить корову и выгоняю в стадо — какие утра, боже мой! Потом досыпаю и весь день одна, со мной только единственная книжечка стихов Геннадия Могилевцева — дурман, отрава, пьянею, а сказать некому, иду как-то из кино с подружкой — ночь, звезды, тишь, восторг,— и я ей Могилевцева рискнула: «Вас мучают предчувствия порой? Суровые углы, уступ крылечка, как запятая. Диковатый сквер топорщится угрюмостью решеток. Но где же этот полудремный край?.. Затоны солнца на ветвях колеблет далекий ветер. Девочка возникнет, как струйка зноя трепыхнется в небо, привстав на цыпочки для поцелуя, и растворится в светлых облаках, и я за ней умчусь. А в это утро...» А она мне: ха-ха-ха! Ну и я молчу уже одна себе...»

И ему тогда, честно признаться, тоже показалось: ха-ха-ха!

Он ее недопонял, да. Она его утомляла. Инстинктивно боялся ее,— знал, что не сможет соответствовать. С нею было тяжело, правда. Наверное, он не стоил ее.

Ведь как было, сейчас подумать — мистика! Она слышала его мысли. Ну, не всегда, но на пике, на вершине любви, когда скопились, как на обкладках конденсатора, предельные заряды — вот-вот прошьет. Она тогда становилась сверхпроводимой.

Политех их родимый стоял на краю, у самого леса. И лес в начале своем был оборудован в парк. Были теннисные корты, и они ходили играть, политехники. Вечно отирались на корте. И она играла, он ее там и увидел, она с другого фака была и курсом старше (да, еще и это: курсом старше, в то время это по-дурацки много значило...). Она играла всегда с улыбкой, так и светилась. Раз, другой, третий он ее видит, потом чувствует: ему скучно, если ее нет на корте. Потом как-то однажды оказались в одном сете, мяч улетел, его побежали искать в траве за оградой, невольная пауза, а они оба под сеткой — с разных сторон, и не знают друг друга, то есть, конечно, знают, только друг друга и знают, а больше и знать тут никого не хотят, но НЕЗНАКОМЫ. И вот стоят они под сеткой, и обернулись друг к другу, и глядят, и он тогда набирается духу и говорит нахально: «А ты красивая!» И она вдруг — жарко, страстно, пламенно возражает (шепотом!): «Нет, это ты красивый!» И тут уже мяч нашли, опять игра, и он играл уже без себя, то есть что-то от него оставалось на площадке, играло, било ракеткой по мячу, не зная промаха, но он-то сам как воспарил, так и витал где-то в идиотическом восторге и был от этого весь бесчувственный, как под наркозом. А она ушла,— ее пара проиграла, и они должны были уступить площадку,— он остался, потом искал ее весь день, но нигде не встретил, а знал: должна сегодня же встретиться непременно, обязательно! Понятия даже не имел, в каком она общежитии, фамилии не знал, но к полуночи, вконец изнемогая, но со все еще возрастающим волнением он пришел в парк, на корт, сел на скамейку и ждет, как сумасшедший, и смотрит, главное дело, на часы поминутно — и вот стрелка к полуночи, трепет его доходит уже до бешенства какого-то, сердце колотится, вот без двух полночь, и он слышит шаги, поспешные, крылатые какие-то, гулкие шаги, роковые, по асфальтовой дорожке к корту, он еще не видит, но уже точно знает, кто это идет, каждый шаг впечатывается в его сердце, как молотком в дерево — вмятинами, и вот, вот она возникла, вот он увидел ее, и она его увидела; но она остановилась нерешительно, и он встал со скамьи, и оробели, бедные,— они приняли свою встречу за случайность, глупцы, тысячелетия материализма, они не осмелились поверить этому чуду неизбежности, он встал навстречу, и хоть знал, знал, знал, что она придет на зов, что это он ВЫЗВАЛ ее, но ведь никаких реальных оснований к ее появлению не было, и он по-дурацки произнес непричастным (хоть и дрожащим) голосом: «Гуляешь?» И она: «И ты?» И чинно пошли рядком по аллейке, и никак не могли ПОСМЕТЬ, никто не набирался смелости поверить в очевидное и ПОСМЕТЬ, и он когда сказал ей спустя час: «Посмотри на звезды!» (чтобы она подняла голову и он смог бы нечаянно поцеловать ее), то ужасно до последнего мига боялся, что она пощечину влепит или что-то в этом роде из традиционного. Но она наоборот, и он тогда сразу совершенно сорвался, отпустил себя — как с вышки в невесомость, и она тоже, а были уже не в парке, а в лесу, комары их ели, и как водоворотом (кто попадал в водоворот, знает: соображение отключается), в общем, тогда же и... Какой-то поэт тогдашней морали поучал: «Пусть любовь начнется — но не с тела, а с души, вы слышите, с души!» Козел, какое любви дело до поэтовых предпочтений, она введенный им порядок презирает, она начинается с чего ей угодно, но он-то, Валерка, он верил поэту прежде, чем любви, он жил в мире, наполненном под завязку трухой этаких стихов; он, конечно, оказывал им внутреннее противодействие, но ведь и силу действия на себе испытывал безостановочно...

О-о-ох!.. Мерзавец такой.

Опять же она была курсом старше. Годом то есть старше. Трудная приступочка для преодоления. Уступчик такой, спотычка. В общем, где-то внутри была как бы оговорка, что у них эта любовь — безусловно, да, совершенно очевидная любовь — не та отнюдь заключительная, которая завершает эру юности добропорядочным браком; а всего лишь одна из нескольких в ряду предпоследних институтских любовей — они приходят, уходят, приходят, уходят, сменяются... Короче, не окончательная любовь.

Он не знал, был ли он у нее первый. Она у него — да, первая, весь в чаду, в тумане, ничего не помнит, никаких ощущений — ну, наркоз — не знает, не ведает. Но кем бы он был, каким презренным гадом, если бы он у нее об этом когда-нибудь спросил напрямую. И посейчас не знает. Но считал, что скорее всего нет, не первый, потому что «первое» как-то дороже должно стоить — всякие там страхи, условия, тысяча препятствий, а тут он взял это даром, за так, сразу. Не заплатив ни часом усилий, понимаете? А это нельзя, чтоб дорогое доставалось даром! Это неправильно! Человек ХОЧЕТ платить за дорогое дорого.

Сейчас-то он понимает, что она могла и даром, просто от щедрот своих, она такая.

Но неправильно это, нет, неправильно!

И так сразу и остался холодящий этот металлический привкус недоверия, сомнения этого...

Но хорошее было лето, роскошное лето было, сессия, голова кругом, парк, теннис, ночи, комары опять, лес, юная она...

Потом разъехались неизбежно на каникулы, и их разделил месяц времени. Месяц в юности — это тридцать новых жизней. Между июлем и сентябрем уместилось тридцать других юностей, которые он прожил без нее, и когда они встретились, в сентябре — это была уже тридцать первая юность после давно минувшей, оставленной где-то в июле. Другие люди встретились, другой суп варился с другими приправами. И не было, не оказалось убедительной силы противодействия внутри, когда поманило, понесло, повлекло в другие стороны. Неосторожные были телячьи скачки вбок — юность бодливая, жадность испробовать все варианты, еще не могли предвидеть, какие потери таятся в кажущихся приобретениях; и были тоскливые возвращения друг к другу, осенние, со слезами — не прощения, нет — потери. Опять соединялись, но не праздновать любовь, а справлять по ней общие поминки.

Она уехала в Новосибирск, и он к ней слетал: зима была, она шла впереди, медленно ступая, отпечатывая на снегу следы своих мягких оленьих унт. Они и любили еще, но у каждого на уме и на языке уже

был кто-то другой, полуприсутствующий в расчетах. Полугорько полупростились они тут.

Он женился первый. Трудно женился: не хотел, да пришлось, как это бывает; написал в Новосибирск отчаянное письмо — как товарищу вроде. Она ему, отбросив всякую гордость, кричала по телефону с почты: «Это нельзя делать, окстись, это нельзя, пусть ребенок, будь отцом, но женятся ведь не на ребенке, это ведь на всю жизнь, одумайся, пожалеем мы с тобой, прогадаем и будем всю жизнь жалеть, а...» Так кричала ему, а он только мотал тупо башкой: нет, нет, нет, не могу, нет, нет.

И что? Промучился пять лет, все равно разошлись, и сын не спас.

Таким образом, у него за плечами среднестатистическая жизнь среднестатистического интеллигента: политех, один развод, второй брак, по одному ребенку от каждого, старший инженер, кандидатский минимум и прожиточный, двухкомнатная квартира, смешавшая запахи троих обитателей в один, и этот суммарный общий запах есть счастье, и все как у людей, и задумываться недосуг и нет нужды.

И вот вдруг — эти старые письма.

Ирка чувствует: что-то в нем творится, реакция воспоминания идет — и не досаждает ему, не лезет с бытом. Нормальная жена.

Но как подумаешь — какую любовь промотали, а? Если то было все правда, что он помнит,— какая была любовь! Имеем — не ценим, потеряем — плачем.

Ему вдруг захотелось узнать, где она, как, что с ней. Ну как в эксперименте необходимо несколько точек, чтобы вычертить кривую процесса, так ему понадобилась теперешняя, по прошествии восемнадцати лет точка, по которой он мог бы вычертить кривую своего представления о ней, о Ларисе. Чтобы понять, что же то было. И кто же была она — чудо ли чудное, нечаянный ли вывих из жизни обыденной?

Ушло дня два, пока он нащупал в потемках минувшего времени давних знакомых, которые вывели на след. И вот — пятизначный номер ее телефона в среднероссийском городишке.

Ирке он, волнуясь, объяснил: «Понимаешь, я тогда не понимал, а ведь она сделала меня человеком. Она мне как бы показала такие варианты жизнеотношения, которые, если бы я их не увидел воочию, были бы невозможны для меня. И я не умел бы СВОБОДЕ, понимаешь? Как «грамоте уметь» по-старинному. Только тогда я не понимал еще, какой она мне урок наглядно, собой, преподает. Я ее даже воспринимал иногда как неосмотрительную дуру. А она была — ну, высший пилотаж нравственности. Внутренней, понимаешь?»

Ирка все с готовностью понимает. Она волнуется за него. Но предостерегает: «Все-таки лучше не звонить. Ты наделаешь там переполоху. Если она такая, как ты рассказываешь, она ведь все там бросит и приедет на тебе жениться».

— Нет, ну что ты, я же просто позвоню узнать: как она, что с ней стало, да просто одного голоса будет достаточно. Мне нужно понять, ЧТО БЫЛО ТОГДА, скоро умирать, а я так и не понял, что же со мной было.

Ирка поняла. Говорит:

— Да, это верно, голос. Мне на работе говорят: тебе звонил какой-то мужчина. Я спрашиваю: красивый? Удивляются: не видно было. А я тоже удивляюсь: но разве не слышно? У красивого в голосе уверенность, особые нотки, полная, в общем, информация.

— Вот именно. Надеюсь, она не скажет какой-нибудь пошлости вроде «да-а, время идет...». Или, может, как раз и скажет. Короче, все станет ясно.

И вот с молчаливого хоть и неодобрения Ирки (все же баба: тайно ревнует), но согласия он звонит, и трубку берет МУЖ. Она, конечно, в магазине, только что вышла, вы чуть-чуть ее не захватили.

И в его голосе тоже есть ВСЯ их взаимная жизнь. Уже в том одном, что он не спрашивает подозрительно: «А кто это говорит?» — многое. В этой его готовности помочь, в этом его сожалении, что неизвестный мужчина, звонящий из другого города, не застал его жену дома.

Становится в общем-то все ясно. И даже лучше, что разговаривает не с ней, а с мужем: картина объективнее.

А я ее товарищ институтский, восемнадцать лет никаких известий, вот случайно узнал номер, звоню привет передать, как там она, расскажите.

Охотно рассказывает. Семья, квартира, все здоровы, благополучны, нет, разводов не было, я у нее первый и последний.

(Кольнуло: ой ли? Я первый!)

Она скромно инженерит, трое детей.

Что?!

Да, да, трое детей, а что? Шестнадцать, четырнадцать и четыре года.

Ого!.. А вы, лично вы — кто вы, чем занимаетесь, извините?

Офицер Советской Армии, подполковник, военком.

А-а-а... Ну, естественно, квартира, машина, дача, да?.. Да,— подтверждает спокойно, добродушно, не ставя никаких ударений. Ну, дача, машина, а что? И: что передать? Ничего. Привет. Что звонил, дескать, такой-то, кланяться велел, и если окажетесь в наших местах, будем, дескать, рады оба с женой, вот адрес, вот телефон.

Там ровным голосом — дочери: «Юля, дай что-нибудь записать». И тщательно занес вместе с приветом весь твой адрес со всем твоим телефоном.

Конечно же, в Иркино отсутствие. Ну, для свободы в интонации. Но с нетерпеливым последующим ожиданием: да когда же наконец она придет? — взъерошенный, осваиваешь эту точку, добытую экспериментом, и ждешь Ирку — обсудить с ней, что же это за точка.

— Средняя добропорядочная жизнь,— сказала Ирка, наконец придя и выслушав.— Самое выдающееся — трое детей. За неимением лучшего и это сойдет. Хотя,— замедляется Ирка, желая выдать свое злорадство за разочарование,— из того, что ты прежде рассказывал, можно было ожидать более интересной судьбы. Пусть несчастной, но живописной, что ли, понимаешь меня?

Он понимал. Понимал он, что Ирке выгодно принизить и по возможности вовсе уничтожить эту Ларису, понимал он и ту мысль, которую она проводила «официально», вслух. Дескать, больно уж прозаично, до скуки. То ли дело, если б застали Ларису на какой-нибудь «живописной» точке — ну, скажем, в тюрьме... Что за странная фантазия? Ну, я не знаю, что-нибудь такое необыкновенное, роковое, колоритное... Выдающееся. Ну, например, министр путей сообщения... Или открытие техническое, изобретение, которое никто не признает, уволили ее с работы, объявили сумасшедшей или что-то в этом роде. Или в самом деле в сумасшедшем доме... А то какое-то позорное ПРИМУЖНЕЕ благополучие. Все так тихо, аккуратно, благопристойно... Нет-нет, ничего, конечно, плохого, самая достойная для обычной женщины судьба. Для обычной средней женщины... А для выдающейся, за какую ты ее выдавал,— нет...

И охает (Ирка), вздыхает разочарованно. Конечно, если бы Лариса оказалась в сумасшедшем доме. Или алкоголичка... Вот тогда был бы предмет для трагедии. Было бы интересно. Главное, взыграло бы чувство вины, долга, кинулся бы спасать, жениться, я не знаю...

Или бы: муж пьяница, дети голодные, и она лопатой землю роет, надрывается, чтобы прокормить детей и пропоить мужа...

Так нет же, муж образцово-показательный...

И так они посетовали, а через неделю — ее звонок...

Их не было дома, дочка передала: звонила такая-то из такого-то города.

Интересно! Неделю собиралась и наконец надумала. Позвонит ли еще? ДОЛЖНА...

Через час действительно — звонок, нетерпеливый, частый: междугородный; Ирка всплескивает руками, вскрикивает: «Ну же, она!..»; он хватает трубку, она оттуда — неузнаваемым голосом, корректно:...

...У нее там все было так: пришла — Сережа сообщает:

— Тебе звонил твой этот, как его...

— Ну?

— Твой, из юности твоей...

— Ты непрофессионален, имена забываешь!

— Старый становлюсь, подскажи сама.

— ...Н-нет! — Хотела ведь, на языке вертелся, но побоялась: назовет, а окажется не он. Она и в мыслях боялась осрамиться перед ним: хотеть, чтоб ОН, а окажется: нет, и опять, получилось бы, она ценит его слишком дорого (в единицах памяти), а он ее нисколько...— Нет, не знаю кто, вспоминай сам.

— Валера.

Ах!.. Сказано. Произнесено. Замерла.

Прошла на кухню, выкладывала продукты, громко, с веселым любопытством — копеечным (ровно столько веселого любопытства она дает за новость типа «такая-то увольняется» — «да?!») — крикнула:

— Ну, и чего он хотел?

— Так, привет тебе передать. Хотел узнать, как ты живешь. Ну, я подробно известил.

— Что же его интересовало?

— Даже имена детей.

— О! — насмешливо. Гремя в это время посудой, хлопая как можно невозмутимее дверцей холодильника. Умирая, замирая, не смея спросить, позвонит ли еще.— ...Он еще позвонит?

— Я так понял, что нет. Велел передать привет и что все у него хорошо.

Раз велел передать, значит — что? — не позвонит?

А зачем вообще звонил? Если все у него хорошо, зачем звонил, а? Врет!

«Юля, нарежь хлеб!»

«Женя, вынеси мусор».

«Алик, не приставай ко мне, я устала».

«Сережа, почитал бы ты ему, а?»

Страшной клятвой когда-то поклялась... Несколько страшных клятв дала она за свою жизнь, и самая страшная была эта. Она даже в слова не облекалась, эта клятва, одно только сощуренное до танковой щели чувство, нет, не ненависть, а хладнокровие, то хладнокровие, с каким наводят перекрестье оптического прицела на грудь врага и держат, держат, не спуская, повторяя синусоиду вражьего шага, и клятва та была: нажать курок.

...Тот вечер в больнице, в старом роддоме одноэтажном, даже, кажется, бревенчатом еще — туда по утрам брали человек восемь — десять бабочек опрастывать их от нежеланного бремени и на третий день выпускали, но могли и на следующее же утро выпустить: человечная была больничка, пятерку брали за операцию. Работающим бабонькам бесплатно, а с неработающих уж пятерку. Она неработающая была, Лариса, студентка. Человечная была больничка, и докторша тоже: понимала, молодая потому что была. «Посмотрите,— корила одну,— вот совсем еще девушка, а как держится, а вы боитесь!» Так что имела Лариса и прибыток: утешительное чувство героизма. Потом настал вечер, пришли к окну, открытому в лето, мужья, принесли передачи, ох, есть хотелось, улыбались своим женушкам, разговоры тихие домашние вели, а про Ларису ни одна душа в целом свете не знала, что она тут и ЧТО она вынесла, ни одна душа не догадается прийти покормить ее, какая тоска. На всю жизнь остался жалобный запах больничных тумбочек — из них пахло, как от горемычных старух. (И после, когда лежала в родильных домах победительницей, счастливой матерью — из тумбочек все равно пахло так же, тем же — истлевающей жизнью). А вспомнить, какие змеюки были в женской консультации, какую радость себе извлекали, унижая, это их язвительное, подозрительное: «Замужем?» Взяла у однокурсницы кольцо обручальное — тоже был труд измышлять: зачем кольцо-то? Измыслила: для одного, мол, розыгрыша... А в первое посещение консультации забинтовала обручальный палец, чтобы скрыть отсутствие кольца... Сколько позору, ох, сколько позору, и все это в одиночку, никто, НИКТО не должен был знать. Девчонкам в комнате: поехала к знакомым (какие знакомые, боже мой, сессия идет! в палате лежала после того — конспект читала...).

И тяжела, знать, оказалась та рана первого унижения во врачебном кабинете, если никак не утихала и все требовала возмещения, и потом все три раза (Юля, Женя, Алик...), приходя встать на учет, помнила то унижение и все как бы отыгрывалась за него — и никак не могла отыграться. Осмотр, анализы и вот, наконец, запись в карточку, и этот напрягшийся холодный вопрос: «Желаете сохранить или как?» — и торжественный миг утоления: «Сохранить!» — сразу так и хлынет к тебе докторшина улыбка, как рубильник включили — и пошло все греться, светиться и звучать, и миг преисполняется счастливого смысла: отныне вы с ней надолго родные, полгода ей хлопотать над тобой, обмеривать, взвешивать, выслушивать и выстукивать, любить тебя будет — ты наделяешь ее труд великим значением. А ту, жестокую, истребительную часть своей работы она не любит и презирает наслаждения, не оплаченные материнством.

...Конспект читала, послеоперационная боль — избавили, освободили, какое счастье!

Наутро ушла, и днем уже в том лесу на полянке зубрили каждый свое, загорая. Как ни в чем не бывало. И он — ни сном ни духом, ГДЕ она была весь вчерашний день, ЧТО с нею было, и в том она чувствовала свое над ним великое превосходство. Твоего сына из меня выдрали, мальчик ты мой, а ты и не догадываешься про то, тебе еще и в голову не приходила мысль, что ты можешь быть родоначальником, ты знаешь себя только СЫНОМ. К роли отца ты себя еще ни разу не примерил, а если бы и примерил — увидел бы, что тебе еще не по росту, не по размеру, ни по какой мерке. А тем более если насильно, как смирительную рубашку напялить на тебя,— ничего, кроме ужаса и обреченности, ты не испытал бы, и кем была бы я, если б согласилась принять от тебя этот испуг взамен радости, эти вынужденные узы — взамен уз нуждаемости! Нуждаемость и вынужденность—разница есть? Разница, которую моя гордость не потерпела бы.

Но на его счет все это записалось — и подружкино кольцо, и забинтованный обручальный палец, и тот летний вечер невыносимый в палате, и запах из недр тумбочки, и эта поляна загоральная следующего дня, и предстояло ему все эти счета оплатить некоей чистой монетой, живым своим унижением. Алчные, мстительные ее мечты — откуда?

От зависти. От страшного неравенства мужчины и женщины. Достаточно было увидеть его хотя бы в игре. Забыв себя, он вожделел к мячу и знать не хотел, как хорош. А хорош был — хватило бы встать среди площадки и красоваться — любуйтесь! — законченное произведение природы. Но он ни во что не ставил свою красоту и ценил себя лишь как инструмент, при помощи которого природа может создавать что-нибудь дельное. Он понимал себя чем-то вроде стеки в руках скульптора. Двое — скульптор и стека — создают третье: скульптуру. Двое — природа и мужчина — должны были создать третье — что? Вот тайна, непостижимая женщине: ЧТО? Что они там мастерят, соединив усилия? Он не мог придавать никакого значения своим ярым очам и одичалым кудрям, а только уму и рукам, потому что есть НЕЧТО, чему он служил лишь посредством.

Это может только мужчина: иметь цель вне себя. Женщина — сама для себя цель и хочет быть ею для всего доступного мира. Она, конечно, старается, подражая мужчине, тоже завести себе интерес снаружи от себя — щипание корпий или там научные исследования,— но ей плохо удается это притворство. Она, Лариса, например, стала тогда играть в теннис из одной только ревности к мячу: ишь, предмет, игрушка, не имеющая никакой ответной силы любви,— а так всецело владеет сердцем человека! А она, женщина, уж как она отозвалась бы навстречу, но мужчине интереснее с мячом, чем с живой Ларисой.

Тайна его: самозабвение. Он рвется служить чему-то вне себя. Женщина — только себе (особенно ес-

ли она красивая женщина, которая ощущает себя конечной целью природы).

И тогда что она делает? Что делает женщина, борясь со своим соперником-мячом за мужчину? Начинает сама в этот мяч играть. Она действует безошибочно. Она отнимает мужчину так, что он и заметить не успел. Вначале он думает, что это они объединились вместе любить мяч. Но постепенно она перетягивает его любовь, переводит этот луч на себя одну — и мяч становится ей больше не нужен. Мужчина отнят, отвоеван. Только не надо думать, что она действует сознательно — боже мой, какое там у женщины сознание! Она никогда не знает, что делает, и, может, именно поэтому она все делает правильно.

Или взять ее детей. Каждый новый ребенок — это как бы ее оклик мужу, увлекшемуся чересчур своим делом: эй, вот она я! Три оклика. И, может, будут еще. Она хочет и впредь быть центростремительной точкой обращения — тем солнцем, вокруг которого на привязи вертятся планетки, с той лишь разницей, что ей необходимо не излучать, а привлекать излучения принадлежащих ей планеток. Горе и холод, если они вдруг отвернут свои излучения в другую сторону!

Но опять же, учитывая, что нуждаемость и вынужденность — разные вещи... На принужденную любовь ее гордость не согласилась бы. Как это другие женщины соглашаются — ей непонятно. Когда он написал ей, что женится на другой ВЫНУЖДЕННО (а она-то терпеливо дожидалась его НУЖДАЕМОСТИ в себе! Продожидалась!),— вот тогда был у нее срыв, поражение ее гордости. Нельзя, кричала она, не надо, кричала в трубку.

Слишком уж несправедливо: она-то не воспользовалась бесчестным этим оружием, когда оно было у нее в руках, а другая вот теперь воспользовалась и, конечно же, победила! Как было смириться? Нельзя, кричала, нельзя так жениться, это нечестно!

Взыщется с него за тот ее срыв, за падение ее и поражение.

В том и состояла ее клятва: в страшной мести.

— Про себя ничего не рассказывал? — опять пытает у Сережи.

— А, да... Инженер, второй раз женат. Кажется, так.

— Второй. Вот как. С той, значит, не стал жить...— Мысленно: и с этой не станет. О ней, о Ларисе, вспомнил...— Адрес он дал?

— Адрес, телефон, вот,— услужливо, заботливо, подробно.

Золотой муж. Бесценный муж. Ценимый муж. Ценящий муж. Не то что ты, не оценивший, продешевивший! Слышишь, ты! Мы становимся в очередь; если очереди нет — сомневаемся покупать. Такие мы, себе не верим, другим верим. И ты! Думал, раз само в руки идет, так стоит ли брать? А этого ты не видел — подполковник, красавец, умница, трое детей, обожает меня и детей, это ты не хочешь знать? Умрет за меня. Умрет БЕЗ МЕНЯ. Хочешь знать?

Рисовала себе, с каждым новым повышением (старлей, капитан, майор...), все ярче размалевывала, и с каждым новым ребенком — все пышнее разрасталась картина ее счастья, добавить бы еще к этой картине зрителя! ЕГО! Плачущего, стенающего, рвущего на себе волосы в сокрушении: КАКОЙ Я БЫЛ ИДИОТ! Униженный, несчастный, брошенный, подзаборный, рыдающий, жалкий, обманутый, приползший к воротам королевства стучать под дождем: королева, впусти хоть погреться у твоего огня! И милосердно — впустить. Но — чтоб САМ приполз. Звать — нини. Ни разу за все эти годы ни попытки поиска, ни попытки узнавания — где он, что с ним. Сам найдет. Чем позднее, тем злораднее. Больше, пусть больше будет детей: каждый ребенок — как гвоздь в крепости ее королевства — подтверждая безоговорочность взаимного их с подполковником счастья.

И вот дождалась: постучался у ворот.

Не может быть, врет, что все хорошо. Из благополучия не звонят. «Все хорошо» не должно быть. Она заслужила его «все плохо». Она столько заплатила — заверните, пожалуйста, вон того, мокрого, просящего, у ворот, под забором.

Каждый новый ребенок — как восклицательный знак, подтверждающий ее победу. Три восклицательных знака, высшая степень выражения.

Набрать его номер, смиренно (какое высокомерие бывает в смирении! — только в нем и бывает!) спросить: «Что, Валер, что с тобой, плохо тебе?» Ах, скажет, ох, ой, эх, Лорка!.. Что мы наделали, скажет, какую любовь мы с тобой про...

И она ему тоже подахнет, подэхнет. Он тогда дальше-больше загорюнится. Какой я был дурак. И она тоже скромно: мы оба были дураки. И помолчат. И тогда он — с робкой надеждой: а может... Троих детей твоих, тебя на руках... ВСЕ ОТРАБОТАЮ, что задолжал. А она ему тогда: ох, и рада бы, да муж не вынесет, повесится. И дети — дети плачут при одной мысли, они обожают его! Старшие дети узнали, что ты звонил, и плачут: понимают, что их отец не перенесет этого...

И зарыдают оба на разных концах провода, оплакивая такую их любовь, которую они про... И тогда он поймет, что это он, один он про... такую любовь, а другой-то вот умный оказался — подобрал.

И вот уж она натешится, плачучись. Уж умоется она его слезами, как травка дождиком.

Высший шик, конечно, вообще не позвонить ему. ТАК МАЛО ИНТЕРЕСЕН. Но он может заподозрить, что муж Сережа не передал ей привета и адреса и что она просто не знает. Нет, она должна позвонить. Хотя бы чтоб убедиться, что он под дождем у ворот ее королевства. И захлопнуть перед ним эти ворота: извини. Она должна ПОЛУЧИТЬ свое долгожданное, заслуженное свое. Оплаченное свое.

— Сережа, как ты думаешь, мне позвонить ему?

— Ну, я думаю, это не принципиально. Захочется — чего ж не позвонить.

— А ты не боишься, что он хочет меня отнять у тебя, а? — с лукавством, может, и неуместным...

Конечно, неуместным! Тут же он и засмеялся, как смеются, жалеючи жалкого:

— Ох, Лорка, а то мне больше не о чем думать, как об этих глупостях, пощади!

Обидно. Тем более тогда позвонит.

Неделю ждать пришлось Сережиного дежурства: звонить надо без свидетелей, придется ведь спектакль играть — муж плачет, дети плачут... курица кудкудачет.

И вот она — неузнаваемым голосом, корректно — оттуда:

— С кем я говорю?

— Да со мной, со мной ты говоришь! — радостно орет он, и Ирка улыбается, примкнув к его щенячьей радости, смеется и при начальных словах присутствует еще, а после уходит из комнаты, чтобы не нарушать этого трепетного их по телефону уединения.

— Сто лет прошло...— начинает она оттуда, он перебивает бодро:

— Не сто, а восемнадцать, каких-то всего восемнадцать лет!

— Восемнадцать лет,— медленно выговаривает она,— это очень много.

— Ты узнаешь меня? — кричит ей.

— Нет,— рассеянно отвечает. В рассеянности ее, как он потом вспомнил, обдумывая в сотый раз этот разговор, была как бы подготовка к главному, что она собиралась сказать, и поэтому она сосредоточивалась на том, что ЕЩЕ СКАЖЕТ.

— А я тебя тоже сперва не узнал, а вот теперь слышу: ты!

— Скажи, как ты живешь?

— Хорошо!

— Как у тебя в личном плане? — подчеркнула.

— Хорошо!

— Все в порядке? — с некоторым даже недоумением.

— Да! — торопится он покончить с этим, как бы спеша перейти к главному, но к чему — неизвестно.

Чего-то он ждал от этого разговора — общей печали по их погибнувшей любви? Следов той любви? Чего-то щемительного: вот жизнь на исходе, а умершая их

любовь — это была первая смерть, первый ущерб их бывшей полной, как луна, молодости. Теперь уже только серп от месяца остался — так оплакать его печальными сообщниками.

— Ты женат?

— Да! Я же рассказывал все твоему мужу, он не передал?

— Он передал.

— Почему ты ни разу не дала о себе знать? — Он перебивал, сбивал ее медленно-выжидательную речь, волнения он не слышал!

— Я не могла. Это тебе легко было разыскать меня, а я не могла: мне было бы совестно перед дочерью.

— Перед чьей дочерью? — немного оторопев, он приостановился в радостном своем аллюре.

— Перед моей. Ей шестнадцать лет. И еще сын — четырнадцати. И еще один сын — четырех лет, у него сегодня день рождения,— печально и укоряюще произнесла она.

— Поздравляю,— пробормотал он, споткнувшись и переходя на пеший ход.

Это, стало быть, она его осудила. «Это тебе легко было бы, а мне», дескать, с моей высокой нравственностью и чувством чести было бы стыдно перед моими детьми...

Лишившись своей телячьей радости, он растерянно стал поминать каких-то общих знакомых. Она без всякого интереса выслушала и, когда он замолчал, продолжила свое:

— Моя дочь — она знала, кто ты мне... И муж знал. Дочь плакала... Муж тоже не в себе. Не в своей тарелке. Твой звонок внес в нашу жизнь ненужное смятение.

Он попытался возразить:

— Да вроде мы разговаривали с твоим мужем... он, по-моему, ничего...

— Нет, он совершенно выбит из колеи и напуган твоим звонком, и вообще...— И, сделав паузу: — Давай-ка мы не будем больше звонить друг другу,— печальный и суровый приговор.— Ведь и твоей жене, наверное, неприятно, а? Она у тебя дома?

— Да,— смутившись вконец от упреков.

— И что, ничего? — насмешливо.

— Да,— утонув, захлебнувшись в позоре; боясь при этом, что Ирка, если ей слышно, а ей слышно, конечно, догадается, что его здесь отчитывают, как пионера; хотя бы для Ирки он должен выдержать весь разговор на первоначальной радостной ноте, и он вовсе замолчал.

— Так что ни к чему все это.

— Тогда зачем ты звонишь? — наконец с отторжением выговорил, враждебно.

— Я? Ну, узнать, может, у тебя там не в порядке... с личной жизнью.

— Да нет, спасибо, все в порядке,— холодно.

И молчание, он — оплеванный, осмеянный, застигнутый, как бобик, на пошлом поступке. Он голосу набрать никак не мог со стыда. Наконец — вздох:

— Ну ладно, Лариса, будь здорова.

— И ты будь здоров,— прощаясь.— Всего тебе хорошего, благополучия.

— До свидания.— Он отбросил трубку. Оттолкнул, отпихнул.

Минут десять сидел, притерпеваясь к той оплеухе, которую она ему нанесла. Ужасно было стыдно перед Иркой. Она ведь предупреждала: звонок легкомысленный, а главное — смутный в отношении цели: для чего? Ты будешь понят превратно. Ты внесешь ненужное беспокойство. Ты будешь СМЕШОН.

И вот: он смешон. Ларисина гордость, не пожелавшая играть в прятки хороших отношений по прошествии любви — из уважения к любви. Это как ворошить гроба.

Разоритель могил, ворошитель праха, поделом тебе! Раскапывать могилку, чтобы встряхнуть свои воспоминания,— а о покойнике ты подумал, каково ему-то представать перед твоим праздным любопытствующим оком? Нельзя, нельзя, нельзя! Осрамился. Мучительное брезгливое чувство позора: так в детстве было, когда узнал про ночную жизнь людей,— хотелось отмыться, отскоблиться, отплеваться от этого знания. Была бы память доской, на которой написано мелом,— взял бы тряпку и стер.

Освоившись с оплеухой, хоть она и краснела на его щеке, он поплелся к Ирке. С осторожностью рассказал. Что Лариса звонила лишь для того, чтобы оградить себя впредь от возможных его звонков. Ставящих ее в двусмысленное положение. Навязывающих ей ложную роль старой подруги, на которую она не согласна из уважения к своим детям, мужу и самой истине.

Другими словами, он опозорился перед высшим достоинством, вот.

— Молодец! — горячо одобрила Ирка.— Она молодец и умница! Она совершенно правильно поступила.

— Какое мужество,— продолжала восхищаться спустя время,— в этом нежелании ловиться на крючок интеллигентского притворства. Поломка судьбы — так уж навечно, протезов не надо!

— Да,— приходилось ему соглашаться,— да, она в высшей степени нравственный и твердый человек. Не поддается на уловки «приличий».

Все же обидно. Это ее презрение, этот высокомерный выговор!..

А Ирка опять: правильно, правильно она поступила, так тебе и надо!

И долго еще они на тормозах спускали с души это событие. Наконец, спустили, как корабль на воду. Уплыл.

А в доме подполковника Лариса сидела у смолкшего телефона и тоже переваривала разговор. «У меня все хорошо». Какого черта ты тогда звонишь, извини? Ужасное разочарование. Что-то ей удалось, а что-то нет. Наверное, было ошибкой беспокоиться, каково его жене. Но ничего, схлопотал по харе, по мордасам, будешь теперь помнить. Как она его, а? «Давай-ка мы не будем больше звонить друг другу!» Ай да умница! Тут она молодцом. Тут была ему смертная казнь. То есть смерть их любви. Понимаете, смерть. Это когда впереди БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Отсекновение будущего. Усекновение памяти.

Алика между тем кормили старшие дети на кухне, мучили его самолюбие, есть принуждали:

— Во-первых, вермишель, во-вторых...

— Вермишель — это первое или второе? — вопрошал он принципиально.

— Ешь вермишель и запивай молоком! — отвечали ему не по существу.

— Первое или второе? — домогался он точности.

— Сиди ешь!

Бежит сюда:

— Мама, вермишель — это первое или второе?

А мама тут в глубоком разочаровании и огорчении у телефона, навеки отключившего ее от прошлого:

— Алик, ешь что хочешь!

И тогда Алик заплакал, ни от кого не добившись своей правды.

И утешала его, прижав к себе, и сама же заплакала прямо в мягкие его пахучие волосики. Бедные мы с тобой, самолюбивые непомерно, не по мере этой жизни, Альченька, плохо нам с тобой приходится.

А Валера в другом городе нет-нет да и восстанет с обидой:

— Но ведь даже преступления не в счет за давностью лет! Конечно, я понимаю, высшее благородство ее натуры, но... вот представь себе, не будь она так достославно обеспечена своим женским счастьем — муж, дети, удачливость,— разве смогла бы она так надменно: «Мне было бы совестно перед дочерью!» Не демагогия ли это, когда человек поверх горки своей сытости водружает еще и красивый флаг незапятнанной чести? Гордыня чистой совести — не грех ли?

— Перестань! Тебе так и хочется ее унизить, чтоб уменьшить разницу высоты. Сказать: «Не будем больше друг другу звонить» — это отречься навек от прошлого; для женщины — отречься от молодости, от па-

мяти по ней — о, это настоящее мужество, ты недооцениваешь. Я лично восхищена этой женщиной!

— Я-то тоже,— бормочет он.— Но мне приходится восхищаться ею за счет собственного поражения.

— Ну и будь выше этого. Тебе подают такой пример! Цени высшее в жизни, подвиг!

Подвиг-то подвиг, но Валера все же выкинул старые письма, которые хранил восемнадцать лет в корочках от альбома среди старых конспектов. И сделал мудрое заключение: «Если у тебя есть хорошее воспоминание, не порти его новой встречей».

Когда Сережа наутро вернулся с дежурства, Лариса похвалилась:

— Я-таки позвонила ему. Я попросила его впредь не беспокоить меня. Эти глупости мне ни к чему.

Сережа вдруг прыснул.

— Чего это ты смеешься? — обиделась.

— Ох и глупые же вы,— сказал добродушно.— Намудрили, намудрили! А и всего-то: он позвонил — значит, все еще любит. И ты позвонила ему — с тем же самым. Ох, салаги! Ну ничего, ничего. Я и сам всех люблю, кого любил. Дай-ка лучше поесть, бабочка ты моя.

Домохозяйка

На всю даль улицы простерся вой сирены, вдоль собственного вопля мчалась, не смолкая, пожарная машина, подлетая на ямах, и Лена заплакала в своей квартире от чьей-то невидимой беды.

Следующие машины пронеслись молча и сосредоточенно, но где-то включилась заводская сирена тревоги. Нет звука ужасней, а чувства Лены больно обострены: вчера они приехали в этот незнакомый город, в эту квартиру, вещи свалены в кучу, двухлетняя дочка неприкаянно ходит из угла в угол, ночевали на полу, Лена не знает, за что хвататься, и нервы ее насторожены, как у чуткого зверя в чужом лесу.

Сирена смолкла, тревога скрылась в прошедшем времени. Наползли, как муравьи, на чистое место тишины другие, мирные звуки, зачернили собой след сирены. Побрякивали трамваи, ворочались громоздкие троллейбусы, Лена вернулась к своим хлопотам.

Она была пока чужая этому городу, труд ее не пригождался выполнению его планов, и никому не помогли ее слезы. Все, что с ней происходило, не имело для общества никакой пользы. Она была домохозяйка.

Соседку звали Валя, и все в ней соответствовало мягким звукам, составляющим ее имя.

Лена забегала к ней: то и дело что-нибудь требовалось новоселам.

Уже вызывали слесаря, он пришел, спросил внимательно, как врач:

— Что у вас?

Он был плотный, некрасивый, но глядел в лицо глубоко и любопытно и оттого сразу становился очень знакомым — а у знакомого уже не видишь внешности.

А батарею, пообещал, починит летом, когда кончится отопительный сезон.

— Тогда сделать вызов?

— Не надо, я так запомню.

Программа «Время» здесь начинается в полдевятого. Рабочему классу рано вставать. Рабочий город Челябинск.

Дотаивает снег, очень грязно. Лена таскает свою дочку на руках.

Прохожие на улицах тоже порожняком не ходят, при многих дети. Дети попадаются как-то уж густо.

— А что, стали платить — вот и рожают,— рассудила попутчица в трамвае. Иная попутчица знает все про все. Очень удивилась, что в сибирском городе, из которого приехала Лена, детей не прибавляется, хоть и стали платить.—Ну, а вообще как там у вас?—Глаза зажглись: сейчас и про тот город все будет знать.

— Чуть похолодней.

— А снабжение?

Лена пожала плечами.

— Там с молоком похуже. Сливок нет.

— Ты смотри-ка, есть где-то еще хуже Челябинска! — обрадовалась женщина.— А чем же кормить детей? — встревожилась.— А-а,— тут же все поняла,— вот потому и не рожают!

Снег окончательно сошел, трава наливается зеленым соком. В субботник вылизали весь город, и дождь его обмыл.

Просторная улица опустела к вечеру, дома стояли румяные от заката. Бежали по тротуару две спортсменки, радостно окликнул их, свесившись из окна общежития, мордастый парень: «Побежали, девчата!» — И заржал, счастливый, что весна, вечер, бегут вот девчата — как подтверждение наличия у жизни смысла, гармонии и порядка.

(Хороший город!)

И Лена подумала, что вначале у жизни, может быть, не было никакого смысла, но он копится отдельными усилиями всех людей помаленьку.

Но, повторяю, все это не могло влиять на общественную пользу, потому что Лена была пока лишь домохозяйка.

Ждали у подъезда мусорную машину, соседка Валя сказала:

— У меня ведь двое детей, ты не заметила? Один л е ж и т.

Тут пришла машина, схватили ведра и поспешили к ней. Такие сообщения надо осваивать постепенно — беречь себя, и только через два дня Лена переспросила:

— Он что, болеет?

— Да,—сказала Валя, стараясь сделать свои слова понезаметней (так хорошая медсестра умеет поставить укол, что не почувствуешь),— ему полтора года, в четыре месяца заболел энцефалитом, и теперь он уже полный дурак.

Удобно жить на втором этаже — весь двор на виду. Каждое утро приезжает слесарь на своих «Жигулях» и привозит товарищей. К этому времени нужно успеть запастись водой. В девять они отключают ее и потрошат в подвале трубы: выбрасывают старые, варят новые.

Они работают без передышки часов до пяти, и видно, как они возятся во дворе со сварочными баллонами, с трубами, как испачканы их брезентовые спецовки и как накапливается усталость в ногах к концу дня.

Их четверо, но Лена замечает только одного, потому что он ЗНАКОМЫЙ, а других она никак не запомнит.

Вечером опять появляется в кранах вода.

Когда Лена впервые подвела свою дочку к песочнице во дворе, один малыш обернулся и удивленно спросил: «А где вы были?» Весь остальной мир ему был уже лично знаком.

Ночью Лена проснулась от детского плача. Плакал Валин ребенок за стеной.

Валя так и говорила о нем: «Ребенок». Потому что ни «мальчик», ни имя, выделяющее человека из подобных ему, тут не годилось. Неконкретное, неличное «ребенок» — так лучше, потому что личности дитя лишено.

Валя уже «привыкла», ей «хоть бы что» — но вот он плачет от боли, то жалобно поскуливая, то вскрикивая в страхе, вот полчаса, час он стонет и надсаживается, как буксующая машина, и голосочка-то уже нет, а не кричать никак невозможно, кто-то ест его изнутри, как лисенок под одеждой маленького римлянина, кто-то его жрет, и он поэтому — жертва, детская

жертва какой-то невидимой силы, а взрослые, хоть бы и сгрудились вокруг него стеной, не в состоянии заслонить его и спасти, и он скоро, по-видимому, умрет, потому что не может живое существо долго выносить такую боль («То ли у него внутричерепное давление поднимается... а может, там опухоль, да и все...»). Он плачет, и самое ужасное — не помочь. Там рядом с ним не спят еще трое, они все живут в одной комнате, и Лена по эту сторону зажмуривает глаза и молится: «Господи, да что же это!..» — в унижении, какое чувствует взрослый, предавший младенца. Оставивший его без помощи на растерзание.

Потом наконец стихло.

Лена заснула, и ей приснился утешительный сон: будто она берет этого мальчика (которого она даже не видела) на руки, а он разговаривает с ней и все понимает. Ну, думает Лена, если это «полный дурак», то еще ничего, терпимо... Это она думает во сне.

Позвонил в дверь кудрявый слесарь, передал из домоуправления расчетную книжку. Он внимательно поздоровался с поклоном головы и обозначил на лице самое почтительное отношение.

В течение целого дня Лене видно из кухонного окна, как он работает во дворе, как он ходит в робе, усталый, не заботясь о походке.

Еще бегают по двору целый день два маленьких брата из многодетной семьи, один рыжий, другой черный. От разных отцов. В садик они не ходят, так растут, по милости природы. Природа к ним милостива. Вот старший рыжий нечаянно сбил с ног младшего черного и растерянно стоит над ним, а тот вопит. Помог ему подняться, и черный, всхлипывая, в яростной обиде ударил брата. Рыжий принял удар скрепясь — лишь бы тому стало легче. Тот еще раз ударил — рыжий еще раз принял. Потом, постояв немного, поразмышлял, виновато и осторожно обнял своего меньшого братана.

На пасху продаются всюду куличи, помазанные белой помадкой, посыпанные разноцветной крошкой. Купила и Лена. Кто-то из гостей спросил просто так: а что, собственно, означают эти куличи?

— Древний фаллический символ,— сказал муж Лены.

Лена смотрела на своего мужа, и все, все в нем вызывало ее раздражение, сама его красота и ум тоже.

Они прожили вместе пять лет, и для первых трех годилось наименование любви.

Но что же теперь? Может, это только временные трудности переезда, неустройства? Пройдет она, усталость? Или любовь была лишь уловкой природы, принудившей их продлить род? И теперь, когда ребенок рожден, любовь удаляется со сцены, как усталый актер, сыгравший свою роль. И остаются одни декорации, да и с них уже краска облезла.

Неужели все? Подруга на вопрос: «Что, у тебя кто-то есть?» — умудренно вздохнула и как о НЕИЗБЕЖНОМ: «А как же... Надо ведь иметь какой-то стимул». И просвещала: «Эти инъекции свежего, на стороне, новенького — они необходимы, как диабетику регулярные дозы инсулина»...

Листья проклюнулись из почек, высунулись, и деревья окурились зеленым дымом.

В воскресенье завод Орджоникидзе проводил свою весеннюю эстафету. Растянулись по улице Гагарина этапы, трепетали флаги, попрыгивали, разминаясь, спортсмены на легких ногах. Громкоговорители передавали парад, происходивший где-то у начала улицы, доверчиво назывались во всеуслышание цеховские имена. Но ведь это так опасно (Лена сжалась) — в человеке жив реликтовый страх, что кто-нибудь чужой сможет нанести ему вред через звук беззащитного имени или через изображение, и даже на Доске почета висеть согласится не каждый. Лена огляделась вокруг, опасаясь за имена, слетавшие в общедоступность, но никто тут ничего такого не страшился, улица по-хозяйски была захвачена бегунами, воздух громыхал заводским радиовещанием. ТУТ ВСЕ БЫЛИ СВОИ.

Мы тут свои, заводские, ясно? Это наша улица, и дома эти наши, и магазины, и киоски с мороженым, и троллейбусы. И мы тут не какие-нибудь нейтральные, посторонние друг другу горожане, мы — свои. А вы, чужие, бойтесь соваться в нашу краянку!

Лена стоит на тротуаре, чужая, ни одного человека не знает в лицо и боится, что это заметят. Хочется скорее примкнуть к этому неуязвимому обществу — СВОИМ.

Закапал дождь, дочка спросила, откуда он капает. Оказалось, с неба. «А кто его туда набросал?»

Лена сидела одна в кухне за столом, чувство «я ненавижу тебя» переполняло ее, требовало высвобождения. Уже много раз она готова была пойти и сказать: «Я тебя ненавижу». Пусть виновато, пусть умоляюще — но освободиться наконец! И не хватало... Мужества? Честности? А может, самой ненависти не хватало?

Наверное, это обидно было бы услышать. Видеть, знать — одно, а услышать — другое. Слово отсекает оттенки, оно однозначнее правды — выходит, вовсе ложь.

Да и так ли уж важно в конце концов ее чувство, чтоб кричать о нем вслух.

Она взяла обрывок бумажки, написала: «Я ненавижу тебя». Страшно стало читать, слова жглись. Она скомкала бумажку, бросила в ведро. Топорщились, кололись, колóм торчали оттуда злые буквы. Достала бумажку, расправила, густо зачеркала — и тогда выбросила.

Снова достала этот комок, положила в раковину, подожгла спичкой.

Сгорела ненависть.

Соседка Валя решила больше не вызывать к «ребенку» врача — пусть...

Но врач, сказала она, все равно приходит — сам. Молодой парень, еще недавно был интерн. Посмотрит «ребенка», выйдет в прихожую и записывает там что-то в тетрадку, присев на корточки, подложив свой «дипломат». Пишет, пишет, а потом задумается, задумается... Валя его спросит: «И о чем вы там всё думаете?» А он тихо: «Думаю, как бы ему помочь...»

Дрогнуло сердце. Лена с тех пор как увидит из окна — идет по двору молодой человек с «дипломатом», так и гадает: он? Уже раза четыре видела — один и тот же. Наверное, он. Ходит, сердечный, по вызовам. Вызовов много, детей уйма, ужас. (Еще бы, сливки есть, и рожают бесстрашно все новых и новых, убежденные, что так оно в мире всегда и пребудет.) Наверное, он. Свои-то околоточные мужики не носят «дипломатов». Собираются во дворе по вечерам и часами беседуют, сидя кружком на корточках.

Дочка вышла во двор с маленькой машинкой. Беда с этой машинкой — всем она нравится. Вот рыжий братец догнал обидчика, отнявшего машинку, заботливо вернул ее девочке и потом долго стоял перед нею с кротким видом — упивался своим великодушием. Эти благородные порывы знакомы всем хулиганам. Рыжий стоит перед девочкой, великодушие его разрастается снежным комом, да и должно же снежным комом развалиться, не вынеся собственной тяжести. Спустя полчаса он потихоньку стянул у нее эту машинку и снес ее домой. Быстренько закинул и выбежал как ни в чем не бывало, не пойман не вор. Дочка с ревом бежала к подъезду — домой, к матери, просить подмоги.

Но Лена сама вышла ей навстречу, пора забирать ее, ужином кормить. Тронулась со двора и притормозила, поравнявшись с Леной, машина слесаря. Он наклонился и выглянул поздороваться.

Сизый селезень, называла его Лена про себя. Лицо его было полно закоулков, в которых таились все-

возможные оттенки чувств, оттенки эти складывались по-разному, переливаясь, как сизое оперенье, и читать с его лица эту повесть, наверное, не наскучило бы долго.

Вместе с приветствием на его лице прочитывалось: «Смотри, а у меня машина, а ты не знала?» — совершенно мальчишечье, детское. И: «Что это на цепочке у тебя — талисман, да?» — любопытное, и: «Сразу видно, что ты молодец!» — ухажерское, на всякий случай, и: «Уважаю таких!» — одобрительное бюргерское.

Да каких?!

— Дима, ты машинку-то девочке отдай!

И дочку — на руки.

А по-за мусорными кучами новостройки гоняли друг друга растленные городские кобелишки, весна их одолевала приступами неисполнимой любви.

Притча: приехал в город цирк, и афиши возвестили, что человек будет залезать в бутылку. Народу собралась целая сила, вынесли на арену бутылку, вышел и обещанный человек. Походил-походил, позалезал-позалезал — не залез. Ушел. Публика возмущаться, а ей: а кто вам обещал, что он з а л е з е т?

Вспомнила Лена притчу и горько рассмеялась. Никто вам ничего и не обещал!

Она сидит у темного окна на кухне, муж ее сегодня сказал ей: «Заткнись!», и вот она не спит, и он там тоже не спит, но они не могут успокоить друг друга — пропасть не преодолевается.

Лена не винит его. Она сама могла бы сказать ему «заткнись» и даже почище того. Но он ее опередил.

Сидеть ей возле темного окна еще долго. Надо износить злость дотла, истратить, а прежде того нет смысла ложиться, только хуже не уснешь.

Интересно, каково поживает слесарь — сизый селезень?

Некоторые знакомые Лены разошлись и снова в поиске. Брачные объявления дают. Надеются на удачу. Есть ли хоть одна удача среди этих бедных человеческих попыток? Наверное, есть, иначе откуда, из каких примеров люди черпают надежду?

Но Лена не знает таких примеров, нет.

Говорят, восемьдесят процентов разводов происходит по заявлениям женщин... Восемьдесят процентов брачных объявлений дают тоже женщины...

Утром они помирились. Как-то само собой. Так, впрочем, у них всегда. Вопросы не умеют решаться, но хоть имеют милосердие сшагнуть с дороги.

Муж ушел на работу. Дочка играла во дворе. Лена выходила на балкон — по-летнему ветрено было, ветер проносил целые пространства, касаясь лица, и приравнивал покой к полету. Мир был весь в доступности.

Дочка заболела. Когда это случается, Лена живет с трудом, ее без конца клонит в сон. Похоже, дитя, заболев, переходит на резервное питание — за счет материнских психических сил, как Антей от земли, и мать тянет двоих. Дочка выздоровеет — сонливость пройдет.

Лена вызвала врача. Оказалось: он. С «дипломатом».

Он прикасался к девочке так, как будто хотел не столько выяснить болезнь, сколько тут же, этим прикосновением, немедленно помочь ей.

Он был юноша, прячущий усталость. Каждый день на много часов он погружается в среду чужой боли — как водолаз в толщу вод, как рабочий-гальваник в яд испарений,— и на сколько же его хватит сидеть в прихожей на корточках и раздумывать, как бы облегчить муки Валиному «ребенку».

Он направил Лену к лору: у дочки оказался опасный отит. Он сказал: туда прием раз в неделю и запись за неделю вперед, но вы все же постарайтесь попасть.

Но лор их принял без записи и без лишних слов — еще не научился отказывать в помощи. Тоже был совсем юный, тоже прикасался к девочке ц е л и т е л ь н о, и та доверилась его рукам. Он выходил раз покурить и, когда шел мимо томившихся в коридоре матерей с детьми, клонил голову, виноватый перед ними за боль, за очередь и за свое неумение сделать мир совершенным.

Вот уже недели две Лена не слышит плача за стеной. Ей хочется думать, что «ребенок» пошел на поправку, хотя путь его болезни один: каждый приступ пожирает часть его мозга.

Но пока он перемогается и молчит, не напоминает взрослым об их ничтожестве — и спасибо.

Валя вышла на работу, потому что приехала ее бабушка и смотрит за «ребенком». Ну, бабушка вынесет. Бабушке в привычку выносить, она не юноша-врач и не истеричка, способная не спать ночь из-за мужнина «заткнись».

Дай бог Вале хоть на работе забываться.

Муж ее пьет — тоненький мальчик с прозрачной кожей, неуверенный и как бы в зыбком сне. Он просто попался, прихлопнула его злодейка-западня, бедняга в ней... Он просто не знал, что это окажется так трудно — жить. И пьет — с испуга.

Но Валя все равно улыбается. От великодушия. Чтоб не взваливать на мир свои огорчения. Миру и так хватает.

— Поднимай ноги! Иди по-человечески!

Стояла глубокая ночь. Лена проснулась мгновенно и полностью. Не успев ничего подумать, она поняла все, что происходило на улице, за окном. Вообще все, что относилось к ним, шедшим сейчас мимо ее дома, она сразу и окончательно поняла. Одного этого ржавого голоса было довольно.

В нетронутой тишине ночи этот злобный голос бесчинствовал один, нестерпимый, как визг пилорамы, как скрежет железа о стекло, и производить его могла только какая-нибудь «карлица», лицо которой, Лена поручилась бы, выглядело так, как если б резиновую голову надули, а потом сверху сплюснули.

— Поднимай ноги! Иди по-человечески! — с визгом царапала она по стеклу, по нервам, неотступно преследуя свою жертву.—Да пойдешь ты?! Поднимай ноги! Иди по-человечески! Поднимай ноги!

Самое жуткое было это «по-человечески», косноязычное, с «ц» вместо «ч», произносимое н е ч е л о в е к о м — НЕДО...

Голос уже миновал окно, начал удаляться за многократные преграды панельных стен. В ответ ему не слышалось ни звука, ни всхлипа, даже ни шарканья маленьких шагов, один ужас тишиной навис и силился прикрыть мальчика (конечно, то был мальчик! — эти «карлицы» умеют нажить себе годам к сорока мальчика, чтоб было на свете хоть одно существо, беззащитное перед ними), но не мог заслонить его, а эта злобная ястребица налетала сверху, выпростав клюв, подстерегая каждый его шаг, сделанный не по ее праву, а сделать по ее уже не было возможности, потому что ястребица нуждалась в неистовом поклеве.

Вот уже теряются где-то в тишине и темноте — этот давно настигший и давно всемогущий, но длящий истязание голос и его жертва, которой спасение могло явиться разве что если бы земля разверзлась под ногами и укрыла собой сверху.

— Кому я сказала, тварь! Поднимай ноги, паскуда! Иди по-человечески! — Голос захлебывался в сладострастии силы, которой не было противосилия. Он разрастался, как пузырь, грозя лопнуть.

Лена вскочила с постели. Их уже не было видно из окна. Истязающий голос затухал. На часах ровно два ночи. Ни души больше не было на улице, весь город увяз в сладком клею сна, утоп, ушел на дно, не слышит этой ястребицы, не знает про муки ее детеныша. Некому прийти ему на помощь, а он и не ждет помощи.

Сон в это время ночи имеет неодолимую власть, он сковывает по рукам и ногам, броситься сейчас в постель, в сладкий этот мед, скрыться в нем поглубже — но встряхнуться! Быстро в прихожую, нука! Плащ, в комнатных тапках — пусть, пригодится мягче догонять, ключ, дверь оставить незапертой — важно! — и вон.

Сердце стучало, заставленное круто переключиться со сна на подвиг или на преступление — что бог пошлет.

Лена выбежала на тротуар — вон они.

Мальчик в свете дальнего фонаря возвышался над тротуаром вряд ли больше, чем та занеженная девочка, что спала сейчас, сытая и умытая, в мягкой своей постели у Лены дома.

«Карлица» неотвратимо нависала над ним, как тень хищной птицы, а он брел, рожденный на свет для той же цели, для какой в некоторых странах, говорят, продаются специальные сервизы: бить. Пар спускать. Мальчик забывал вздрагивать, трясина ночного времени уже наполовину поглотила его сознание.

Шаги Лены, днем погасшие бы в шуме, как в мягком ковре, раздавались сейчас беспощадными шлепками на всю улицу. Что ж, тогда нападение и грабеж. Быстрота и натиск. Как там с гневом? Это важно. С гневом в порядке — хватит расшибить эту «карлицу» в лепешку, если понадобится.

Та в шуме собственной злобы даже не оглянулась на топот.

Лена боялась оробеть. Вся надежда на разбег и инерцию. Сшибить, схватить — репетировала мысленно. Только бы не свернуть в последний миг, не струсить. Она неслась на таран, выставив ладони буфером.

«Карлицу» ударило, снесло, протащило вперед, она прошоркнулась по асфальту; только бы мальчик не успел испугаться — кажется, Лена схватила его на руки раньше, чем «карлица» упала. Схватила, прижала к себе. Хватит предавать их, хватит дезертировать от них в уют своего нейтралитета!

Она бежала с ним на руках, в ушах мешался ветер с воплями поверженной: «Ой! ой-ой!» — эти испуганные «ой» были не за ребенка — за себя, за то, что сбили, что больно. Никогда, никогда ей не догнать Лену. Дворами, запутать. В подъезде нет света, отлично. Она спохватилась наконец взглянуть в лицо мальчика, что-то он был подозрительно безволен; она отняла его голову от своей напряженной руки — мальчик спал глубоким сном, запав в него, видимо, немедленно в тот же миг, как его оторвали от земли и освободили, осужденного в два часа ночи «поднимать ноги», пересекая бесконечность пустых улиц.

В дверях квартиры стоял в потемках муж, собранный и готовый сделать все, что потребуется. Он всегда был на месте вовремя. Он из любой глубины сна умел почувствовать тревогу Лены и просыпался. Черт возьми, они вообще-то были настоящей парой...

— Тс-с! — Лена быстро затворила спиной дверь.— Мальчик! — сказала она радостно, как будто только что родила его.

— Киднап! — предостерегающе сказал муж.

— Ничего. Мы не будем ее шантажировать.

— А она нас?

— Знаешь что! — рассерженно зашептала Лена.— Я его не выбирала, бог послал. И нечего! Сними с меня плащ!

Она скинула и тапки, босиком пронесла свою ношу в комнату. Муж умница — не зажег света. Иначе окно выдало бы их. Положила спящего на постель.

Закрыли дверь комнаты. Все, теперь не выловить их в бесконечности темных окон. Иголка в стогу. Лена счастливо хихикнула:

— Хорошо жить в большом городе!

— Шила в мешке не утаишь.

— Мы новенькие, сойдет за нашего. Еще никто про нас ничего не знает.

— А документы?

— Что ты какой-то стал осмотрительный! К тому времени, как ему получать паспорт, все поумнеют, и факт существования живого человека будет значить больше, чем документ. Скажем, что подкидыш.

Муж в сомнении наклонил голову:

— Смотри, Ленка... В нем уже, наверное, столько!.. И даже возраста его мы не сможем установить.

— Я знаю только, что раз меня разбудили, значит, именно меня предназначили для этого дела. Я его не выбирала. Я не из детдома его взяла, и нечего!

Мальчик был грязен, к одежде его тяжело было прикоснуться. По спящему изможденному лицу не понять, насколько он плох или хорош, туп или смышлен. Это все в глазах. Надо быть готовыми к тому, что не смышлен и не хорош. Неоткуда. Но тут ничего не поделаешь. Валя за стеной тоже не выбирала себе судьбу.

Муж принес раскладушку, Лена сделала постель, они раздели и уложили чумазого, укрыли тепло и, вздохнув, присели. Все это, не зажигая света. Уснуть нечего было и думать. Пробирал озноб по мере понимания, что произошло.

По улице негромко топотала «карлица», она поглядывала на фасады домов, изрешеченные сеткой слепых окон, и, поскуливая, робко взывала: «Эй!.. Эй!..» — привыкнув, впрочем, что ничего ей в этом мире не причитается. Пузырь ее силы лопнул, отняли у нее единственное создание, на котором она только и смела осуществлять конкретность своей ненависти, силы и, может быть, любви...

Они слабее всех, эти люди. У них можно отнимать невозбранно.

— Плевать мне на нее! — шепотом огрызнулась Лена, пресекая сомнения.

Долго в эту ночь они обсуждали варианты жизни. Нет, в милицию сообщать не надо. Кто-то вдруг польстится на «раскрытие» и заставит вернуть ребенка.

— Она не заявит,— неуверенно сказала Лена.— Только спасибо скажет.

— Надо еще посмотреть, как он себя поведет. Может, домой захочет.

— Даже наверняка. Он же не знает, что бывает на свете что-то другое.

— А может, и не захочет...

Просочилась, полилась под раскладушку струйка из-под новенького мальчика. Лена засмеялась и принялась готовить новую постель. Вдруг представила с болью:

— Что он за это имел каждое утро, а?

— Ну, ладно, имел и имел,— сдержал муж.— Достаточно.

Заснули под утро. Муж по будильнику ушел на работу. Лену разбудила дочка. Она трясла ее и пытала:

— Мама, это кто? Мама, это кто?

Мальчик сидел на постели и со страхом ждал, что с ним сделают. Он смотрел на Лену — на сильнейшее существо, от которого теперь зависит его жизнь.

Лена улыбнулась ему глубоко в самые глаза. Он вспугнулся.

— Сухой? Это наш новый сынок,— сказала дочке.— И к мальчику: — Будешь у нас жить? У нас хорошо.

Мальчик покорно кивнул. Лицо у него оказалось угнетенное, но не тупое. И без генетического ущерба, чего Лена боялась. Ничего. Станем жить дальше.

Время нарастает, ложится слоями, как обои на стены, прежнее закрывается так, что и рисунка не вспомнишь. Лена привыкла к сыну. Больше он не вызывает в ней чувства близкой слезы и жалости. Нормальную вызывает усталость и досаду — ну, как собственный ребенок. Чуть разве больше. Когда они — дочка и сын — едва телепают за ней из магазина, вынуждая ее то и дело оглядываться и поджидать их, она покрикивает: «Да пошевеливайтесь вы, наконец!» — ловя себя на чужих интонациях...

К плачу Валиного, за стеной, «ребенка», истребляемого болезнью, она тоже притерпелась и едва замечает его. Вой пожарных машин — она проверяла — оставляет ее спокойной. Получается, разные дни — разные Лены?

...Она боится, что когда-нибудь это произойдет: «карлица» присядет перед мальчиком на улице и со слезами скажет: «Пойдем домой!» — а она будет смотреть издали и пальцем не пошевельнет. Мальчик на нее оглянется, взыскуя решения судьбы, а она и знака не подаст. «Карлица» возьмет его за руку,— и вот уж они улепетывают, и только дочка бедственно заревет, указывая матери пальцем на совершающуюся утрату. А Лена подойдет к ней, бессильно скажет: «Не реви. Он только погостил у нас»,— и поведет ее домой, где муж так же без протеста вздохнет и утешит: «Ладно, будем думать, что она поумнела». А ночью потом Лена поплачет-поплачет — по мальчику, по себе, по «карлице» и по всем остальным бессильным на этом свете — и забудет.

«Нет! — вырывается, не дается.— Нет».

Она нарочно готовит себя на этот случай, чтобы хватило в нужный час сил не предать.

Она надеется все же, что ей не придется применять к себе силу. Ведь она уже сказала себе: мальчик — мой. Она надеется, что не сможет так легко отказаться от него.

А еще она надеется (пуще остального), что «карлица» — не посмеет. Обделенные люди отступают перед силой и ни на чем не настаивают.

Еще лучше, если «карлица» не захочет. Тогда будет уж совсем все отлично. А еще лучше — если «карлицы» вообще нет. Нет, и все. Приснилась. Примерещилась. Ведь может такое быть?

Иногда бывают дни, в конце которых Лена получает некое успокоение — как будто чью-то похвалу: «Ну, девка, славно ты сегодня пожила». Отошедший день как бы принят неведомым ОТК.

Она пытается уловить отличительные признаки, свойства этого дня, делающие его пригодным для какого-то использования (ОТК знает, для какого), но признаки неуловимы. Иногда ей кажется, что она поняла их и сможет повторить, чтобы снова получилось,— но увы...

Во всяком случае, она доподлинно установила, что дни, когда на нее не действует плач ребенка или сирена тревоги,— плохие дни, пропащие.

Так и остается неизвестен ей долг, но иногда она чувствует его исполненным. Это почти не связано с ее работой (а она больше не домохозяйка, она теперь на заводе, где ВСЕ СВОИ), и это тем более странно и заслуживает отдельного внимания.

г. Челябинск.

А БЫЛ ЛИ АБАЖУРОВ?!.

(Реплика)

«Послушайте! Ведь если звезды зажигают — значит это кому-нибудь нужно?»

Видимо, нужно — хочется согласиться с бессмертным Владимиром Владимировичем. Всегда что-то кому-нибудь нужно, ибо, как говорится, все действительное — разумно.

Все, да не все. А зло, например, напраслина, недоброжелательность, кому они нужны?! Анонимщики кому нужны?

Как бы мне хотелось поглядеть в глаза Абажурову... Семену. Ведь не прост он, ох не прост. И про архитектонику знает, и про «дантовские обобщения». А лицо закрыл. Спрятался под псевдонимом. Куснет, улыбнется, на виду попечалится за читателя и за спиной читателя спрячется.

А кому это нужно? Ему одному. Неймется анонимщику, когда у талантливого человека выходят книги. И начинается муравьиная игра, неслышнолапая, но с ядовитым жалом.

Не станем допытываться, почему именно Рудольф Ольшевский стал объектом нападения из-за шторы. Это тоже, видимо, кому-нибудь было нужно.

Итак, Семен Абажуров, человек без фамилии и без лица, препарирует стихи поэта («Книжное обозрение», 12 декабря 1986 г.). «В драматическом рассказе о своем послевоенном детстве, — пишет, издеваясь, Абажуров, — чувствуется уверенная рука мастера»:

«Весь день, озябший,
с красными руками,
С отвисшей от смущения
губой...»

(«Одна деталька, а виден весь образ»,— не унимается Абажуров.)

«Под ржавой водосточною
трубой
Сутулился над свертком
с пирогами».

Эта строфа вырвана из контекста, из живого тела стихотворения. Она действительно в таком виде странно звучит. А стихотворение само по себе прекрасное, и я не могу отказать себе в возможности его частично процитировать.

«Вернулись победители. Они
Ходили нараспашку, чтоб
медали
На пиджаках пронзительно
сверкали
В холодные и солнечные дни.
Вокруг меня скрипели сапоги
На Тираспóльской,
у пивного бара,
Я в облаке питательного пара
Стыдливо продавал им
пироги.
Мне нравились их звучные
слова.
Мне нравилось,
как по-мужски красиво
На снег они сдували пену с
пива,
Отставив локоть в сторону
едва.
Завидуя их праздничной
судьбе,
Их широте, счастливому
таланту
Любить друг друга,
Жалким коммерсантом
Я сгорбленным казался сам
себе.
Весь день, озябший,
с красными руками,
С отвисшей от смущения
губой.
Под ржавой водосточною
трубой
Сутулился над свертком
с пирогами»...

Вот откуда появились и «сгорбленность», и «красные озябшие руки»...

А Абажуров уже с маху оболгал и тяжкое послевоенное детство поэта и кольнул поэтическую интонацию.

К барьеру, Абажуров! Зажмурьтесь! Все ваши цитаты — передержки, вырванные частности из общих поэтических метафор.

В книгах Рудольфа Ольшевского есть недостатки, промахи, огрехи. Но сколько прекрасных стихотворений: «Старики», «В рыбацком поселке», «Смотритель маяка», стихи о детстве, о погибшем отце, «Ожидание», «Как зовут тебя» и др.

Рудольф Ольшевский — человек самобытный, со своим особым видением...

Я давно жду критика, который скажет поэту свое доброе: «Здравствуй!»

А тут — нá тебе — Абажуров!

Григорий ПОЖЕНЯН

Михаил ХРОМАКОВ

ПИСЬМА ИЗ РАЙКОМА

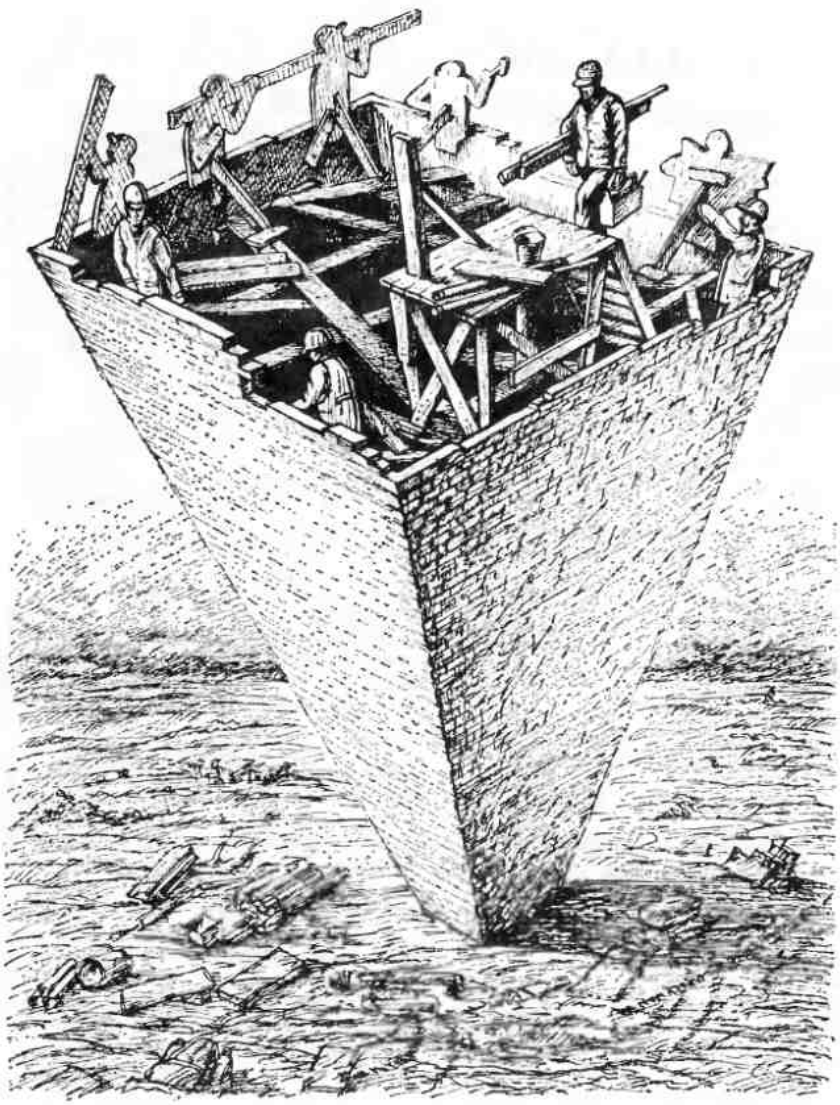


Рисунок М. Златковского.

НИКТО НЕ СКАЗАЛ «НЕТ»

Письмо, написанное в кабинете райкома

— Зовите следующего,— сказал Бакин.

Вошел следующий — на редкость синеглазый и веснушчатый мальчишка. Он держал руки за спиной и смущенно улыбался.

— Опусти руки, слышь,— громко прошипела девушка, что сидела рядом со мной в стороне от членов бюро.

— Встань ровно,— сказал Бакин.— Подойди к столу, чтобы мы тебя видели. Хорошо учишься?

— Не очень,— сказал мальчишка и стал смотреть в пол.

— Но мы надеемся, что ты исправишь положение с учебой,— сказал Бакин.— Какие вопросы у членов бюро?

Члены бюро спросили: «Что является основой комсомола? Как ты понимаешь принцип демократического централизма? Какие ордена имеет комсомол?» Мальчишка отвечал на все вопросы, было видно, что он учил, но сейчас, волнуясь, путался и спешил.

В кабинет еще долго входили четырнадцатилетние. На каждого тратили здесь от сорока секунд до полутора минут. Дверь закрывалась за одним, и тут же возникал следующий. Я вышел в коридор: стайка ребят дожидалась своей очереди. Классная руководительница суетливо перевязывала пионерский галстук с шеи уже принятого на шею еще не принятого. Процесс приема был прост, однообразен и ничем не нарушался. В секторе учета лежали наготове новенькие, пахнущие клеем комсомольские билеты.

В таком же совершенстве райком владел и другой технологией приема...

Урчит за спиной трактор. С Сережей Коняхиным мы сидим у ворот мастерской.

— Ну, пришли, значит, в военкомат,— рассказывает он.— Спрашивают на комиссии: комсомолец? Нет. Вынули фотокарточку из личного дела: иди вступай, знаешь, где райком? Ну, значит, пришел, говорю: где тут вступать?

— Ты один был?

— Нет. Были еще те, которых раньше посылали. И Генка Третьяков со мной пришел. Значит, дали нам листочки и продиктовали чего-то такое: хочу быть в первых рядах... Ну, наклеили фото и дали билеты.

Окончание.
Начало см. в № 1 за 1987 г.

— Много это заняло времени?

— Минут пятнадцать так.

— Спрашивали вас о чем-нибудь?

— Да. Спросили, есть ли пятьдесят копеек? За билет платить.

— Кто у вас комсомольский секретарь в совхозе?

— Кто-то есть,— пожимает плечами Сережа и оглядывается на свой трактор.— Ну, я пойду, а?

После разговора с Сережей Коняхиным я стал всюду прихватывать с собой список рабочей молодежи, принятой в комсомол за два последних года. «Нет,— отвечали мне комсомольцы,— такого собрания не было, чтоб принимали Сашку Баландина в комсомол». «Нет,— открещивался «рекомендатель».— Гурова я не рекомендовал. С чего ради?!»

— Ну, а откуда это берется? — рассматриваю я анкету Саши Гулаева, чей комсомольский билет я извлек из печки. Анкета — фамилии и подписи рекомендующих, даты собраний, решение комитета, решение бюро райкома — ни слова правды!

Катя Клюева, заведующая сектором учета, отводит глаза:

— Мы только в экстренных случаях.

Что это за случаи, когда райком исполняет роль «скорой помощи» при скоропостижном вступлении в комсомол?

— На призывной комиссии,— объясняет второй секретарь,— мы отбираем некомсомольцев, приводим в райком. Усаживаем читать Устав. Пока они читают, мы их оформляем.

— Тебя не коробила эта процедура?

— Это было в порядке вещей.

Кому нужны фальшивые комсомольцы?

— А цифра? — поднимает брови Бакин.— Мы должны принять в год 106—107 человек из числа рабочей молодежи.

— Кому должны? — не понимаю я.

— Мы перед обкомом отчитываемся.

Разговаривая со мной, Бакин проглядывает бумаги, лежащие на столе, берет булавку (ими пользуются в райкоме взамен скрепок, потому что скрепки все извели) и протыкает в уголке листочки отчета, губы его при этом кривятся, как у коллекционера, накалывающего на булавку сухую бабочку.

В эти душные дни, мотаясь по району, отыскивая людей, листая папки протоколов, всяческих ведомостей и вновь гоняя машину по пыльным проселкам, я никак не мог отделаться от впечатления, что занимаюсь чем-то сухим и тусклым, лишенным живых соков. Это впечатление особенно усиливалось в райкоме, среди конторских столов, напичканных бумагами и бланками, с витающей в воздухе канцелярской терминологией, от которой вяли цветы: «пустограф», «статотчет», «ликвидация задолженности», «выбывшие без снятия с учета»...

Командировка подходила к концу, а в записной книжке росло и росло число фальшивых комсомольских билетов: 14, 26, 33, 41... Точку в подсчетах поставил заворг Сергей Андросов:

— Из двухсот рабочих и колхозников припоминаю только четверых, что стояли перед нами на бюро. Остальным мы выдали комсомольские билеты, хотя никто их в комсомол не принимал.

Зная «технологию», я уж было договорился с одним парнишкой, чтобы он, человек совершенно посторонний, зашел в райком и через пятнадцать минут вышел оттуда с комсомольским билетом. К сожалению, был не сезон, эксперимент пришлось отложить, но я проконсультировался в секторе учета, могли ли они принять в комсомол любого человека с улицы? Девушки подумали и сказали: «Наверное, нет. Мы же смотрим, чтоб не шалопай какой-нибудь, чтоб прилично одет был».

И все-таки гораздо больше, чем дутые цифры, меня тревожили сами работники райкома, молодые люди с партийными и комсомольскими билетами в кармане, которые изо дня в день плодили разного сорта фальшь. Спокойно, без смятения в душе подделывали подписи, отчитывались за неосуществленное, врали сами и потворствовали чужому вранью, занимались подлогом и легко мирились с ним... Под всем этим ставил подпись первый секретарь райкома Бакин, заверяя своим авторитетом и положением, что написанное — чистая правда. Никто не восстал против, не возмутился, не стукнул кулаком по столу, никто не сказал «нет». Вот что не мог я понять.

— У меня покладистый характер,— объясняет Катя Клюева.

Не в этом ли дело? «Покладистый характер» стал с некоторых пор стилем поведения, таким же, как некогда непримиримая принципиальность. «Покладистый характер» давал несомненную фору ершистой непокладистости: ты прощаешь многое другим, за то и они многое простят тебе. Ты не упрекаешь товарищей в подлоге, но ведь и тебе, если ты промолчишь, от того пирога отрежут кусок. Ты в наши недостатки не тыкай пальцем, и мы тебя в трудную минуту не оставим. И тут уже трудно разобраться, где покладистый характер, где взаимовыгодная беспринципность...

Многое сходило райкому с рук, поскольку каждый был чем-то Бакину обязан. Почему, скажем, секретарь профтехучилища Надя Прокудина покрывает то, что солидная часть ее комсомольцев не имеет к профтехучилищу никакого отношения или вообще отсутствует? Любови Викторовне Поповой, например, чье местонахождение райкому неведомо, двадцать семь лет. Прошу прощения, Люба, что называю Ваш возраст, но речь идет о серьезном деле. Вам самой будет небезынтересно узнать, что Вы числитесь пятнадцатилетней учащейся профтехучилища и что из своей десятирублевой стипендии Вы исправно платите две копейки взносов... Люба из той тысячи «без вести выбывших», которых райком, покрывая «недостачу», расфасовал по всем «первичкам». У Прокудиной таких много потому, что райком ей обязан платить зарплату освобожденного секретаря только в том случае, если комсомольцев в училище больше сотни. Было такое положение. Надя, как говорится, в упор не замечала «мертвых душ», а райком за ее покладистость выплачивал ей ежемесячно 115 рублей *. За эту сумму Надя Прокудина молчала, послушно составляя фальшивые «разноски» и покрывая прочий подлог.

Молчала Нина Зобнина, комсомольский секретарь совхоза «Большевик», не раскрывая — не дай бог! — никому секрета, что большая часть ее комсомольцев — шабашники, зарабатывающие на кирпичном промысле по нескольку тысяч за сезон. Они уже и не помнили, куда задевали свои комсомольские билеты. Нина по той же самой причине, что и Прокудина, числила их «временно не работающими», «разнося» взносы и на них **.

Молчал второй секретарь Кадомский, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, возиться с ребятишками, приучать их к спорту.

Молчал заворг Андросов, потому, что числился за ним серьезный проступок.

Молчала Галя Киселева, секретарь по школам. Чего ради портить отношения с Бакиным, который по-

---

* Два месяца назад я опять заглянул к старым знакомым в профтехучилище. Вместе с завучем Марьей Ивановной мы перелистали и списки, и книги приказов, и даже списки предыдущих выпусков, но опять не нашли многих комсомольцев, кто якобы набирается ума-разума в стенах училища. Ни Светланы Беззубцевой, ни Федора Сотирнади, ни Валерия Чернова, ни Толстова, ни Сычева, ни Кулакова, ни многих других. К поискам подключился сам Лев Николаевич, секретарь парторганизации. Ищут-поищут, найти не могут. Нет таких комсомольцев, и все тут! «Странно! — сказали наконец Марья Ивановна и Лев Николаевич.— Просто чудеса».

** Я уточнил: те, кто подается на «кирпич», имеют восемь — десять тысяч в год. Процветает в Атмановом угле и Вихляйке еще грибной промысел: осенью собирай и суши, зимой — продавай. Вон стоят они по московским подземным переходам с грибными ниточками в руках,— заработок шесть—восемь тысяч в сезон. Да и сама разодетая Вихляйка, с золотыми перстнями на пальцах, с домами-хоромами, с мотоциклами у каждого мальчишки говорит сама за себя. Из 114 комсомольцев только 32 работают в совхозе. Остальные были комсомольцами-призраками, грибниками да шабашниками. Нынешний комсомольский секретарь их в глаза не видела, только вносила каждый месяц за них полтора рубля, чтобы хватило расписать — по две копейки на всех «временно не работающих».

том невесть что наговорит про тебя в райкоме партии и обкоме комсомола.

Молчала и Оля Копылова, статист. Куда в маленьком городе устроишься на работу с ребенком?

Молчали другие...

И с общего молчаливого согласия творились в райкоме «чудеса».

Машу Матрохину, работника нарсуда, приняли в комсомол дважды: в декабре и еще раз — для надежности? — в феврале.

Бесследно растворялись в небытии одни комсомольцы, из ниоткуда возникали другие.

В числе «чудес» и комсомольские билеты, послужившие растопкой. Билеты были фальшью, и «комсомольцы» не пожелали являться за ними. Куда девать их? В печку!..

— До меня еще хуже было,— оправдывается Бакин.— От предшественника осталась пачка невыданных билетов. Часть владельцев нашли. Остальные комсомольские билеты я распорядился сжечь.

Так он начал.

В одном из совхозов директором клуба был пьющий без просыха комсомолец. Я спросил Бакина, что конкретно он сделал, чтобы этого горе-директора сменили. Первый секретарь ответил потупив взор: «Я молчу. Чего зря с отделом культуры спорить?»

Молчал первый секретарь райкома Бакин, свято исповедуя свой краеугольный принцип: «Не высовываться!» Не было ничего, за что он бы яростно боролся, что отстаивал бы с истовой убежденностью в правоте, ничего, что он за эти годы изменил в жизни районной организации; не было ничего, за что бы он радел... Единственным его желанием было «пересидеть без проколов» на этом посту и дождаться, когда его двинут дальше по номенклатурной лестнице. Он так незатейливо сливался с окружающей средой, что я невольно вспомнил о мимикрии, способе с пользой для себя существовать, никому не мозоля глаза своей окраской. И вполне можно было бы с известной долей снисходительности простить ему эти «молчалинские» навыки, если бы речь не шла о человеке, от энергии, воли, цельности натуры и убежденности которого зависела жизнедеятельность комсомольской организации крупного района области.

Мы лежим с Виктором Галаховым в посадках и, закусив травинки, смотрим в небо. Над нами прошелестывают березы, а еще выше ходят грозовые тучи. Хоть бы одна из туч выронила воду на жесткую землю... Люди пытаются поить землю из глубоких скважин. Радуги «дождевалок» стоят над озимыми и яровыми, но хлеба́ все равно начали смертельно рано желтеть.

Виктор Галахов был комсомольским секретарем в совхозе «Верхнеярославский». Он говорит:

— У меня натура такая: не могу упрашивать: «Ну что тебе, жалко, что ли, тридцать копеек». Ходишь как глупо́й!

Виктор произносит слово «глупой» с ударением на последнем слоге, срывает травинку и начинает рассказывать, как начиналась его секретарская биография:

— Каксе там «избрали»... Месяцев пять никого не было. Меня назначили: ты будешь. Собрания никакого не было, но мы с Володей написали протокол, что собрание было. А комсомольцы узнали, как я за взносами стал подходить. Сначала пытался хоть собрание провести. Повестки рассылал. Представляешь — не идет никто! Бакин меня учит: проводилось, не проводилось — это другой разговор, ты главное — пиши. Я говорю: нет, так не могу. Он сразу ко мне по-другому стал относиться.

— Ты про собрание хотел рассказать,— напоминаю я собеседнику.

— Что рассказывать... Серафим Андреевич, парторг наш, дал мне свой отчетный доклад. Я поправил там коммунистов на комсомольцев, начало не изменял, где про пленум. С первого захода никто на собрание не пришел. Бакин приехал, час ждал, маялся — никто. Второй раз директор сказал: кто не пойдет, по административной линии накажем. Он мужик у нас волевой...

— А Бакин — требовательный секретарь?

— Требовательный,— соглашается Виктор и поясняет: — то яблок требует, мне самому директор столько не дает, сколько он требует, то клубники, звонит, нарви, то рыбалку подготовь, комиссия едет. Ну, а едва я заартачился, меня хлоп — и переизбрали, ведь есть за что.

«Член ВЛКСМ имеет право: ...в) критиковать на комсомольских собраниях, конференциях, съездах, пленумах любого комсомольца, а также любой комсомольский орган. Лица, виновные в зажиме критики и преследовании за критику, должны привлекаться к строгой комсомольской ответственности».

Это я выписал из Устава комсомола.

Насколько мне известно, ни один из 4573 членов ВЛКСМ Сосновской районной организации, как бы убого на его глазах ни разворачивалась комсомольская жизнь, не воспользовался правом на критику.

— Всю нашу работу мы строим с учетом критических замечаний, высказанных комсомольцами в ходе отчетно-выборной кампании,— вещал с трибуны первый секретарь.

— Что конкретно вы учли? — заинтересовался я.

— Зачем сводить к частностям? — сказал Бакин.— Я вообще говорю.

«Иногда так и хочется сказать: «Ребята! Да что ж мы такое делаем!? Неужели мы сами себя не уважаем?» И дальше напрямик обо всем. Но кому и где мне это говорить?» — сетовала Люба Пришвина.

Кому и где? С чьей-то легкой руки отчетно-выборные конференции превратились в срежиссированные без запинки концерты, с приветствиями пионеров, аплодисментами, скрупулезно отредактированными выступлениями... Все это называется «подготовить конференцию». Сколько раз я видел, как подбирали к тексту оратора позвончей: не что прочел, а как прочел! Нет, Люба Пришвина была бы здесь некстати.

Но и пленумы — те же ораторы, те же редактированные бумажки, те же речи, написанные едва ли не под копирку... Быть может, бюро райкома? Вот где может пойти жесткий, откровенный разговор. На том бюро, с рассказа о котором я начал это письмо, поднялась пионервожатая одной из школ и сказала: «Есть мальчишки, которые не хотят готовиться в комсомол». «Плохо работаете!» — одернул ее Бакин. И заседание бюро потекло дальше...

На этом же бюро Сергея Андросова освободили от обязанностей заворга. Его третье заявление «Прошу уволить меня по собственному желанию» было наконец удовлетворено. Первое заявление он написал два года назад, после того, как при отправке комсомольского отряда, выпив, подрался с представителем обкома комсомола. Остальные подавал по мере того, как накалялись отношения с Бакиным.

Говорим с Андросовым на площади перед райкомом.

— Поступил в райком, думал: вот центр молодежной жизни, азарт, горящие глаза, убежденность, а вышло — бумаги, вранье, и никакой мы не центр... А я так думаю: чем менее человек врет, тем более он — человек. Не хочу участвовать в спектакле. Прощай!

Сергей нажал сильными ногами педали и покатил на велосипеде по узкой аллейке. Я смотрел ему вслед. Мелькали на майке солнечные зайчики, пролетавшие сквозь листву, и легкие сверкающие колеса уносили его все дальше и дальше от райкома... «Ты прав, Сергей,— думал я.— Из райкома тебя «уволили», конечно, за дело, но ты прав в другом. Комсомол, как ты верно сказал, вырос не из арифметики. Да, не из арифметики, а из категорий нравственного порядка, и там, где люди заняты воспитанием, нужно говорить не о количестве запланированных и проведенных мероприятий, не о взносах и охвате, не об учете и статотчетах, а о смысле жизни и понимании счастья, об умении жить, о правде и правоте, обо всем том, что составляет человеческую личность, об

умении быть гражданином своей страны и отстаивать ее идеалы. Парадокс состоял в том, что у райкома, по сути, были именно такие задачи и райком не ведал безделья.

Райком работал. И работал напряженно. Он исправно откликался на поступающие звонки и приходящие бумаги. Сам производил бумаги, иллюстрирующие его работу. Бывали в райкоме такие «запарки», что работать приходилось без выходных. И незаметно райком стал уподобляться обыкновенной конторе. Биологи говорят в таких случаях: произошла мутация. Райком мутировал из одного состояния (необходимого нам) в иное (категорически нам не нужное).

Подведем здесь черту и подытожим впечатления.

НАДО ЛИ «БРОСАТЬ КЛИЧ»?

Письмо, в котором автор пробует делать выводы

Есть такая сценка в одном из памятников отечественного кинематографа. После шумного митинга, посвященного отплытию, пароход не может тронуться с места. Растерянный механик объясняет разгневанному начальству: «А весь пар в гудок ушел...» Вопрос в том, как повысить кпд райкома? Чтобы энтузиазм работников шел не в «гудок», а производил полезное действие?

КЕСАРЮ — КЕСАРЕВО

— Дискотека? — поднял брови заведующий отделом культуры Сосновского райисполкома.— Ерунда. Мода. Но одну сделали.

Ивану Григорьевичу Гордееву под шестьдесят. «Я с 48-го года сижу на культуре. Другой работы не знаю»,— говорит он.

— Какая сейчас самая популярная музыка у молодежи?

— Та популярна,— отвечал он,— что согласно рекомендованного списка.

— Как изменились за ваши четыре десятилетия заведования районной культурой формы работы с молодежью?

Тяжело задумывается Иван Григорьевич, оставляя вопрос без ответа. Спрашиваю об этом, поскольку в руках Гордеева культура, искусство, досуг — т. е. один из самых прямых проводов связи с молодежью, и, значит, деятельность Ивана Григорьевича нельзя вычленить из круга проблем комсомольского райкома.

Вспоминаю, как воскресным вечером мы заглянули в леволамский клуб. В зашарпанном, грязном фойе под тусклой лампочкой топтались ребята и девчонки. На раздрипанной радиоле крутились мини-пластинки, музыкальные приветы из киоска звукозаписи.

— Как же без баяна?! — сетовал Иван Григорьевич, что не может третий год подобрать замену спившемуся директору клуба. По его мнению, директор должен быть непременно баянистом.

— А, может, прежде всего он должен быть прекрасным организатором? — спросил я.— Тогда и баяниста сам найдет. Кстати, наверное, можно без баяна?

— Мы решаем этот вопрос,— ответил заведующий культурой.— Недавно на семинаре мы изучали возможности применения в сфере досуга новых технических средств, например, магнитофона.

В райисполкоме развели руками: «Пусть уж досидит до пенсии...» Но если мы будем объективны, то не так уж сложно понять, что персональная пенсия — личное дело Гордеева, а работа с молодежью — государственное, и упускать молодежь из-за пенсии Ивана Григорьевича нам никак нельзя *.

* Через год я побывал здесь снова. Гордеев ушел на пенсию, но с руководящим креслом не расстался. Я приехал еще через год. Иван Григорьевич по-прежнему цепко «держал» кресло в своих руках. Местная печать периодически публиковала жутковатые отчеты о рейдах по сельским домам культуры. Гордеев молча проглатывал публикации и сидел. Секретарь райкома партии Октябрина Ивановна Шинкина, курирующая кадры, по-соседски твердо поддерживала его: «Он же заслуженный работник культуры. За так звание не дают».

На каких же лаврах почивает заслуженный работник культуры Иван Григорьевич? На той же самой «липе». В его отчетах поражают воображение цифры: при клубе села Н. Грязное работают 8 кружков. Проведено 68 (!) молодежных балов. Лекции посетило 5 тысяч (!) человек. И т. д., и т. п. Ай-ай, как нехорошо, уважаемый Иван Григорьевич! Не было ведь ни балов, ни кружков, ни тысяч...

Тут легко отмахнуться и сказать: деятельность отдела культуры сегодня не предмет нашего разговора. Но если мы хотим понять, почему в Сосновском райкоме создалась чрезвычайная ситуация, то не вправе рассматривать райком в отрыве от тех, кто равно заинтересованно должен заниматься с молодежью в клубах, домах культуры, спортивных залах. И если второй секретарь девять десятых своего времени, забросив прямые обязанности, употребляет на организацию соревнований и турниров, вина в том не его — это лишь свидетельство, что в районном добровольном спортивном обществе «Урожай», обязанном организовывать все эти турниры, соревнования, слеты, еще какой-нибудь «хороший человек» высиживает пенсию. Совсем неверно валить всю вину за упущения в работе с молодежью на один лишь комсомольский райком. Не честнее ли мы поступим, если оставим кесарям — кесарево, а райкому — райкомовское?

ПЕРЕВЕРНУТАЯ ПИРАМИДА

Держу в руках план, принятый районной комсомольской конференцией. В нем 100 пунктов. Каждый пленум добавлял еще двадцать. Всего набегало около трехсот обязательных к исполнению пунктов в промежутках между конференциями. Плюс постановления бюро. Плюс задания сверху. При конечном количестве сил и бесконечном числе задач «всё» превращается в «ничего», ибо времени и энергии на реализацию какой-нибудь конкретной задачи достается с мышкин хвост. Зуд во всем поучаствовать, может быть, и похвален, но сейчас мы говорим о дублировании райкомом чужих задач.

Помечаю в блокноте: приходит в райком серьезная бумага, в которой «предлагается перенять опыт такой-то комсомольской организации по участию в контроле за качеством продукции», по сути, взять на себя часть обязанностей ОТК. Через неделю — другая бумага: «предлагается распространить у себя опыт такой-то комсомольской организации по рациональному использованию производственных площадей». Насколько смыслю, это уже из круга обязанностей главного инженера.

За что критиковали Сосновский райком на последней областной комсомольской конференции? За развал комсомольской работы? За вранье, за подделку документов? За то, что комсомольцы не ходят на собрания, не платят взносов? Нет. Критиковали за другое. Цитирую: «Следует осудить позиции отдельных комсомольских комитетов в участии перевода земледелия на научную основу. Особенно плохо в Сосновском райкоме поставлена работа по повышению плодородия почв. Здесь на гектар пашни вносится органических удобрений в полтора-два раза меньше, чем в среднем по области. Исключительно высока засоренность полей». Отчитали с высокой трибуны за то, что райком не выступает в роли агронома!

Важны ли для нас качественная продукция, разумное отношение к производственным площадям, научный подход к земледелию? Несомненно. И роль комсомола здесь вряд ли можно преуменьшить: молодые люди стоят у станков, занимаются наукой, трудятся в поле. Но означает ли это, что райком должен браться за решение задач экономических, инженерных, агрономических и т. д.? Разумно ли дробить на переоборудование станков, распыление гербицидов и трансплантацию органов главную задачу райкома? Перед комсомолом она была четко поставлена Лениным шестьдесят шесть лет назад: «Задача Союза молодежи — поставить свою практическую деятельность так, чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь,

борясь, эта молодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней видит вождя, чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали». А значит, не принимать специальное постановление по каждой профессии — их-то тысячи! — а добиваться лишь одного: чтобы каждый комсомолец болел за дело, которым занят. Тогда не райком будет требовать «повышения плодородия почв». Наоборот — комсомольцы будут требовать от райкома поддержки в борьбе с теми, кто мешает повышать плодородие. Если же этого не происходит, значит, что-то разладилось в комсомольском механизме.

Нескольким человекам, представляющим собой районный комсомольский комитет, естественно, не под силу имитировать инициативу на всем множестве направлений, где трудится молодежь.

Пирамида перевернулась, потому что рассыпался фундамент — первичная организация. Поэтому райком и не знает, за какой из четырехсот сочиненных пунктов хвататься в первую очередь.

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Главный принцип жизнеспособности системы — принцип обратной связи. Он заложен во всех живых системах без исключения. Если вы, скажем, случайно сунете руку в огонь, вам сразу будет «сообщено»: руке горячо, опасная температура! А представьте, если ваша периферийная нервная система доложит центральной: решение сунуть руку в огонь горячо одобряем и поддерживаем, все пальцы, как один, успешно справляются с повышенными температурами...

Огрубим ситуацию: существует идеологический фронт и существует райком комсомола как идеологический штаб, обязанный развивать наступление по этому фронту. Наступления нет, войска дремлют, кой-где уж отступили, а штаб по-прежнему бодро докладывает: успешно движемся в таком-то направлении, последовательно ведем борьбу с такими-то негативными проявлениями. Что из этого в конце концов получится? Либо полная дискредитация штаба, либо проигрыш на фронте... Понятно, что в реальных условиях такого штабиста, рискнувшего дезинформировать начальство, немедленно бы разжаловали, если не хуже. Не припомню ни одного случая, когда кого-либо из работников аппарата какого-нибудь райкома разжаловали за то, что он передал «липу» по инстанциям. Хотя могу привести примеры противоположные, когда наказывали как раз тех, кто отказывался врать.

До чего ж мы дожили, если требуется какое-то особое мужество, чтобы называть вещи своими именами?!

В блокнотах у меня выписка из протокола заседания бюро комсомольского райкома соседней области. Речь шла об одном из колхозов, где за два года **ни один** комсомолец не пошел работать в животноводство. Что постановило бюро? Вот что: «Комитет комсомола колхоза «Мичуринец» проделал определенную (нет, неискоренима любовь к этому слову!) работу по направлению молодежи в животноводство. Бюро постановило: опыт работы комитета комсомола колхоза «Мичуринец» по направлению юношей и девушек в общественное животноводство — одобрить». Остается только зазвучать фанфарам...

Может, думали, что райком закроют, если бездельников назвать бездельниками?

Вот Бакин горячо рапортует из Сосновки, что с птицефабрики работают на севе 29 комсомольцев, один молодежный агрегат и два комсомольско-молодежных коллектива. Обком суммирует рапорт Бакина с рапортами других районов и передает выше. Бакин, мягко говоря, ввел обком в заблуждение. Не было ни комсомольско-молодежных коллективов, ни молодежных агрегатов, да и комсомольцев на севе не три десятка, а всего шестеро. Ложь! Но птички-цифры улетели и где-то собрались в могучие стаи... Кому польза от этой лжи? Колхозу? Комсомолу? Нам? Кому польза? Тому единственному, кто сознательно лицемерит, выдавая желаемое за действительное: и кресло под ним не качнется, и вышестоящий не посмотрит на него, нижестоящего, косо, а то и похвалит за «хорошие показатели». Медынский называл таких «рыцарями казенного патриотизма». Но, если трезво оценивать, не находятся ли эти «рыцари» в положении куда более выгодном, нежели принципиальный человек, не имеют ли они преимущества в продвижении вверх по номенклатурной лестнице? Имеют. Даже сейчас, после партийного съезда, когда особенно хорошо ясно, что надо выдвигать таких, кто активно борется с недостатками, а не тех, кто успешно скрывает истинное положение дел.

Может, «рыцарей цифры» можно поставить на место, изменив саму форму отчетности? Суть перестройки в экономике «...в перенесении центра внимания с количественных показателей на качество и эффективность, с промежуточных — на конечные результаты». Почему с такой же мерой не подойти к комсомольской работе? Ведь многое в комсомоле нацелено на промежуточные результаты, которые всегда необыкновенно хороши: всевозможные «охваты» и т. д.

Но опять мы возвратились к цифрам — разве они могут сказать, что волнует вот этих девчонок с ткацкой фабрики, чем живут вон те ребята из дальнего совхоза?

— Когда вы говорили последний раз с комсомольцами без «свиты», без белой «Волги» в отдалении, не под строгим взглядом председателя, а так, просто, с глазу на глаз? — спросил я Алексея Волостных. Первый секретарь обкома не припомнил.

Почему для надежной обратной связи не использовать главный провод — серьезный и прямой разговор с комсомольцами? Я не о конференциях. А о простой встрече с комсомольцами. С активом встречи часты, а почему бы не собрать хоть раз худших комсомольцев, не совсем уж неисправимых, тех, на кого давно рукой махнули, не каких-либо там бездельников и пропойц — умного от них ничего не дождешься. Собрать честных, работящих парней, но которые, как сказал один из них, «ничего от комсомола не видят, кроме рубля взносов в месяц». Сесть бы секретарю обкома и поговорить с ними по душам, один на один, не как официальному лицу, а просто как человеку, болеющему за комсомольское дело. Поговорить начистоту, без регламента, выяснить все, что так необходимо выяснить, понять мысли и настроения этих ребят. И не бояться их прямых вопросов и честных ответов. Ведь нам самим это позарез нужно: честность, правда и прямота.

ПУТЕВКА В «ПЕРВИЧКУ»

И, может быть, самым странным было то, что за дни моей командировки ни один человек не перешагнул этот порог, чтобы поделиться бедой, посоветоваться о своей судьбе. Двери райкома были дверь в дверь с загсом, и никто из тех, кто прикатывал на машинах в ленточках и шариках, не заглянул сюда на секунду: «Ребята, поздравьте, женюсь!» Ну, ладно, праздники и беды не так уж часты в нашей жизни. Но никто не пришел сюда и по будничным делам, которые нам порой кажутся важнее личных бед и личных праздников.

Причин, видимо, было две. Первая заключалась в том, что область деятельности Сосновского райкома комсомола лежала в стороне от области жизни молодого человека. И путей сообщения между этими областями было проложено крайне мало. Этого «отдельно взятого» современного молодого человека деятельность райкома попросту не интересовала, поскольку никакого существенного влияния на его жизнь она не оказывала. Райком жил своими заботами, комсомолец — своими.

На полевом стане разговариваю с парнем, у которого второй месяц простаивает трактор. Он покуривает, присев на гусеницу своей машины. Руки его в черном нигроле словно в лайковых перчатках, поэтому он курит, зажав чинарик между мизинцем и большим пальцем: «Работаю себе и работаю. При чем здесь комсомол? У них одно лишь в голове: на собрание заловить и взносы стрясти. А у меня забот полон

рот. Хоть бы раз наш секретарь подошел, спросил, чем тебе, Федя, помочь? Я понимаю, что она — девчонка, что в технике не сечет, что в конторе сидит, что ее директор и слушать не будет, но мы-то — союз молодежи, мы-то, по идее, сила. Я на собрании это говорю, а мне шумку́ют, вылез со своим трактором, тут не планерка, посмеялись, на том и все. Фикция, а не собрание. Вот на то, чтобы языком молоть, у меня времени никогда не будет, пусть секретарь этим занимается, ей за это деньги платят».

Разными они были, мои собеседники, и по возрасту, и по складу мышления, и только из профтехучилища, и давно обросшие семьями, разными они были, но забот хватало у всех. Пустых людей я вообще мало встречал. Они молоды были, но заботы были большими и тревоги — большими, серьезными, сложными; они охотно делились ими, советовались. К сожалению, я не очень много смыслил в продлении межремонтного срока трактора и в закладке ленточного фундамента и не мог ответить на вопрос, как быть с музыкальной школой, если у дочки талант. Но, выслушав, я всякий раз спрашивал: «Почему ты не обратился в райком комсомола? Помогли бы...» Отвечали примерно одинаково: «В райком? А что райком может?»

В Сосновский райком сосновские комсомольцы не шли, потому что райком не был для них авторитетом. Не был единомышленником, а выглядел в их глазах некой официальной организацией, от которой они в чем-то были зависимы, и не более того. Сам райком о своем авторитете не пекся, считая его таким же естественным атрибутом, как вывеска на фасаде. Авторитет, конечно, дело наживное, но никто в райкоме не попытался этот авторитет нажить, добившись, например, чтобы у комсомольца Феди пошел трактор, «выбить» ему запчасть, доказать лично Феде, что райком может многое, чтобы вырасти в Фединых глазах, чтобы тот понял, какой значительный вес имеет комсомольский райком. Или попробовать вмешаться в конфликт между комсомольцем и директором совхоза, сумев отстоять правоту комсомольца. Или защитить бескомпромиссный, въедливый «Комсомольский прожектор», поставить его так, чтобы он был вездесущ, чтобы этот маленький честный Прожектор уважали бы не меньше, чем большой «Крокодил».

Авторитет райкома в том, как он болеет за своих комсомольцев и за их дело.

Для этого он должен заниматься не только учетками, взносами, выбывшими и пр.

А, скорее, вовсе не учетками, взносами, выбывшими и пр.

Это дело десятое.

Первое же дело — жить проблемами молодежи. Вникать в них. Отстаивать интересы своих комсомольцев. Быть для них высокой и полномочной инстанцией, куда можно прийти и с личным делом и с государственным. Где всегда ждут, чтобы помочь.

Пишу эти строки, и вновь перед моими глазами суетящийся райком, замотанный до предела Слава Кадомский, сектор учета, творящий и хранящий за обитой жестью дверью «липу» всех сортов, занятый своими личными проблемами Бакин,—и представляю, как входит в эти двери какой-нибудь паренек. Нет, не до него сейчас... Ну и правильно, что не до него, скажет профессиональный комсомольский работник, не в райком должен идти комсомолец, а к своему секретарю. Ибо он, секретарь «первички»,— полпред райкома. Так должно быть.

Беседую с двумя парнишками, оставшимися после школы механизаторами. Только что они подали заявления об увольнении. «Стыдно зарабатывать по 25 рублей в месяц,— объясняли они.— Если стоим на ремонте, то бухгалтерия больше не может начислить. Третий месяц. Стыдно такие деньги приносить». Нашелся бы выход из положения? Конечно, если бы комитет комсомола волновало: останутся эти ребята или нет? Можно и директора уломать, и с бухгалтерией разобраться, да и с запчастями тоже. Ведь союз молодежи — как абсолютно верно заметил тракторист Федя — это сила.

Редко, очень редко я встречал руководителя, умно и серьезно поддерживающего комсомольского секретаря, выслушивающего прежде всего его мнение на планерке и на парткоме, старающегося, чтобы молодежь заметила: он, администратор, прислушивается к голосу комсомольского вожака. На деле все не так. Учитывают ли мнение комсомольского секретаря при распределении путевок, при распределении квартир, при выдаче премий? Нет. Ну, а при распределении новой техники? Стремятся ли дать комсомольскому активисту новую машину? Нет. Прошу в райкоме: покажите мне хоть одного секретаря «первички», который отстоял бы интересы своего комсомольца? Кадомский вздыхает: «Меня, второго секретаря райкома, не принимают всерьез. А что может секретарь «первички»?»

В пятый, в десятый раз слышу эту фразу. Безнадежная убежденность в бессилии секретарей первичных организаций решать какие-либо практические вопросы?.. В райкоме сетуют: да, совсем не умеют работать... Конечно, надо учить работать, но и надо требовать Работу, а не регулярность поставления сводных отчетов. И главное, подбирать комсомольских секретарей по духу, а не по букве. Расспрашивал както в соседней Орловской области девушку, комсомольского секретаря школы: «Как ты могла стоять рядом, когда твои комсомольцы совершали гнусное преступление? — спрашивал я.— Почему ты не остановила их? Какой же ты комсомольский секретарь после этого?» «Я хорошо учусь, почти лучше всех учусь,— ответила она,— поэтому и секретарь».

Увы, по букве, а не по духу...

Чем живет «первичка», тем живет и наш большой комсомол. В этом комсомольском механизме взаимодействующих, передаточных, нагрузочных, промежуточных, параллельных и последовательных звеньев и шестеренок «первичка» — самое, к сожалению, слабое звено.

И самое важное.

Это передний край комсомольской работы.

Секретари первичных организаций, по сути, идеологические работники переднего края. С них особый спрос. На них особая ответственность. Им — особые полномочия: они работают среди молодежи — непосредственно. Самый трудный участок. Для работы на этом участке надо искать особых людей по складу характера и убежденности. А не просто «человека на должность методиста по спорту».

Вручаем комсомольские путевки на дальние стройки. Но, может, настало время направить лучших комсомольцев на этот передний край — в первичную комсомольскую организацию? Чтобы наконец задвигалась, запульсировала, зашумела комсомольская жизнь не только в комсомольских кабинетах.

Комсомольская путевка — в комсомольскую «первичку»! Вот с этого, может, и начать? Кто откликнется? Кто готов?

О БЛАГОДУШИИ

— Гарантирую,— сказал первый секретарь Тамбовского обкома комсомола Алексей Волостных,— что за последние годы «через военкомат» не было принято ни одного комсомольца.

Секретарь, наверное, не кривил душой и действительно ничего не знал о сотнях фальшивых комсомольских билетов, выданных в обход всех уставных норм *. Смешно было предположить, что райком, передав цифру принятых в комсомол, укажет в скобочках «из них, вопреки требованиям Устава ВЛКСМ, выдано комс. билетов — ...шт». Но удивляла удаленность от насущных бед райкома, не говоря уж о том, что между реальной жизнью «первички» и обкомом лежала дистанция огромного размера.

Эта дистанция называлась благодушием.

Считалось, что если ровен поток взносов, ровен по-

* Здесь автор ошибся, в чем приносит извинения читателю и лично самому Алексею Ивановичу Волостных, ныне выдвинутому на профсоюзную работу. Как выяснилось, Алексей Иванович всю эту механику знал до тонкостей, ибо в свое время работал в Жердевском райкоме комсомола, и там, как удалось проверить, осуществлял то самое, за что теперь критиковал других.

ток вступающих, то поводов для волнений нет. Однако даже свежая струя вступающих в комсомол четырнадцатилетних, нескончаемая, как струя из крана, была не так прекрасна. Сюда тоже проникла ржавчина количества». И вот я снова отправляюсь на окраину района, в деревню Христофоровку, где только что принятый в комсомол восьмиклассник совершил преступление. Или, наоборот, встречаюсь с пареньком, который побывал в вытрезвителе, а через четыре дня его приняли в комсомол. Или иные встречи... Тревожные предупреждающие звонки — вот чем должны быть эти случаи для обкома, для райкома.

Но зря я искал в Сосновке персональное дело комсомольца, вернувшегося из медвытрезвителя. Зато встретил условно осужденных, которые так и остались комсомольцами. Да и так ли хорошо знали их, осужденных? В Котовске я потратил полдня, чтобы в горкоме смогли хоть что-либо выяснить о семерых только что осужденных подростках, узнать, что произошло, за что осудили.

Поводов для тревоги обкому являлось хоть отбавляй. Но врожденное благодушие позволяло сохранять нервы и хороший аппетит.

В областной молодежной газете я просмотрел почту, поступившую за год в редакцию из Сосновского района. Писем было три десятка. 25 девочек просили напечатать новую песню Пугачевой. Шестеро мальчиков прислали разного сорта юмор. Две школьницы написали заметки о своих замечательных учительницах. И один ветеран комсомола 40-х годов писал, что «комсомольцы, стоя на ударных вахтах, не жалея себя, трудятся на полях с воодушевлением и подъемом». Даже сам факт существования такой жалкой почты говорил о том, что стрелы бьют мимо цели, давал повод для волнения и размышления.

Когда-то была такая детская игра для первоклашек: «Какие вкусные.....растут на яблоне». Сообразили? Пойдем дальше. «Быстрые.....бегут по железной дороге». Понятно? Ну вот и хорошо. Игра, которая хранится у меня, называется так: «Доклад секретаря комсомольской организации на отчетно-выборном собрании». Правила остаются те же, дошкольные. В тексте, размноженном на ксероксе, оставлены промежуточки, в которые надо вписать цифры и фамилии, а потом, прочитав на собрании, передать следующему секретарю, если переизберут, а не переизберут — сам читай заново через год. «За кого вы нас держите?» — в свое время воскликнули известные литературные герои, выросшие в Одессе.

Самое время привести тут очередную цитату из сосновских протоколов о том, с каким подъемом проходят в районе отчетно-выборные собрания. Но увольте, устал я от цитат и от сравнения цитат с действительностью: что ни возьми — все не в пользу райкома. Хочу лишь сказать, что, познакомившись с жизнью сосновской районной организации, я сел за доклады, звучавшие на конференциях и пленумах. Мне хотелось разгадать секрет, как Сосновскому райкому удавалось отсутствие работы выдавать за активную деятельность. Секрет был прост, как веселая песня: запевом к любому докладу служило перечисление успехов в труде молодых земледельцев и рабочих. Я и без докладов знал, как упорно и отважно работает молодежь, в тяжелейших условиях отстаивая урожай, но понять не мог: каким боком к этим успехам прикладывается райком? При почти откровенной бездеятельности Сосновскому райкому удавалось успешно стричь купоны с трудовых достижений молодежи. Громко говорилось о вахтах, я проверял — не было вахт. Звонко рассказывалось о социалистическом соревновании, но комсомольский штаб бездействовал. Короче, звучи гудок на всю округу...

В том была определенная гордость: кто протрубит громче. О работе райкома судили, например, по тому, с каким воодушевлением и помпой прошла комсомольская конференция. Как в свое время говорил Достоевский: «Из танцоров ловких было очень немного; но неловкие так сильно притопывали, что их можно было принять за ловких». Было бы полбеды, если б только принимали таковых за ловких, беда в том, что с некоторых пор стали ценить не за толк в танце, а за то, как притопывают. Тут-то все окончательно перевернулось. Развелось обилие притопывающих, а ловко танцующие, но не умеющие лихо притопывать остались вроде как в тени.

Было еще одно «но»... Обком комсомола начал стареть, поскольку вслед за «понижением ранга ухода» возникла «проблема ухода», в обкоме накопились кадры, которым «некуда уйти». Бывшие Машечки, Верочки, Любочки достигли бальзаковского возраста. И дело тут не в судьбе какой-нибудь Марьи Ивановны, а в том, что между почтенной Марь Ванной из комсомольского обкома и комсомольцем образуется такая возрастная дистанция, что им крайне трудно находить общий язык.

Марья Ивановна в Тамбовском обкоме комсомола заведовала финхозотделом. Встретиться с ней мы должны были обязательно: все ручейки взносов, доставлявшие столько хлопот, текли к ней в виде многочисленных ведомостей, отчетов, справок. И, может быть, фигура Марьи Ивановны не появилась бы на этих страницах, если бы не ее святая уверенность, что в тех ведомостях и отчетах все чистая правда... О, говорить с нею было делом бесполезным, словно в одиночку брать Бастилию! Она даже могла объяснить, почему ремонт райкомовского «уазика» обошелся дороже, чем новая машина. Правда, об этом ей поведал я, и она вначале долго опровергала «такую чушь», но, проверив, тут же стала доказывать, что иначе и быть не могло. Марья Ивановна работала в обкоме полтора десятка лет и могла объяснить все. Кроме одного: почему в ее груди ни разу не шевельнулся червь сомнения и она в течение многих лет принимала фальшь за истину?

(Правда, положа руку на сердце, мне кажется, что Марья Ивановна не только знала все тонкости «разносок», украденных комсомольских премий и прочей «липовой» механики, но и всему этому в «благоразумных пределах» потворствовала, о чем и говорил ее стаж.)

«Марья Ивановна,— спрашивал я,— вот если бы хоть за этот год с комсомольцев-шабашников, которые у вас числятся временно не работающими, собрать взносы не по десять копеек, а сколько следует, хватило бы райкому еще на одну машину?» «У нас нет комсомольцев-шабашников»,— гордо ответила Марья Ивановна. «А вот если хотя бы за один год,— опять строил я миражи,— в Сосновке собрать взносы с тех, кто по нескольку лет не платит, можно было бы райкому три новых машины купить?» «У нас нет таких комсомольцев, кто долго не платит. Если даже три месяца подряд происходит неуплата, рассматривают персональное дело комсомольца, который допустил факт неуплаты»,— просвещала меня Марья Ивановна. «Ну, а как бы вы поступили с Бакиным, если бы узнали, что он присваивал премии комсомольского актива?» «Этого не может в нашей системе быть. У нас система строгой отчетности, перекрестных взаимопроверок, к тому же, как вы, наверное, знаете, существуют ревизионные комиссии, которые следят за финансовой деятельностью райкома».

Вдруг я понял, чем Марья Ивановна была интересна. Она была до мозга костей чиновником, и ее благодушие, под прикрытием которого прорастала непомерных размеров фальшь, было намеренным. «Вы верите в то, что написано в этих ведомостях?» — спросил я наконец напрямик. «Да, конечно, да! — воскликнула Марья Ивановна и прижала к груди папку, словно я собирался ее с ней разлучить.— Тут правда, правда и только правда!» Так и осталась она в моей памяти где-то там, в недрах обкома, с прижатой к груди папкой, полной... ну, не будем повторять все время одно и то же слово, скажем лучше на привычном ей языке: полной местами кое-где иногда не совсем достоверной информации. Эх, Марья Ивановна, Марья Ивановна!..

Мы постарались быть последовательными. И решили возвратиться в колхоз «Россия», о происшествиях в котором я начал свой рассказ. Договорились провести заседание комитета комсомола, чтобы рассмотреть персональные дела комсомольцев, которые год

или больше не платили взносов. В том числе «разобрать» и выпивоху Колюху. А чтобы было наверняка, первый секретарь райкома Бакин сам отправился готовить заседание.

В назначенный день и час мы были на месте. Бакин развел руками: «Не явились. Ездил к каждому, предупреждал. Не на аркане же тащить. Комитет отменять не будем. Сейчас поймаем кого-нибудь». Отправились на машине за комсомольцами вновь: четырех не нашли, пятый уехал, шестого поймали, да не того... Его привезли прямо с пляжа в плавках. Но, как выяснилось, комсомольцем он не был. Отпустили. Наконец пятеро предстали перед членами комитета комсомола, первым секретарем райкома и секретарем обкома Берстенёвым.

Теперь я нажимаю кнопку диктофона — пусть магнитная пленка перескажет вопросы и ответы. Они важны своей документальностью. Может, кому-нибудь это даст повод для размышлений. Во всяком случае, хотя бы Марья Ивановна узнает то, чего она знать не желает...

Сергей Садохин. 23 года.

— Ты где работаешь сейчас?

— Не работаю.

— Собираешься работать?

— Не знаю.

— На что существуешь?

— Мать кормит.

— А на что пьешь?

— Она дает.

— Ты пришел из армии три года назад. На учет не встал. Взносы эти годы не платил. Как ты считаешь, есть ли смысл твоего пребывания в комсомоле? Не спеши, подумай.

— Чего думать? Никакого смысла.

— А раньше был смысл?

— Раньше бы сказали, я бы раньше билет отдал.

— Когда ты поступал в комсомол, ты же писал: «Хочу быть в первых рядах»?

— Не писал! — возмутился.— Вызвали и дали билет.

— Анкету,— поправил Бакин.

— Полностью билет, я-то знаю, чего мне дали!

— Ну, а фотографии?

— Фотографии я отдавал накануне.

— Вот видишь! — обрадовался Бакин. — Значит, хотел.

— Нет.

— А сейчас?

— А зачем?

Решение об исключении Сергея Садохина из комсомола принято единогласно *.

— Придешь ко мне,— сказала Рая Теренина, секретарь комитета комсомола.— Принесешь комсомольский билет и учетную карточку.

— Принесу.

Станислав Гоев. 26 лет.

— Ты когда вернулся из армии?

— Вернулся в этом... как его... ух, господи, склероз от этой самой.— Он щелкнул себя по горлу.

— Работаешь?

— Бывает. В наряд хожу, что заставят.

— Он работал на комплексе. По пьянке ушел,— подсказывает Рая Теренина.

— В каком ракурсе тебе видится твоя жизнь? Вот ты сейчас стоишь перед нами. В каком ракурсе ты жизнь свою видишь? — наседал Бакин, воодушевленный присутствием секретаря обкома.

— В каком? В светлом. Каждый день есть что,— он опять щелкнул себя по горлу.— А то, конечно, и на сухую бывает.

— Не женат?

— Такие свои молодые годы портить. Вот лет за тридцать, тогда...

— Сколько у тебя выходов в месяц?

Молчит.

— Восемь или десять, а больше нет,— говорит Рая.

— Ну, а чего больше? Теперь новый указ вышел: две недели отработал в месяц, пожалуйста, отдыхай. Было в газете. За тунеядство не посадят.

— Знаешь закон...

— А то как же!

— Где твой комсомольский билет?

— Где? А вы у билета спросите,— засмеялся.

Решение об исключении из комсомола Станислава Гоева принято единогласно *.

— Слава богу! — и картинно перекрестился.

— Что ты с таким облегчением? Тяготил тебя, что ли, комсомол?

— Да ну вас, душу травите! — и ушел, саданув дверью.

Секретарь обкома Геннадий Берстенёв, обращаясь к членам комитета комсомола:

— Нет, вы мне скажите, неужели надо ждать приезда секретаря обкома, журналиста, секретаря райкома, чтобы от таких вот деятелей освободиться? Они дискредитируют звание комсомольца, они подрывают веру в комсомол, они ни во что не ставят комсомольский билет. Зачем, спрашивается, дожидаться? Надо беспощадно бороться с такими, очищать от них комсомол. Почему вы раньше этого не сделали? Почему?

Все молчат.

Помолчав, решили продолжать.

Александр Савинкин.

— Расскажи, как ты платишь взносы?

— С получки берут.

— Кому отдаешь?

— Сами берут с получки.

— У тебя за год задолженность семнадцать рублей.

Молчит.

— Ты расписывался в ведомости по уплате взносов?

— Не расписывался. Говорю, вычитали с получки.

— На собраниях бываешь?

— Нет.

— Тебе извещение приносили?

— Приносили.

— Может, комсомол тебе обуза?

— Ну, а чего надо?

— Почему ты в течение года не платил взносы?

— Раньше вычитали.

— Ты скажи, для тебя комсомол никакой ценности не представляет?

Долго молчит, потом говорит хмуро:

— Ну и будут так вызывать, нервы трепать...

Все разом зашумели: «Взносы плати. На собрания ходи. Не будем»...

— Погасишь задолженность за год?

— А куда денешься...

Комитет комсомола единогласно голосует за выговор Саше Савинкину.

Потом были еще двое. Двадцатисемилетний тракторист. Серьезный, основательный человек, у которого в комсомольском билете за шесть лет не появилось ни одного штампа об уплате взносов. Он просил комитет комсомола не наказывать его потому, что он готов заплатить долг. «А то,— сказал он,— несолидно получается; полгода осталось быть в комсомоле, и на тебе такое под завязку». У всех даже на душе полегчало, что и говорить — хороший человек. Затем на нас маленьким ураганом обрушилась Наташа Шевцова: «Я буду жаловаться! Что вы меня позорите! Да мне стыдно здесь стоять! Я вперед всегда сдаю. И за людей еще плачу́, чтобы ведомость закрыть и деньги вовремя перечислить. А вы меня позорите. Я буду

---

* Прошедшей осенью я специально завернул в «Россию», чтобы отыскать старых знакомых. «А Садохин уже того,— объяснил парторг.— Упился в усмерть. С запою кончился».

* Через год после описываемых событий Гоев повесился, оставив матери записку с упреком, что не дала денег на выпивку. Вот и действительно в конце концов пошла речь не об учетках и взносах. Речь пошла о человеческой судьбе и жизни. Впрочем, мы сразу договаривались, что это главный наш разговор. Без этого и смысла нет говорить об учетках.

жаловаться! Стыд такой, позор! Столько секретарей сменилось, всегда всем помогала, сама собирала те деньги. Как это я в должниках оказалась? Мне странно как-то...» Это говорилось на едином дыхании, щеки у Наташи раскраснелись, она с обидой смотрела на Бакина, который повторял ежеминутно: «Мы разберемся, Наташа. Да разберемся, я тебе говорю. Разберемся». Разбираться было не в чем, разве что Бакин просветил бы Наташу, что ее деньги шли на то, чтобы изобразить активными комсомольцами и Гоева, и Садохина, и непросыхающего Колюху, и прочих, о ком в паузе так пламенно говорил секретарь обкома.

...Мы уезжали. Дорога была пыльной. Пыльными были солнце и удушливые поля. Тощие хлеба желтели, не успев набрать рост и силу. Засуха не уходила. Сколько бы могла родить эта земля, как она была полна сил и жизни, как она взорвалась бы зеленью и упругой порослью, пролейся живительный дождь. Я сунул руку в «дипломат», убирая блокнот, укололся о булавку среди бумаг и вспомнил, как, скривив губы, Бакин подкалывал, словно сухую бабочку, статотчет к разноске... Стояла засуха!

Постскриптум

После моего отъезда тов. Бакина освободили от обязанностей первого секретаря, что и следовало ожидать. Но вот чего не следовало ожидать, так это того, что он был переведен сразу же на пост главного инженера «Сельхозтехники», куда, собственно, и старался пробить себе дорогу. Разве не обидно теперь людям работать под началом человека, прокладывавшего себе карьеру подлогом и умением потакать вышестоящему. Кстати, именно на новой работе Бакин (в начале своей комсомольской деятельности) в обход законов получил шикарную квартиру, плечом отодвинув очередь рабочих. Он тогда вышел сухим из воды, отделавшись партийным выговором. Как и сейчас. Разве не обидно знать и видеть это честному человеку. А иной решит, что это и есть самый перспективный стиль жизни. Квартира — вот она! — при нем, а выговор со временем снимут. Кстати, кажется, уже сняли. Теперь схватили за руку в райкоме при махинациях с комсомольскими премиями, разругали вдрызг за развал работы, а посадили — в наказание?! — на то место, куда и стремился. Неужели свет клином сошелся на Бакине, что нет никакой мочи с ним расстаться и вытолкнуть с номенклатурной карусели? Но благодушия в Сосновке хватало и на «бакиных», и на «колюх», и на сожженные комсомольские билеты...

А что до гласности, то после всех этих событий состоялась районная комсомольская конференция. У меня хранится отчетный доклад райкома. Я его берегу. Временами на досуге я достаю его из папки «Сосновка» и перечитываю. Он меня восхищает. Это поразительно, насколько слово может оторваться от жизни! Я читаю о пяти тысячах — больше, чем поголовно! — охваченных Ленинским зачетом. Я читаю о двух тысячах молодых тружеников, вовлеченных в патриотическое движение, из числа двух тысяч юношей и девушек, занятых в сельском хозяйстве. Я читаю о множестве прекрасных дел на счету комсомольской организации колхоза «Россия» при отсутствии самой организации как таковой! Читаю о девяноста шести процентах молодых тружеников, охваченных политической учебой. Читаю о многом таком, что я долго искал в Сосновке.

Что это? Полуправда? Полуложь? Просто бесстыдное вранье? А впрочем, и полуправда, и полуложь, и вранье — это все одного куста ягоды. Вряд ли стоит копаться в оттенках.

Про Бакина выступающие на конференции не проронили ни звука. Так упорно молчали, что из зала пришла недоуменная записка: «Что произошло в райкоме? А если Бакин виноват, то почему он снова оказался на руководящей должности?» Из-за стола президиума было отвечено так: «Бакин имеет высшее образование, и сочтено возможным использовать его знания по специальности». Записок больше не приходило.

Удивительно, что и сейчас, когда само время требует правдивых слов, в Сосновке по-прежнему всерьез обдумывают, сколько должников «показать» обкому, рисуют цифирки «от фонаря» на экранах политучебы, пишут в протоколах круглые фразы, приправив их немного, согласно требованиям дня, критикой.

Но есть же в этой Сосновке в конце концов старшие товарищи, они поправят, они научат! Когда я навещал Сосновку в последний раз, первый секретарь райкома партии В. Рябов отчитывался на секретариате Тамбовского обкома КПСС за ход выполнения Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи». Я прочел его доклад о состоянии дел у комсомольцев Сосновки. Он напоминал наградную реляцию... За полгода до того в райкоме состоялось заседание по этому же вопросу. Отсюда доклад и «поехал» в обком партии на секретариат. Звучали цифры, почины, комсомольско-молодежные экипажи... Верил ли сам Рябов тому, что читал с листочков? Вопрос, конечно, интересный...

Вот ведь какое дело: со времени появления постановления прошло два года, вопрос «по комсомолу» трижды слушали на бюро райкома партии, дважды в обкоме партии «заслушивали» райком по этому вопросу, вроде бы деятельность какая-то была, но что изменилось?

Как два года назад комсомольцы не шли на отчетно-выборное — единственное в году! — собрание, так и сейчас не идут. Как отказывался ударник труда молодой рабочий парень из Верхнеярославки иметь что-либо общее с комсомолом, так и сейчас отказывается. И ходит вокруг него комсомольский секретарь Витя Ненашев и клянчит полтора рубля комсомольских взносов. Может, подводит нас то, что мы слишком ко многому привыкли. И даже не смущает то, что дважды осужденный, сидящий в тюрьме, извините, в исправительно-трудовой колонии Петр Полуянко числится одновременно комсомольцем Сосновки. Привыкли к НЕсуществованию комсомольской организации в «отдельно взятом» совхозе. Ко многому привыкли. И главное, привыкли ко лжи.

Что же из всего этого следует? Как поправить положение? Ведь правильные слова произносились и раньше. Они произносились и четыре года назад на предыдущем съезде Ленинского комсомола: «Заорганизованность, бюрократизм, обилие бумаг и постановлений, словесная трескотня, другие проявления формально-бюрократического подхода к делу нередко проникают и в нашу комсомольскую среду. А это ведет к разрыву между словом и делом, к тому, что отдельные комсомольские работники порой теряют скромность, способность критически оценивать свою деятельность. Стиль комсомольской работы должен быть проникнут деловитостью, конкретностью, научным подходом, высокой требовательностью, исключающей любые проявления самодовольства и благодушия, формализма и чванства». Слова сказаны крепкие. Все верно. Но на Сосновку, да и не только на нее, запал не подействовал. Что же делать?

Один из обкомовских работников, очень деятельный такой товарищ в пиджаке со значком и при галстуке, когда я поделился невзначай своими размышлениями, отреагировал сразу:

— Надо бросать клич!

— ?!

— Ну, например: «Комсомольцы, вперед на перестройку!», а лучше так, чтобы клич касался каждого персонально, типа: «Перестраивайся, товарищ комсомолец, чтоб ряды наши были крепки!»

Я взглянул на собеседника пристальней. Глаза его горели. Он был сама энергия и молодость...

ОТ РЕДАКЦИИ. «Письма из райкома» познакомили с Сосновкой. А как обстоят дела у вас? На заводе, в райкоме, в городе, селе? Ждем ответов на эти вопросы от людей, неравнодушных к судьбе собственной комсомольской организации. Ваши письма мы передадим XX съезду комсомола.

Алла
КИРЕЕВА

ПОЭЗИИ ПАРНОЕ МОЛОКО

Мы живем в странном, удивительном мире. Все меняется, движется, мелькает. Дни ползут медленно, годы летят быстро. Дети растут акселератами, вырастают умнее своих родителей. Они, дети, безусловно, знают больше нас. Решают во втором классе уравнения, самостоятельно программируют, уверенно обращаются с техникой, узнают из телевизионных передач многое из того, что родителям в их годы и не снилось. Обожают слушать невероятно громкую музыку, влюбляются по очереди в разные ВИА и западные рок-группы. Знают наизусть уйму стихов — от Лорки до Высоцкого и от Блока до Макаревича. Одинаково интересуются сиюминутным и вечным. Ценят красоту и намного более терпимы к уродству. Их вовсе не гнетет немыслимый объем информации.

А между тем их хрупкий, привычный к разным, подчас полярным, явлениям вкус, можно сказать, вкус любознательный и всеядный, еще только формируется. Именно поэтому несколько боязно за то, что отберут они для себя, а что отбросят.

А пока жизнь — каждый раз иная, с ее вечной природой и ежечасными новостями; жизнь, прекрасная и безобразная, абстрактная и конкретная,— эта жизнь перед ними. Что выбрать? Что предпочесть? На чем остановиться?

Наш повседневный быт заполнен самыми разными вещами, почти забытыми и сверхновыми, невиданными, привычными и непривычными. И все чаще и чаще среди них попадаются заменители. Шубки под мех, пальто под кожу, рубашки под хлопок, сухое молоко, яичный порошок, искусственный мед. Когда химия настигает нас в быту, мы не удивляемся, а порой даже радуемся: стираем синтетическим мылом, едим из пластмассовой посуды, строим из изобретенных человеком, а не природой материалов.

Никого не удивит сообщение о том, что многие горожане никогда не пробовали парное молоко. Естественно, его можно отведать только находясь рядом с коровой. А много ли коров вы видели в городе? Человек нашел выход — и научился стерилизовать, пастеризовать, консервировать. Так что у него есть блестящий заменитель продукта, практически сам продукт.

Но вот что интересно: врачи заметили, как некоторые городские жители, попав в деревню и испив там парного молока, выдают аллергическую реакцию. Объяснение простое: человек отвыкает от натуральных продуктов.

Настоящая духовная пища тоже абсолютно натуральна. В том числе истинная поэзия. Она привлекает невозможностью подделки, естественностью, редкостью. И боязно, что у тех, кто поневоле привыкает к заменителям, настоящая поэзия может вызвать своеобразную аллергию — неприятие, неприязнь.

Могут спросить: а разве есть заменители стихов? Есть. Они были всегда, существовали и раньше. Рядом с Гомером, рядом с Шекспиром, рядом с Петраркой и Данте корпели тогдашние графоманы. Просто время отсеяло ненужное, наносное, неталантливое. Конечно, тех графоманов можно было пожалеть: они просто были неспособны, занимались не своим делом.

Но тогда не было возможности прилично тиражировать их труды: один-два экземпляра, и все.

Сегодня, когда заменитель постепенно начинает проникать в духовную жизнь и занимать в ней свое место, становится страшновато. Массовая культура отдает химией, ее доступность и невероятная тиражированность могут сбить с толку не вполне еще оформившуюся личность.

И если «вроде кожа», «вроде мех», «вроде хлопок» были изобретены специально, чтобы облегчить жизнь современному человеку (их ведь и придумывали для замены естественных материалов, которых становится все меньше и меньше в природе), то, скажем, «вроде поэзия» не может украсить, а тем более облегчить духовную жизнь человека. Она может только захламить память, обеднить личность, сделать ее более равнодушной, циничной и даже безнравственной.

Так и шагают они рядом — поэзия и непоэзия, стихи и «вроде стихи». Так и лежат они на книжных прилавках рядом, только стихи раскупают (хотя тут есть свои сложности и парадоксы), заменители пылятся годами. Ведь тиражируется и хорошее и плохое. В «Принципе Питера» К. Воннегута есть точное замечание: «Пьяный человек временно теряет способность идти по прямой линии. Пока средством передвижения ему служат собственные ноги, главную опасность он представляет для самого себя. Но посадите его за руль, и прежде, чем он сломает себе шею, он может убить десяток других людей».

Ну, убить — не убить, а изуродовать вкус «вроде стихи» вполне могут. Печатному станку все равно. Он, как и бумага, все стерпит. И с одинаковым усилием будет набирать стихи Пушкина и стишки графомана. Тиражирование подобно медали имеет две стороны: оно может нести свет знаний, а может расширять «возможности человека распространять свою некомпетентность».

Из стихов молодого Вл. Евсейчева: «Я вышел на крыльцо и крикнул... Эхом мне детство вдруг мое отозвалось... И вроде я прожил не так уж много, но коли детства жаль, так постарел. Из темноты окликнул кто-то строго: — **Чего орешь-то, парень? Одурел? И верно, вот взбрело же идиоту кричать!** И я засовестился, сник: народу спозаранку на работу, а тут вопит какой-то **отпускник!**»

Ясно, что автор говорит о себе с иронией, но не получается у него это, не получается, но тем не менее В. Евсейчеву невольно удается ответить на наболевший вопрос: откуда такое количество стихов ни о чем, стихов, в которых не чувствуется необходимости высказаться? Вот оно, слово: отпускники. Психология отпускников. У них нет дела. Они не думают о других, нарушая криками радости покой людей. Эта психология проникла в поэзию и прочно обосновалась в ней. Конечно, речь идет не о поэзии, а о заменителе. Поэзия праздной и бесцельной никогда не была и не будет.

О чем же они пишут, отпускники? В основном о себе. Маленькие, никому не интересные, кроме них самих, биографии. Большие, не по росту памятники себе. Пишут еще о любви к Родине, к женщине. И снова о любви к себе. Читаешь некоторые подборки или сборники и диву даешься: как мало знают, как убого чувствуют, как редко думают.

У каждого своя модель жизни, свое отношение к миру и собственной персоне в нем. Один благополучно стоит в центре Вселенной в позе монумента и горделиво осматривается. Его заботит: все ли видят, как хорошо, красиво и правильно он стоит? Можно ли в этом случае говорить о причастности к заботам мира, о неподдельности чувства?

Давно известно, кто только об этом не говорил: если тебе не о чем писать — не пиши! Но ведь пишут, и еще сколько!

Вариант памятника себе:

Склоняюсь в поклоне
Над памятью нашей нетленной.
Пред чудом природы,
Что дарит нам
Синь и багрянец...
Но я и сама
Полноценная капля Вселенной!
Ее прототип.
И бушующий протуберанец.

Это еще только начало. Дальше, как говорится, больше. Больше ложной значительности, нескромности, зарифмованных ребусов.

Все атомы мира
Вращаются в русле артерий. (?)
Законы земли
Соблюдают
Мое притяженье.
Не я ли
Гармонии
Высший предел и критерий?
Триумф эволюций,
Разумной природы свершенье.

А вот другой памятник работы И. Савельева, созданный по тем же правилам, что и предыдущий, и не уступающий ему в величии:

Материя, за миллиарды лет —
Не чудо ли? —
Ты мыслить научилась.
Ты наделила памятью меня.
Дала мне речь, в глаза вложила зренье. (?!)
Из плазменного мощного огня
Ты выковала мне воображенье.

Они даже чем-то схожи, эти памятники: «чудо природы» и просто «чудо», «бушующий протуберанец» и «плазменный мощный огонь».

Спросят: можно ли к такому относиться всерьез?

Оказывается, можно. В объемистой статье о поэзии И. Савельева критик Ирина Шевелева сразу после приведенных мною строк заявляет: «От этого образа веет древней, мифологической мощью...» Да не мифологической мощью веет, а видимостью мысли, видимостью поэзии. Нельзя же в самом деле с восторгом цитировать: «**Давай, душа, стараться, чтоб прежде чем взорваться, Вселенную родить!**» И дальше строчки, в которых нетрудно заметить лишь видимость научного открытия: «**Какую силу вакуум таит! Из ничего галактики родятся!**» — умиляется И. Савельев, а И. Шевелева восторженно комментирует это «открытие»: «с радостным изумлением узнает поэт о последнем открытии науки. (?!) Он задумывается над поразившим его фактом — и его собственная художническая мысль, рождая зримую картину... мгновенно упирается в факт из его творческой науки (?!)» Действительно, «Наука умеет много гитик».

Что поделать, и мы «мгновенно упираемся» в факты из «творческой науки» И. Савельева: «**Я, как Земля, кругом, со всех сторон, ракетами безумно начинен**». Бедненький, надо же, со всех сторон начинили... Можно ли считать серьезным разговором о любви к Родине следующие строки: «И счастье быть твоим, Россия, сыном, и как же трудно оставаться им» (?). Можно ли считать если не поэтическими, то хотя бы грамотными строки: «нестерпимо жжет крапива и грудей палящий зной», или:

Но даже в миг, когда руки
Ты от волос не отрываешь,
Мне чудится: ты лепестки
Последние перебираешь. (!)

Ну, это, так сказать, лирика... Наверное, и не стоило бы говорить о подобных «вроде стихах», но их много, их все больше и больше, да и тиражируются они прилично, и рекламируются, как видите, нехудо.

Я прикована к веку:
На гребне его и на дне.
Все проблемы судьбы
Принимаю сознаньем и плотью.
Потому-то и женская сущность
Слабеет во мне,
Что возможные войны
Меня обрекают к (!) бесплодью.

Серьезная мысль, выраженная Л. Щипахиной приблизительно, звучит, как пародия. А тираж приведенных строк — более полутора миллионов экземпляров. Тем же тиражом изданы и другие, прямо-таки апокалипсические строки:

Сгинь, оборотень!
Сбивчиво, не в такт
То ухнет в пропасть сердце, то взовьется.
Бьет веко века нервный тик... «Тик-так!»
Вот-вот будильник дьявольский взорвется.
Скорей, быстрей, как будто по пятам
Гиппопотам (?!)
в чудовищном экстазе...
У нас-то нервы крепкие, а там,
У антиподов, явный сдвиг по фазе...

Действительно, крепкие у нас нервы, если мы печатаем такое. Кажется даже, что подобные строки размножаются простым делением, как простейшие: быстро, неутомимо, неостановимо. А это поопаснее гиппопотама, даже если он в экстазе.

А еще опаснее равнодушие людей, выпускающих продукцию, подобную этому отрывку из поэмы Б. Рахманина. Мы почти привыкли, как воспитанные люди, не замечать подобные вещи, не замечать нелепости, неграмотность, низкое качество заменителей поэзии. А стоит ли делать вид, что все в порядке?

Ведь наше совестливое умолчание ведет авторов к ложной уверенности, что так и только так нужно писать.

Стихотворение называется «Буйвол». Оно начинается так: «**Он молоко дает и землю пашет**»... Оригинально, не правда ли? Даже как-то неприлично обратиться к автору с вопросом: где это он встретился с буйволом, дающим молоко?

А вот еще один необычный представитель животного мира, на сей раз относящийся к пернатым:

А еще за ними, за столбами,—
Горизонт. И солнышко в траву.
И кукушка тонкими губами
Отсчитает, сколько проживу.

Похоже, Сергей Островой открыл новый вид в орнитологии — губастую кукушку. Не из того ли она поэтического зоопарка, что и гиппопотам, который в экстазе, и доящийся буйвол?

Поражают стихи ни о чем:

Не читал нравоучений я,
Не читаю и тебе, товарищ,
Но убьешь сегодня муравья,—
Собственную душу расстреляешь.

Хотелось бы узнать на всякий случай у И. Савельева: за клопа, комара, таракана или блоху кара та же? А кроме шуток, вроде бы речь идет о насущных проблемах экологии. Но ведь снова видимость поэтической мысли, лишь видимость озабоченности.

Два тысячелетия назад Платон писал, что изобретение письма, распространение письменности убьют память, позволят глупцам рассуждать обо всем и сделают людей невыносимыми, превратив их в фальшивых ученых.

Существует такое понятие: «хронофаги» — люди, пожирающие чужое время. Увы, есть не только люди-хронофаги, но и книги-хронофаги, и стихи-хронофаги, которые, будучи интересными только для самих авторов, претендуют на внимание читателей.

А мы удивляемся: у молодежи дурной вкус. Или: у молодежи нет вкуса к стихам. Но воспитание-то вкуса зависит от многих причин и в первую очередь от того, что берется за эталон — стихи Заболоцкого, Смелякова и Пастернака или заменители.

Хоть и говорят: «О вкусах не спорят», а заметьте, нынче о вкусах спорят и спорят всерьез. В споре рождается истина, а истина такова: вкусы действительно могут быть разными, однако безвкусица в конечном итоге одна. О заменителях поэзии вроде бы и спорить нечего, спорят о настоящих поэтах.

Настоящий поэт носит Вселенную в сердце. Ему, лично ему, а вместе с ним и нам больно от каждого выстрела, где бы он ни раздался. У него, а вместе с ним и у нас сжимается сердце от каждого стона, от каждого крика. Читаешь настоящие стихи, и становится ясно: мы имеем дело с истинной литературой, с живой жизнью.

А жизнь все усложняется и усложняется. Обыкновенный человек, видя ежедневно по телевизору горящие дома и самолеты, полицейских с дубинками, преследующих униженных безоружных людей, исподволь, незаметно для себя, начинает привыкать к чудовищным зрелищам. Начинает привыкать и может стать равнодушнее, чем был вчера, позавчера. Меняются дни, меняются названия стран, увеличивается или уменьшается число убитых и раненых, но ежедневно человек становится свидетелем потрясающих злодеяний, творимых руками особей того же, что и он, вида. И настоящий художник не может не думать, не говорить об этом. Альберто Моравиа ужасается: «Никто не мог предвидеть, что в определенный момент не та или иная нация, а целый вид может оказаться под угрозой полного уничтожения». И дальше: «обнаружить внезапно, что ты прежде всего и всего лишь представитель вида, неприятно. Это ощущение забытое и стертое миллионами лет истории человечества».

История человечества... Не находится ли она сегодня на одном из самых трагических своих перепутий?

И это становится темой «поэтического осмысления»:

Части не просить. Сил не занимать.
Печенеги где? Вспомнится едва.
Турки, буйный швед? Гитлера чума?..
И — могил нема. Только трын-трава...
Крутятся-гудят наши жернова!
Кто там к нам еще хочет свысока?
Раззудись, плечо! Размахнись, рука!

Кольцов, прямо скажем, тут совсем ни при чем, хотя автор взял его строки в эпиграф. Да и поэзия — ни при чем. А ведь ель, из которой делают бумагу, растет до того 80 лет! Здесь бы подумать заодно не только об экологии природы, но и об экологии поэзии!

Но о какой экологии может идти речь, если длинное-длинное стихотворение (80 строк) создается только лишь для того, чтобы выразить «мысль»: «За апрелем — май!». Приведу несколько строк: «Ну, играй, апрель. Рыдай, апрель. И май себя не май. Реви, капель, рыдай, капель, за апрелем — май!» Издано это под гордой шапкой «ПОЭЗИЯ» тиражом 650 000 экземпляров в журнале «Молодая гвардия». Автор — Борис Куликов.

В его подборке есть все — и памятник себе: «Расти, сынок, как твой отец, веселый, сильный и горячий...», и строки о любви: «Любимая, роди мне дочь — сегодня будто ты в ответе за то, чтоб не исчезла прочь вдруг красота на белом свете...», и многострадальная международная тема: «не сузить вам ширь наших улиц» (?!), и тема Родины: «предо мной лежит даль далекая, вкруг меня шумит ширь широкая, подо мной гудит глыбь глубокая, надо мной кружит высь высокая...» Это о Родине большой, а вот — о малой:

О, легендарное казачество!
В моих станицах, хуторах
Есть казаки со знаком качества,
Казачки — молнии в глазах!

И снова — психология отпускника: все прекрасно, не надо ни о чем думать, можно горланить от радости на всю округу. Не жаль ни своего, ни чужого времени. Нет дела ни до чего, а уж если и говорить о чем, то только о себе. «Крутятся-гудят» эти жернова, тиражируются и тиражируются заменители поэзии, а мы удивляемся: — У молодежи пропал интерес к стихам.— Они не понимают поэзию!

Много лет назад я впервые услышала строки безвременно погибшего поэта Владимира Морозова. Услышала и запомнила:

В любви клянутся те, кому не верят.
А ты ведь веришь мне, страна моя...

Они пришли мне на память, когда я встретилась с такими стихами Бориса Куликова:

Родина! Милая, милая Родина!
Как же тебя не жалеть, не любить...
Все, что тобой пережито, родная,
и пройдено,
Нам никогда, никогда, никогда не забыть.
Родина, милая, милая Родина!
Смертью сынов наилучших поправшая смерть,
Чтоб над планетой сияло бы солнце свободы нам,
Чтоб мы могли и любить, и смеяться, и сметь.

Вторичность, торопливость и совершенная необязательность в выборе слов. Попробуйте сразу произнести: «чтоб над планетой сияло бы солнце свободы нам», это почти невозможно. А как банально! Впрочем, что такое банальность? «Я вас любил...» — разве это не банально? Конечно, банально. Но в этом случае банальность освещена искренним чувством, необходимостью высказаться, освещена удивительной формулой любви — на все века и времена — «как дай вам бог любимой быть другим». Это — открытие в истории чувства, в истории поэзии. А поэзия нуждается в открытиях, которые не уступали бы по масштабам открытиям Колумба и Ньютона, Менделеева и Лобачевского. Но она нуждается и в том, чтобы ее открывали, открывали новые читатели, открывали и радовались настоящим стихам, настоящим мыслям, настоящим, а не придуманным чувствам.

Как прекрасно и увлекательно открывать поэзию, а вместе с тем открывать себя!

Я люблю стихи Владимира Соколова. Часто повторяю его строки. Особенно часто — вот эти:

Мне интересен человек,
Не понимающий стихов,
Не понимающий, что снег
Дороже замши и мехов.

Диковина — человек, не понимающий стихов. Это, увы, не такая уж редкость. К сожалению, далеко не редкость сегодня и человек, который понимает и принимает лишь заменители поэзии и относится к настоящей поэзии, как к сфере обслуживания. Помните: «— Сделайте мне красиво!» (Быстро! Уютно! Вкусно! Приятно! Весело!) Он требует от поэзии понятности. «Сделайте мне понятно!» и пишет в редакции: «Что это вы там печатаете? Ничего не понятно!»

Сфера обслуживания быстро приспосабливается к спросу. Заметили, например, что люди интересуются хрусталем — начали гнать из отходов крупных производств... хрустальный ширпотреб. Никто не спорит, в быту ширпотреб необходим, но вряд ли хрустальный. То же поэзия. Ведь она, если можно так выразиться, товар штучный. Она не может быть ширпотребом, а «вроде поэзия» может.

Поэзию подделать нельзя. Как нельзя подделать рассвет, ураган, радугу, снег.

Так как же все-таки отличить поэзию от заменителя, подделки? Интересно, а что думает по этому поводу Расул Гамзатов? Что бы сказали Булат Окуджава и Евтушенко? Олег Чухонцев, Д. Самойлов, М. Алигер? А. Жигулин и М. Матусовский?

Меня охватила радостная жадность: я их всех спрошу! Я поговорю с каждым! И — поговорила. Я послала поэтам письма, в которых были и такие вопросы: 1) Как отличить истинную поэзию от умелой подделки? 2) Кто ваши учителя в поэзии и за что вы им благодарны?

Стали приходить ответы. Собрав их, я убедилась, что обладаю уникальным материалом. Живым, непростым, не менее, чем стихи, приоткрывающим сокровенное, личное. Материалом, как бы приближающим нас к поэту, к его внутренней жизни.

Каждая анкета, ну, может быть, за небольшим исключением (но и в исключениях что-то есть!) походит на своего автора, она как бы объемнее, рельефнее выделяет приметы личности. Подчеркивает их. Приглядитесь внимательнее, и вы увидите не только личностность анкет, но и их глубокую связь со стихами.

Кроме этого, в каждой анкете проявляются черты характера: благородство и скромность, растерянность и уверенность, раскованность и зазнайство, недюжинный ум и простоватость. Некоторые сомневаются вслух, высказываются предельно откровенно, иные как бы отмахиваются от вопросов...

Вот несколько ответов:

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

1. Настоящие стихи излучают ауру, энергетическое биополе, как и любой живой организм. Без этого поля стихи мертвы. Главное — живое энергетическое поле.

2. Я не думаю, что у меня были учителя в поэзии, у меня был поэт, боготворимый мною,— Борис Леонидович Пастернак. Я счастлив, что жил в одно время с ним, что мне довелось с ним общаться. И я счастлив, что он был гениальным поэтом.

Назову первого стихотворца, встреченного мною в жизни. Это был инженер Виктор Федосеев-Ярош. Он был одним из тех, кто привил мне поэтическую культуру.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

1. Умелая подделка может один раз обмануть. Один год обмануть. Поэзия принадлежит вечности. Поэзия обмануть не может. Подделка отличается искусственным блеском, а поэзия — естество, превращенное в искусство.

Есть в Дагестане казаб, он помогает отличить золото от подделки. В поэзии подделки нет. В жизни подделки заметнее, чем в искусстве. Можно выдать паутину за вышивку. Но важно другое: «люблю» и «не люблю». Остается время, которому свидетельство поэт и Родина, где он родился. Остальное — приложение к «Огоньку», который издает книги журналистов и спортсменов. Остаются истинная радость, истинные слезы, потому что они искренние. Золото можно подделать, но подделка радости, рассвета, встреч и расставаний отвратительна. Улыбаться, чтобы кому-то понравиться,— позорно.

Поэзия — добрая штучка, но по природе своей очень мстительная. Обмана она не простит. Лучше простое железо, чем железо, подделанное под золото.

2. Три учителя в поэзии. Сейчас, сегодня, я это чувствую особенно. Если бы я понял это раньше!

Первый учитель — природа. Природа — вечный свидетель. Горы молчаливы, тихи, будто через пять минут они умрут. А люди суетятся, будто бы им еще пять тысяч лет жить.

Тот, кто переводит язык природы на человеческий язык, тот поэт. Лучше природы нет живописца, музыканта, художника и архитектора. Поэзия состоит из мелодий и красок, данных природой, но становится поэзией, если она подчинена смыслу, имеет рациональное зерно. Поэт хорош тогда, когда он становится частью природы, хотя бы листом дерева. Природа вечна, погода изменчива. И нельзя по погоде стихи писать. Природа не относится к подделке.

Второй учитель — опыт собственной жизни. Поэзия в отличие от физики — индивидуальное явление. Опыт годов, опыт страны и истинная собственная любовь. Собственные огорчения, радости, потрясения. Идеи XX века... Скоро наступит начало третьего тысячелетия. Что в XX веке? Революции. Отечественная война. 1953 год. Это было проверкой поэтов, породило новое поколение поэтов. Мы заискиваем перед молодежью. Но им не хватает святого чувства недовольства собой. Сейчас тяжело сказать: — «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

Третий учитель — гениальность веков. Этот третий учитель готов учить всех, но без первых двух мало что может.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

1. Подделка пишется не своей, а заемной кровью, или подкрашенной под кровь жидкостью. Такая подделка может быть даже талантливой и действовать на чьи-то слезные железы. Французы называют это «шантаж сентиментальностью». Но, по Баратынскому, такая муза «подобна нищей развращенной, молящей лепты незаконной, с чужим ребенком на руках». В молодости я дружил с одним способным художником. Он хорошо чувствовал колодцы дворов большого города, влюбленных на железной кровати, когда в окнах дымятся фабричные трубы... Но потом, ища успеха любыми путями, он создал из самого себя другого художника, полностью противоположного собственным лучшим задаткам, видимо, развивая не лучшие. Смешал в одно Нестерова и Рериха, стал писать какую-то оперную Русь, напоминающую иллюстрации к дореволюционному журналу «Нива», начал штамповать конвейерным способом страдающие глаза. Печально поучительный пример, как человек, способный к настоящему, переходит к подделкам.

Существуют в искусстве прирожденные фальшивомонетчики. Они были, есть и — увы! — всегда будут. Но самое обидное, когда талантливый поэт начинает заниматься подделкой собственных эмоций. Мысль: «это я сейчас, когда в трудном положении, а вот потом грохану что-нибудь настоящее...» — обманчива. Рука привыкает к подделкам, и в ней образуется страх настоящего, как будто страх подписания смертного приговора. Между тем история литературы доказывает, что смертные приговоры писатели подписывают себе при жизни, когда начинают бояться самих себя. Хитроумное уцеление становится смертью, а трагическая смерть может обратиться в бессмертие. Так стоит ли быть хитроумным?

Но бывают и такие не менее печальные случаи, когда настоящее произведение кажется многим современникам подделкой. Так было, например, с «Евгением Онегиным», когда эту поэму называли «мыльными пузырьками», пускаемыми затейливым воображением», или с поэмами Маяковского «Хорошо» и «Владимир Ильич Ленин», названными кем-то из критиков «картонная поэма» и «не наш Ленин». Литературный приговор может быть приговором самому критику. С литературными приговорами следует быть осторожней.

2. Ответ на этот вопрос будет долгим, ибо я старался учиться у всех поэтов — и знаменитых, и менее знаменитых, и совсем неизвестных. Возможно, поэтому меня иногда упрекают во всеядности. Что же, в жизни я тоже такой,— и ценю тонкое выдержанное вино, и знаю, что иногда есть такие моменты, когда ничто не заменит глотка чистого спирта.

У Пушкина я учился его завораживающей способности быть сразу всем — и тончайшим лириком, и эпиком, и сатириком, и историком, и попросту веселым человеком. Да разве можно этому научиться! В Лермонтове для меня самое ценное: «Наедине с тобою, брат...» и «Герой нашего времени», «Тамань». Декабристская плеяда — урок не столь слова, сколь общественного порыва. Тютчев, Баратынский от меня по темпераменту — гражданскому и личностному — весьма далеки, но можно ли быть русским человеком, не храня в душе «Умом Россию не понять...» или элегии Баратынского? Грибоедов — урок характеров, написанных прекрасным стихом. Любил и люблю едкую философичность Вяземского. Некрасов — великий урок демократического содержания и гражданской исповедальности. Прощаю ему все профессиональные и человеческие «сбои» за «каплю крови, общую с народом». Да разве это одна капля! «Мороз Красный нос» — чудо. «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» — это больше, чем просто литература,— это уже сама история. Фет для меня всегда — мимо души, мимо истории, ибо он весь — мимо истории. Согласен, что он мастер, но, кроме «Я пришел к тебе с приветом...», ничто в душе моей не живет. Алексей Толстой, с моей точки зрения, поэт недооцененный — красочный, живой и вовсе уж не такой идеализатор истории, как его описывали не-

которые вульгарные критики. У Бунина трогает лишь «Затоплю я камин, буду пить. Хорошо бы собаку купить». Как прозаик он, конечно, значительно выше. Белый, Брюсов, Бальмонт на меня никакого влияния не оказали. Северянинское влияние мне приписывали, на самом деле его не было, но у него есть какая-то трогательная целомудренность провинциального телеграфиста даже в его вульгарностях. У Сологуба всегда нравилось «Качает черт качели мохнатою рукой...», а раз нравилось, значит, уже учеба. У Гумилева есть то, без чего я бы не пришел к пониманию поэзии. «Слово», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай» — более десятка первоклассных стихотворений. У Анненского больше всего мое — «То было на Валлен-Коски». Ахматова не столь отдельными стихами, сколько всей профессиональной нравственностью — огромный урок достойного, а не фальшивого классицизма. Маяковский — гигантское влияние — и созидательное, и в чем-то разрушительное, потому что я ему бесперспективно пытался подражать. Но нечто сыновнее во мне навсегда осталось. Когда в Мексике я искал сына Маяковского, якобы существующего там, Сикейрос сказал: «Зачем ты столько сил тратишь на поиски сына Маяковского? Взгляни в зеркало...» После подражательства я оказался непохож на Маяковского, и слава богу, но он нет-нет, да и прорывается из меня — в каком-то повороте слова, в интонации. Блок, пожалуй, не прорывается, но зато он весь — внутри, а разве это не учеба? Больше всего люблю «Девушка пела в церковном хоре», «Под насыпью во рву некошеном», «Ямбы», «Вольные мысли», «Двенадцать». Цветаевой восторгаюсь, как рабочий конь—кентавром. Она для меня явление более мифологическое, чем земное. Цветаева по лирическому темпераменту превосходит даже раннего Маяковского, что почти невероятно. Но у него такой темперамент был юношеским, а у нее постоянным. В поэзии двадцатых годов в основные вехи учебы — «Столбцы» Заболоцкого, «Орда» и «Брага» Тихонова. «Юго-Запад» Багрицкого. Пастернак тех лет — весь: живой и открытый урок живого вбирательного отношения к миру. Поразительно солнечное по природе дарование, поэтическое насквозь. Он даже в быту говорил как бы стихами. Поздний Пастернак менее концентрированный, но в чем-то человечески мне ближе. Пастернак никогда для меня не заслонял других путей в поэзии, но дал так много, что не отблагодаришь. У Асеева нравилось только «Синие гусары», «Лирическое отступление» и «Маяковский начинается». У Кирсанова я всегда учился владению формой стиха, особенно рифмой. В Светлове очаровывала его интонация. «Верка Вольная» Мих. Голодного — это, может быть, исток моих монологов в «Братской ГЭС». У Луговского больше всего когда-то была близка «Курсантская венгерка», а недавно был потрясен «Алайским рынком». Павел Антокольский всегда заражал упругостью формы. Больше всего люблю «Санкюлота». Павел Васильев с его «Принцем Фомой» дал мне форму будущих баллад. Борис Корнилов — чувство штормовой качки стихов. Леонид Мартынов подарил мне неоднократно использованную мной интонацию. Я честно посвятил ему стихотворение «Окно выходит в белые деревья». В халхин-гольских стихах Симонова исток моих нерифмованных опытов,— вспомните хотя бы его стихи «Сверчок» и мои «Снег в Токио», «Мама и нейтронная бомба». Без фронтового поколения такой поэт, как Евтушенко, был бы вообще немыслим. Множество моих стихов пересыпаны интонациями Луконина, Межирова, Гудзенко, Львова. Слуцкий научил меня тому, что и прозаизированный стих может оставаться поэзией. Кажется, я пропустил Кедрина, а напрасно. «Зодчие», «Алена Старица», «Федор Конь» — без всего этого я не написал бы своих исторических поэм. Твардовский повлиял на меня больше всего, пожалуй, даже не Теркиным, которого я очень люблю, а стихотворением «Из фронтовой потертой книжки». Смеляков — всей своей поэзией. Личная дружба с ним была мучительным, но тоже уроком. Появление в поэзии стихов Ваншенкина «Мальчишка», Винокурова «Гамлет» вырвало меня из плена газетной риторики. Что-то открыли во мне песни Окуджавы. В. Соколов — первый из певцов нашего поколения — был учителем моей юности. Стихи моих ровесников — Рождественского, Вознесенского, Ахмадулиной — влияли на меня в юности непрестанно, как, наверное, мои стихи — на них. Недавно я смотрел фильм, где мы все вместе выступали в 62-м году в Политехническом, я плакал, думая о том, как многое связывало нас в юности. Теперь все стало иначе, но я уверен, что существует какая-то нить, связывающая нас и поныне, и этой нити никогда не разорвать, даже нам самим.

В заключение я хотел бы высказать сожаление о том, что мне не пришлось учиться ни у одного поэта, который пришел бы в поэзию после нашего поколения. Не потому, что мне не хотелось или не хочется, а просто потому, что таких возможностей, видимо, не было.

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ

1. Ничем. По форме умелые подделки могут быть даже лучше срифмованы. У каждого свой вкус, и песня «Я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке — родинка, в глазах — любовь...» сотням тысяч людей кажется (казалась) образцом высокой поэзии. Высочайшей. Так что дело в критериях. В системе оценок. В зрелости читателя. У каждого свои собственные настоящие и ненастоящие стихи. Есть для кого-то вершина в Асадове, для кого-то в Пастернаке, а для кого-то в подзаборных частушках. Так что, повторяю, надо говорить о вкусе. Деревенские девушки переписывают друг дружке в альбомы немыслимую муру, а попробуй скажи им, что это мура!

Так что дело, наверное, в том, насколько стихи, как и всякая другая литература, находятся на твоем уровне причастности к мировым заботам. Настоящая поэзия связана с настоящими мыслями, и дело в твоем мыслительном уровне. Здесь опасен и снобизм. Но примитив опаснее всего. Умелые подделки сейчас чрезвычайно популярны в культурах многих капиталистических стран, развившись в «массовую культуру», в «китч». Очень плохо, что проблема «китча» не исследуется в культуре социализма. Это опасное явление. Но это уже другая тема.

2. Формально первые статьи обо мне написали Рыльский и Хикмет. Но отношений учитель — ученик у меня с ними не было. По-ученически я относился к Миколе Бажану и очень любил его, дружил с ним, но это опять-таки другая форма взаимоотношений. А сейчас я буду говорить банальности о Шевченко, Пушкине, Маяковском, Пастернаке, Незвале, Неруде (о ком еще?).

Очень многому я научился у товарищей, у ровесников, у людей, которые трудятся в литературе и не только в ней. Наверное, поэты происходят не только от поэтов: помню целые периоды в своей жизни, когда никого важнее художников для меня не было. Бывало, что я писал стихи только потому, что слушал музыку. Пожалуй, неизменным учителем всегда была жизнь — ужасно банальные слова, но это вправду так. Если бы я не был врачом, не ездил, не дружил с хорошими людьми, вряд ли бы я что-нибудь написал.

За что я благодарен учителям? За чувство ответственности и чувство стыда. Надо отвечать за свои поступки и стыдиться собственных плохих дел.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

1. Истинная поэзия от подделки отличается структурой. Старое сравнение алмаза со стеклом. Алмаз сияет сам собой. Во тьме над ним возникает купол сияния, чего не происходит со стеклом. Для этого нужно, чтобы на стекло упал свет луны. Оно отражает чужой свет.

В подделке нет своего света, она отражает чужой свет. Поэтому из тьмы веков сияет только подлинное искусство, а не подделка.

2. Чтобы ответить на этот вопрос, беру цитату из антологии, составленной доктором филологических наук Думитру Бэланом из Бухареста, а беру эту ци-

тату потому, что он сжато выразил то, что я ему наговорил однажды при встрече.

«Творчески осваивая традиции Блока (напевность строки, прозрачность,— правда, это влияние было недолгим), позже Кузнецов круто повернул и вступил в полемику со своим учителем; традиции Тютчева (в плане освоения мира) и в последнее время традиции фольклора (былины, исторические песни)».

БУЛАТ ОКУДЖАВА

1. Все, как и вообще все, зависит от меры таланта. Эта мера определяется чутким слухом, изощренным в поэзии вкусом, опытом и, как это говорится, сердцем. Литературоведы, наверное, могут обосновать эту меру теоретически, я же способен руководствоваться эмоциями и тем, что я перечислил выше, что, надеюсь, в какой-то мере усвоил за тридцать лет литературной работы. Читаю настоящее и ахаю, читаю ненастоящее и морщусь, а объяснить не могу.

2. Мои учителя в поэзии: Державин, Пушкин, Пастернак и фольклор. Я им благодарен за то, что они, позволив приблизиться к их высотам, показали мне, во-первых, сколь безграничны пространства поэзии, а, во-вторых, научили меня не обольщаться относительно моих собственных успехов.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

1. Конечно, большую роль здесь играет качество стихотворения. Но при такой постановке вопроса на первое место выступает **качество читателя**, его поэтический слух, который, как слух музыкальный, бывает врожденным, но бывает и развитым, даже благоприобретенным...

Сколько бы сами поэты ни давали определений поэзии, а она всегда только настоящая (иначе она просто не поэзия), перечислить все ее приметы просто невозможно. И потом, разве уж это так трудно — отличить подлинное чувство от ненастоящего?

Мне вообще кажется, что вопрос поставлен неточно. Стоит заменить в нем слово «поэзия» словом «живопись», и все встанет на свое место. В живописи «умелая подделка» имеет давнюю, даже знаменитую традицию. В поэзии как таковой — везло мне или не везло — я просто не встречал ни одного сознательного поддельщика, тем более умелого. Каждый из поэтов (особенно из плохих, но с набитой рукой) всегда считал, что он пишет от всей души.

Были подделки глав «Евгения Онегина», но они в итоге никого не обманули.

Чтобы подделать Пушкина, надо подделать не энное количество строк, а весь его Гений в целом, отражающийся в каждой его строке, что, естественно, невозможно.

Продолжить «Египетские ночи» на пушкинском уровне не удалось даже такому утонченному знатоку стиха, как Валерий Брюсов. Маяковский обиделся за Пушкина и написал известную эпиграмму, где сожалел, что пушкинский «кулак навек закован в спокойную к обиде медь».

Может быть, в известной мере на поставленный вопрос отвечают две строки Б. Л. Пастернака:

Здесь подлинник. Там бледность копий,
Здесь все в крови. Там крови нет.

Но ведь обязательно найдутся люди с вопросом: а как определить, что здесь — «в крови»?

Так что, на мой взгляд, ответ на вопрос, чем отличается настоящее от поддельного в поэзии, в большой мере определяется даже не качеством стихотворения, а **качеством самого читателя**, т. е. степенью его поэтического слуха, вкуса, его знания поэзии, его неподдельной к ней любовью.

2. Сначала приведу четверостишие из стихотворения Сельвинского, которое прочитал я в 1946 году, по-моему, в «Красной звезде». Стихи забыл, строфу запомнил:

Люблю великий русский стих,
Еще не понятый, однако,
И всех учителей моих —
От Пушкина до Пастернака!

Ни у кого я специально не учился. Как многие, впрочем. Но Маяковский (первая любовь) укрепил мою духовную опору (социальное чувство) и внушил постоянную жажду быть **похожим только на себя**. Пастернак подтвердил мое ощущение себя как части природы, пейзажа, необычайной огромности пространства, сосредоточенной и ощутимой даже в пределах одного городского двора. Чувству Родины не научишь, но Блок и Есенин доказали, что это чувство взаимно всерьез лишь как открытая интимность, как боль и радость, как любовь.

Заинтересованным и внимательным посредником между названными поэтами и мной, совершенно юным, была замечательная поэтесса Елена Александровна Благинина.

Если я у великих поэтов чему-то научился, то не тому, как писать стихи (чтобы писать, надо постоянно разучиваться), а **как быть поэтом**.

Поэт и непоэт — проблема социальная, нравственная. Один от другого отличается, как посмертная маска от живого лица, как штукатур от архитектора. Впрочем, есть прекрасные штукатуры-профессионалы, а вот прекрасных профессионалов-непоэтов не бывает.

Поэт в муках создает духовные ценности, непоэт — вымучивает литературу второй свежести. Помните, у Булгакова?

«— Но... Осетрину прислали второй свежести...

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — она же и последняя».

Вторая свежесть противопоказана искусству.

Итак, истинная поэзия отличается от умелой подделки, как...

А действительно, как?

Научного ответа на этот вопрос нет. По-разному отвечают на него поэты. Общий смысл ответов один: они не знают, что такое поэзия, но твердо знают, что это — продукт сугубо натуральный, естественный, природный, как воздух, как небо, как парное молоко.

Никогда еще никому не удавалось раскрыть тайну поэзии. Здесь, как и в разговоре о душе, слова бессильны. Говоря об отличии поэзии от умелой (очень умелой, блестяще умелой) подделки, чаще всего прибегают к сравнениям. Сравнивают стекло с бриллиантом, фаянс с фарфором, искусственный цветок с живым (еще добавляют: — Совсем как живой!).

Набросок Иннокентия Анненского «Что такое поэзия?» начинался словами: «Этого я не знаю. Но если бы я и знал, что такое поэзия... то не сумел бы выразить своего знания или, наконец, даже подобрав и сложив подходящие слова, все равно никем не был бы понят».

А мне вспоминается сказка Андерсена «Соловей». Там два соловья, в этой сказке. Один — живой, незаметный, невидный. Так, просто маленькая серенькая птичка. Другой — умело изготовленный, мастерски изукрашенный драгоценными каменьями — глаз не оторвешь. Поют оба. Рулады механической птички, поистине виртуозные, причудливые, ошеломляющие,— развлекали и услаждали слух. Но, заставляя восхищаться, оставляли людей равнодушными. А живой соловушка песенкой своей трогал до слез. Не только люди были покорены его пением — даже сама неумолимая смерть, заслушавшись, забыла о своих черных делах. Вот и вся разница.

Министры императора важно рассуждали: «Никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет живой соловей, а у искусственного все известно наперед...» Конечно, с искусственным было спокойнее. Бедные рыбаки тоже размышляли о механической игрушке: «Голос у него неплохой, и поет он почти так же, как наш соловушка, но все-таки не то. Чего-то недостает, а чего, мы и сами не знаем...»

Сколько воды утекло, но и мы до сих пор не можем определить, что же это «что-то»... Не можем определить, и все-таки знаем.

КРИТИКА И КРИТИКИ

Разговор о литературной критике носит весьма ответственный характер, потому что он происходит в то время, когда обновление жизни нашего общества требует для своей реализации объединения всех наших усилий. Критика непосредственно связана с конкретной динамикой идеологической жизни и призвана воздействовать как на литературный процесс, так и на общественное мнение.

Можно и нужно сказать, что многонациональная советская литературная критика не уклонилась от своего основного долга, она своевременно и верно оценила лучшие произведения последних лет, романы и повести Айтматова и Распутина, Быкова и Нурпеисова, Астафьева и Матевосяна, Катаева и Друцэ — десятки имен, известных не только у нас, но и далеко за пределами страны.

Но в последнее время сурово и резко говорилось и о неблагополучии в рядах литературной критики, о том, что комплиментарность и благодушие, с которыми еще вчера как бы свыклась наша печать, сегодня стали совершенно нетерпимыми. Время изменилось, требования к литературной критике круто возросли.

Всего год отделяет нас от XXVII съезда КПСС, теоретически и практически обосновавшего решительный поворот во всех областях жизни нашей страны. Оживилась и литературная жизнь — это очевидно. А критика — наиболее отзывчивая ее часть.

Необходимо восстановить атмосферу откровенного и открытого разговора о литературе, заново приучать дорогих наших весьма ранимых творцов к терпимости в отношении критики, приучать к отысканию в ней рационального зерна, а не враждебных выпадов. У большинства литераторов достаточно зрелости, достаточно силы и опыта, чтобы не допустить перерождения споров и дискуссий в групповую возню.

Не секрет, что зачастую справедливые упреки в адрес литературной критики выражаются в такой отвлеченной форме, что непонятно, к кому они относятся. Словно существует ведомство, отвечающее за литературную критику и хронически не выполняющее план по обработке валовой и штучной продукции издательств и журналов. Критический цех вообще — это условность. Каждый критик, настоящий критик — самостоятельная творческая личность. Но критические отделы того или иного печатного органа не условность. От их принципиальных установок многое зависит.

Хорошо бы преодолеть и недоразумение, связанное с появляющейся время от времени весьма эффектной статистикой, которая наглядно «демонстрирует» отставание критики. Дескать, из тысячи произведений за последние годы критикой отрецензировано всего около ста, то бишь план не выполнен на 90%! Скандал да и только! Но давайте опять скажем прямо: задачи критики не сводятся к количественным показателям, ее идеалом никогда не являлся поголовный охват всего, что выдано на-гора журналами и издательствами. Критика призвана улавливать характерные тенденции литературного процесса, осмысливать через него социально значимые явления. А литературный процесс делится на две весьма неравные части: на заметные неординарные произведения (тут счет идет на единицы, десятки) и на так называемый «поток» (тут счет может идти на сотни и даже на тысячи). Такова реальность. Вот если критика ошибается там, где «счет идет на единицы», она глубоко и серьезно виновата перед современниками и потомками. Вспоминается такой случай: Александр Блок в 1908 году пишет короткую рецензию сразу на 15 авторов. Там есть такие строки: «Стихи, с которыми я имею дело, составляют очень небольшую долю всего того, что уже торчит в книжных витринах... вы должны, читатель, посочувствовать моей растерянности... где же тут «разбирать»? Все равно всего не разберешь — жизни не хватит. Верчу в руках книги, книжки и книжищи и предаюсь самым безрадостным соображениям арифметического и статистического характера».

Через несколько лет в другой короткой рецензии «А. Ф. Мейснер. Седьмая и восьмая книги стихов» Блок находит точное определение этому количественному явлению в литературе. Он пишет о стихах многотомного Мейснера: «Многое совсем не бесталанно, но это — не поэзия, а так — русское, бытовое». И далее: «Мейснер — не поэт, а бытовое явление». Сказано не в бровь, а в глаз. Задачи критики — воспитывать вкус читателя, а вкус — категория качественная. Достаточно нескольких убедительных примеров, чтобы читатель мог дальше самостоятельно разбираться, отличать настоящую литературу от подделок под нее, от того, что Блок называл «бытовым явлением».

В последние годы продолжали сокращаться кадры квалифицированных активных критиков современной литературы. В силу объективных условий (и субъективных, конечно) многие боевые перья перекочевали в литературоведение, в историю литературы. Природа, как известно, не терпит пустоты. Вакуум стал заполняться псевдопрофессионалами, готовыми ловко выполнить любой заказ. Что греха таить, иным редакциям такие, с позволения сказать, авторы весьма удобны. С ними никаких хлопот. Они действительно оперативны, сообразительны, но можно ли закрывать глаза на их совершенную беспринципность? Хвалить — пожалуйста, ругать — пожалуйста!

Приходится возвращаться к статье А. Казинцева «Взыскательная критика и ее противники» («Наш современник» № 11, 1986). Приходится, чтобы продемонстрировать на примере этой статьи, «как не надо спорить». Мы уже выразили удивление в связи с тем, что А. Казинцев воспринял статью А. Мальгина «Лес рубят — щепки летят» («Юность» № 7, 1986) как злонамеренный выпад против самого журнала «Наш современник» с целью «подорвать доверие» читателей к нему. Но А. Мальгин позволил себе лишь оспорить линию отдела критики этого журнала, линию на захваливание «своих» и очернение «чужих».

За последние годы «Наш современник» напечатал немало значительных вещей, прежде всего в прозе, затем в публицистике. Но в критике журнала появилась тревожная тенденция. Свое мнение по этому поводу и высказал А. Мальгин. Какова же была ответная реакция?

Грубый окрик, иначе не назовешь. А. Казинцев в упомянутой статье не скупится на грозные обвинения в адрес «Юности». Придется обильно цитировать, чтобы читатели увидели, к каким методам «спора» прибегает А. Казинцев. Он пишет:

«Становление самостоятельной честной, руководствующейся выверенным эстетическим чувством критики пугает тех, кто привык пользоваться всеми благами «искусственно раздуваемой славы»... «Казалось бы, время сейчас изменилось, оно требует смелости и прямоты, и долг журнала с обязывающим названием «Юность» поддержать эти изменения, содействовать преодолению застоя, косности, самоуспокоенности. Но нет».

Итак, критика в «Нашем современнике» самостоятельная, честная, эстетически выверенная. Против выступает «Юность». Обратите внимание, против чего и почему: честная критика «пугает тех, кто привык пользоваться всеми благами...» — какие зловещие намеки!

А. Казинцев объясняет далее: «Литераторы, сознающие ответственность за судьбы народа, обретают в «Нашем современнике» всероссийскую трибуну. В ме-

ру таланта и сил они стремятся содействовать торжеству русской культуры. Они борются за утверждение ее великих принципов — гуманизма, народности, патриотизма». А. Казинцев так выделяет «российскую трибуну», как будто «Юность» виновата в том, что у нее трибуна — всесоюзная. Вдобавок А. Казинцев заявляет, что задача «Нашего современника» «в том, чтобы уберечь не только русскую природу, но и русскую культуру», «в рамках которой были... выработаны поразительно точные нравственные представления». С чувством неловкости за А. Казинцева приходится задать вопросы: от кого надо уберечь русскую культуру? почему только русскую? неужели у других народов не столь поразительно точные нравственные представления? неужели великие принципы — гуманизм, народность, патриотизм — относятся только к русской культуре? почему, собственно, А. Казинцев стесняется произнести слова «советская, многонациональная, интернациональная»?

И почему А. Казинцев присваивает «Нашему современнику» исключительное право радеть о русской природе и русской культуре? А остальные журналы и газеты этих проблем не касаются?

Итак, обозначены высокие цели «Нашего современника». Каковы же, по Казинцеву, позиции противников? Противники защищают «безликие произведения, выдаваемые за шедевры», «эстрадное кривлянье, вытесняющее со сцены и из быта дивные русские песни», короче говоря, «тут подход прямо противоположный тому, который демонстрирует журнал «Наш современник». Тут не забота о литературе, а плохо скрываемая забота за место в ней, за привилегии (опять эти намеки!), не подтвержденные реальным вкладом в искусство».

А. Казинцев полагает, что статью А. Мальгина следует понимать как акцию журнала «Юность», в которой сам А. Мальгин всего лишь «исполнитель», «инструмент». Но вот в № 10 «Литературного обозрения» появляется статья того же А. Мальгина «О пользе профессионализма», в которой, в частности, подвергаются критике опять же авторы «Нашего современника» А. Казинцев, Ст. Куняев, И. Шевелева. А это как понимать? Тоже как акцию «Юности», выступающей под псевдонимом «Литературное обозрение»?

Чем же еще грешит «статья автора «Юности», как любит называть А. Мальгина А. Казинцев? А вот чем: «Эта статья проникнута духом чинопочитания». «Чинная, чинопочитающая критика — достойный идеал». А под «чинами» разумеются Евтушенко и Вознесенский, которые, кстати, служебных постов не имеют!

Есть такой прием: подмена смысла. Евг. Бунимович в статье «Четыре дебюта» («Юность» № 4, 1986), в частности, пишет: «Такой взгляд на подростка не нов. Им охотно делятся со всеми желающими вечно недовольные старушки, сидящие у каждого подъезда». Казалось бы, ясно, речь идет об обывательском отношении к подросткам. Не секрет, что обывательски настроенные старушки у нас еще есть. И не только старушки. Что же делает А. Казинцев? Он тут же грозно набирает «идейную» высоту. Дескать, старушки, судачащие у подъезда, никогда, ни при какой погоде не бывают обывательницами, ибо они, твердит Казинцев, «не всю жизнь сидели у подъездов. В сорок первом им было двадцать пять... Не они ли отстаивали бесконечные рабочие смены в холодных цехах, не им ли приходилось оплакивать братьев, любимых, отцов?» Интересно, почему Казинцев не сказал, что они не только трудились в тылу, но и воевали? Стыдно и неловко становится от такой демагогии. Неужто Казинцеву было бы приятно, если кто-либо стал бы превратно истолковывать его, Казинцева, стихи, например, такие строки из альманаха «Поэзия» № 43 за 1985 год: «А в доме незаметно перемены», «ничего, ничего еще не изменилось» и категоричное «Ничего не изменится, слово даю...» истолковывать как выпад против перемен в нашем обществе, против перестройки? Разумеется, ничего подобного Казинцев и в мыслях не держал. Просто в его стихах преобладает благостное настроение — «будет света с избытком в полдневном раю» — и рай этот, так сказать, в шалаше, ибо стихи трогательно посвящены «Моей жене в годовщину нашей свадьбы».

Мы остановились на этом эпизоде, потому что он, к сожалению, характерен для уровня, на котором «спорит» Казинцев. Например, А. Мальгин считает В. Коркия поэтом и ратует за то, чтобы выпустили его сборник, а Казинцев в ответ «разоблачает» Мальгина, который якобы оперирует «высокими понятиями с прозрачной целью — помочь опубликоваться стихотворцу, являющемуся... его знакомым». Разрядка принадлежит Казинцеву — вы поняли, какой в ней зловещий смысл? Далее обнаруживается, что Коркия не просто знакомый Мальгина, а его «друг». Тут уж совсем конец скомпрометированному Мальгину!

Мы хотели бы спорить о литературе, не переходя на личности. Не поступая с оппонентами так, как это делает Казинцев, давая «характеристику» Мальгину: «почти полное отсутствие хотя бы конспективно обозначенной эстетической программы», «ему все равно, что отстаивать, — «экспериментальную» поэзию или стихи С. Михалкова», он «равнодушен к литературе» — разрядка самого Казинцева, — по его мнению, у авторов «Нашего современника» никаких недостатков не бывает. С этим мы не можем согласиться. Мы считаем, что можно критиковать и Ст. Куняева, и О. Волкова, и самого А. Казинцева, а не только Евг. Евтушенко, А. Вознесенского, В. Высоцкого, Ю. Кузнецова, Ю. Мориц. Более того, мы считаем, что никакая критика талантливого писателя «отменить» не в состоянии, так же как незаслуженная хвала не сделает из бездарности гения. А. Казинцев риторически спрашивает: «Так в чем же «повинны» авторы «Нашего современника», те же Ст. Куняев и О. Волков? «В том, что «замахнулись на самого Андрея Вознесенского, на самого Евгения Евтушенко — любимых авторов «Юности»? Получается так».

Отвечаем: так не получается. Недавно даже «Юность» упрекали в отсутствии пиетета к ним (О. Клинг в «Литературной газете», о чем мы писали в прошлом номере). Как бы то ни было, кого-кого, а Евтушенко и Вознесенского никто не ограждал от критики, и на отсутствие оной им жаловаться не приходилось. А что касается того, что они любимые авторы «Юности», то это не вся правда. Не только «Юности»!

Пожалуйста, критикуйте «Юность» и ее авторов. Но не приписывайте им разрушительных тенденций, предосудительных наклонностей и намерений воспрепятствовать нашему общему прогрессу. И, конечно, не обижайтесь на критику. Иначе литературного нормального спора, в котором заинтересованы все, кому дорого будущее нашей многонациональной советской литературы, не получится.

ОТДЕЛ КРИТИКИ.

P. S. Редакция получила множество писем в связи с публикацией статьи А. Мальгина «Лес рубят — щепки летят», большинство из них так или иначе касалось истории с могилой В. Высоцкого. Мы не собирались возвращаться к этому вопросу, но А. Казинцев, признав, что никакого захоронения под могильным холмиком «майора Петрова» не было, вдруг делает следующий вывод: «главное — выяснившиеся факты не отменяют ничего из сказанного им» (т. е. Ст. Куняевым). Ничего! А мы-то думали, что промелькнет хоть тень раскаяния...

Аркадий АРКАНОВ,
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

СЮЖЕТ С НЕМЫСЛИМЫМ ПРОГНОЗОМ

3.

В прошлом году, в апрельском и майском номерах «Юности», были опубликованы две главы документального повествования Аркадия Арканова и Юрия Зерчанинова, в котором наши авторы ведут рассказ о том, какой ценой сегодня завоевывается шахматная корона. Очередная глава посвящена прошедшим недавно матчам. А «немыслимый прогноз», который определял сюжет первых двух глав, обретает нежданные продолжения...

Рисунок А. Сальникова

А. А. «Фанаты» не долго скучали без шахмат, а те, кому они за два изнурительных матча успели поднадоесть, не долго отдыхали. Карпов, потерпев поражение и, главное, признав это, отвел свое войско на зимне-летние квартиры и очень скоро заявил, что намерен снова идти на штурм чемпионской крепости, в которой теперь «пировал» Каспаров. Иначе говоря, экс-чемпион официально заявил, что решил воспользоваться своим правом на матч-реванш в августе — сентябре 1986 года. «По натуре я оптимист»,— так сказал Карпов в одном из интервью. Фраза эта, несмотря на свою непритязательность, обошла тем не менее многие газеты. На нее так нажимали некоторые журналисты, будто она сама по себе гарантировала успех в предстоящем состязании. «Я, между прочим, тоже не пессимист!» — так заявил Каспаров на одной из встреч... Таким образом, шансы сторон уравнялись.

Снова начались пересуды по поводу того, где «они» будут играть и «за сколько»... Каспаров успел между тем уверить собравшихся в московском клубе «Спартак», что саму идею матча-реванша считает возникшей спонтанно, никому, кроме экс-чемпиона, не нужной, а потому на матч-реванш не согласится и готов идти на дисквалификацию. «Все равно,— сказал он,— Карпову рано или поздно придется опять встретиться со мной...» Затем последовал целый ряд встреч, совещаний, секретных переговоров, приездов и отъездов президента ФИДЕ, в результате чего оба соискателя пришли к соглашению и заявили, что выбирают для будущих боев два города — Лондон (?) и Ленинград...

Прошедшей весной в «Юности» вышли начальные главы нашего «Сюжета»... И у нас началась «веселая» жизнь. Совершенно неожиданно мы вдруг ощутили, что вся линия большеголового заинтересовала читателей больше, чем запутанные коллизии двух сражений мировых маэстро. Главный вопрос, ответа на который от нас требовали, формулировался просто: большеголового мы выдумали, или такой человек есть на самом деле? Приходилось давать уклончивые объяснения, дескать, конкретно Константина Леонидовича не существовало, но людей, подобных ему, мы знаем, а потому образ его является обобщенным, собирательным, взятым из жизни... В общем, говорили все то, что говорят авторы в таких случаях...

Надо сказать, что для себя мы посчитали фигуру большеголового отыгранной, как говорят, битой картой и решили в дальнейшем потерять его из виду — мавр (К. Л.) сделал свое дело... Однако... В начале июня прошлого года в редак-

цию «Юности» пришла вполне интеллигентная на вид женщина лет пятидесяти, математик по профессии. Представившись, она обратилась к Зерчанинову с вопросом: «Откуда вы знаете Костю?.. Как интересно! Я понимаю, что вы изменили внешность его и имя невесты закамуфлировали, потому что на самом деле ее зовут не Карина, как у вас, а Карима... Хотя вряд ли она выйдет за него замуж...»

Замечательный поворот!.. Совпадение? Предвидение?.. Эта удивительная жизненная подсказка коренным образом изменила наше первоначальное решение, и мы подумали, что материализовавшийся Костя может сыграть определенную роль в нашем дальнейшем повествовании... Но неожиданно появилась другая фигура, которая отодвинула этого Костю на второй план...

...У меня был друг. Собственно говоря, с ним ничего не случилось. Он есть. Он жив и здоров. И в то же время он был. Я не говорю загадками. Просто есть ситуации, настолько известные и узнаваемые, что подробно описывать их не имеет смысла... А если попытаться это сделать, то набор слов и понятий для этих ситуаций настолько расхож и нами же девальвирован, что применение этих слов и понятий придаст описанию примитивность и банальность, хотя для каждого конкретного человека подобная ситуация далеко не банальна. Поэтому ограничусь лишь формулой этой ситуации. И если вы во фразе «У меня был друг» глаголу «был» придадите женское окончание, то все станет ясным. Отношения с ней (назовем ее «Е») были для меня достаточно дороги... Но в начале июля 1986 года Е. вдруг резко перестала звонить и вообще, как вскоре выяснилось, исчезла. Ничего не сказав, уехала на время отпуска к морю, и, как оказалось, не одна...

Что ж тут поделаешь? Это жизнь, и в конце концов все нормально — одно непременно кончается, а что-то другое в этот момент начинается. Воспоминания и переживания у каждого свои, но воспринимать следует все как объективно существующую реальность и постараться не культивировать так называемый «остаточный образ»...

Через четыре недели Е. объявилась в телефонной трубке:

— Вы выдумали с Зерчаниновым своего «пожирателя мороженого», или он был на самом деле?

— Почему вдруг тебя это интересует? — спросил я.

— Потому что полтора месяца назад я познакомилась с ним у магазина «Колбасы» возле метро «Маяковская»... Он трескал мороженое и пожирал меня глазами...

— Ну?

— Не знаю, почему, я подошла к нему и спросила, не читал ли он «Сюжет с немыслимым прогнозом»... И знаешь, что он ответил? Он сказал, что он и есть большеголовый из этого самого «Сюжета...»

— Грандиозно! А дальше?

— А дальнейшее уже не во власти сознания... Мы не школьники, и незачем говорить о том, что и так понятно...

— И вы вместе уехали к морю?

— Мы и вернулись вместе... И вообще...

Так «материализовавшийся» большеголовый отыгрался на мне столь странным и жестким образом... Не пойму только, за что? К нему, как к персонажу, я относился очень даже хорошо...

Узнав об этом, мой друг Зерчанинов насел на меня:

— Если ты упустишь шанс с ним познакомиться, ни я тебе этого не прощу, ни ты себе этого не простишь!

— Добавь еще, что и читатель этого не простит,— сказал я.

— Да! И читатель этого не простит!

...Через несколько дней не без некоторого колебания я позвонил Е. и попросил познакомить меня с ее большеголовым. Е. — девушка достойная, лишенная подозрительности и отягчающих условностей, сказала: «С удовольствием! Ты увидишь, какой он замечательный».

Сережа (не Константин, заметьте) оказался чрезвычайно симпатичным молодым человеком двадцати восьми лет, инженером в одном из многих НИИ. Внешне он не имел абсолютно никакого сходства с большеголовым и на мой вопрос, почему он назвал себя героем «Сюжета», ответил, что он в этом убедился сразу по прочтении апрельского и майского номеров журнала. Он тоже спрогнозировал оба матча. Он тоже убежден был, что чемпионом мира станет Каспаров, а разночтения в деталях, в возрасте, в росте значения особого не имеют... У него в то время тоже было увлечение, которое звали Арина (не Карина, заметьте), но она вышла замуж... Впрочем, это относится к второстепенным деталям... А вот патологическая любовь к мороженому и манера поглощать его огромными порциями фатальна... «Каждый человек продуцирует импульсы в пространство, — сказал Сережа.— Разным людям соответствуют импульсы разной длины волны. И каждый человек способен воспринимать импульсы, идущие к нему из пространства, но не всякие, а только те, которые соответствуют его рецепторам. Мои импульсы соответствуют чьим-то рецепторам, в данном случае, вашим. Если бы вы были художником, вы бы меня нарисовали, но вы литератор. Поэтому вы меня описали словами... Детали могут не совпадать, так как полного совпадения чьих-то импульсов с чьими-то рецепторами в природе быть не может. У меня Арина, у вас — Карина... Но в целом вы изобразили меня. Я в том, что вам рассказываю, убежден, хотя могу предположить, что мои убеждения ошибочны... Хотите знать, кто встретится в суперфинале? Соколов с Карповым.

— Но почему Соколов?

— Матч выиграет Соколов, хотя мне более симпатичен Юсупов.

— По манере игры?

— Нет. Я в шахматах слабо разбираюсь. Но интуитивно мне симпатичнее Юсупов.

— Импульсы?

— Возможно...

Матч претендентов, который должен был начаться в Риге в начале сентября, на фоне матча-реванша смотрелся болельщиками и общественностью вторым планом, и результат его, казалось, никого особенно не интересовал. Пресса наша, надо сказать, своим возвеличиванием двух бесспорно сильнейших шахматистов современности создала между ними и остальным шахматным миром такую пропасть, что складывалось впечатление, будто Карпов с Каспаровым играют в настоящие шахматы, а все остальные — в игрушечные. С этим соглашались все, кроме... самих претендентов... Но об этом ниже...

Приближался матч-реванш в его лондонском варианте. Скажу сразу: ни Зерчанинов, ни я в Лондон не поехали... Это, впрочем, только нас касалось. Удивительно другое: не нашлось средств послать в Лондон хотя бы одного советского гроссмейстера, чтобы он квалифицированно с места событий освещал поединок на первенство мира между двумя советскими (!) шахматистами. Я понимаю необходимость строжайшей экономии валютных средств, но не до такой же крохоборской (грубо говоря) степени!.. В общем, шахматным праздником наслаждались англичане, с чем я их от души поздравляю, и представители множества других стран, которые могли наблюдать сражение с помощью прямой и непрямой телевизионной трансляции. Мы же с вами довольствовались в основном рукопожатиями перед каждой партией, которые нам показывали в программе «Время», и скупыми, вялыми, ничего не дающими комментариями весьма уважаемых мною двух-трех гроссмейстеров, которые давались с помощью доски, установленной в студии телецентра в Останкино... Справедливости ради напомню, что все-таки под занавес лондонской половины в столицу Великобритании вылетел гроссмейстер Сузтин, и мы смогли пару раз увидеть на наших экранах Алексея Степановича в элегантном черном костюме...

Лондонскую часть уверенно выиграл Каспаров. В очках чемпион мира имел «плюс один», но этот плюс мог быть и бóльшим. Как сенсацию расценили и просрочку времени Карповым, хотя его позиция к моменту падения флажка не сулила экс-чемпиону большого счастья... Много разных симпатичных и несимпатичных подробностей о первой половине матча узнал я от моего дорогого Александра Ширвиндта, который был в Лондоне в ранге туриста, и от корреспондента АПН Всеволода Кукушкина, аккредитованного на матче, но излагать их здесь считаю для себя делом неэтичным. Это, как говорят, их истории... Скажу только, что Ширвиндт привез мне несколько шикарно изданных бюллетеней (после каждой сыгранной партии) с подробными комментариями и диаграммами, с высказываниями известных «гроссов», с адресами ресторанов, где могли бы поесть гости матча, с рекламой (почему-то) «Столичной»

и диаграммой из одиннадцатой партии прошлого матча. На диаграмме была изображена знаменитая позиция, в которой Каспаров пожертвовал ферзя за ладью и решил партию в свою пользу. Только на поле d7, на том самом, где была взята каспаровским ферзем ладья Карпова, вместо ладьи стоял мешочек с надписью «10 000 фунтов стерлингов», напоминая денежное выражение «бриллиантового» приза, учрежденного англичанами за лучшую партию, сыгранную в Лондоне. Как известно, приз был поровну поделен обоими участниками за эффектно сыгранную ими одиннадцатую партию... В начале сентября участники перелетели в Ленинград. Одновременно в Риге начался матч претендентов. Мы разделили с моим другом Зерчаниновым обязанности: он в основном «курировал» Ленинград, я — Ригу...

Интересы наши столкнулись на другом. Вполне понятно, что Артур Юсупов и Андрей Соколов должны были вторгнуться в нашу шахматную «эпопею» новыми и весьма важными действующими лицами. Но кто из нас кого будет «вести»? Договориться мы не смогли и вынуждены были прибегнуть к слепому жребию с помощью обыкновенного «пятачка». «Решку» отвели Юсупову, а «орла» отдали Андрею, учитывая присутствие птичьего корня в его фамилии. Подбросили пятак, и, пока он падал к нашим ногам, «звеня и подпрыгивая» (знаменитый пример деепричастного оборота из учебника русского языка нашего детства), я назвал «решку». Если угадывал — брал Артура, а если нет — Андрея. Пятак уставился в небо «решкой»... Так мне «достался» Артур, за что я в скором времени поблагодарил судьбу и продолжаю это делать по сей день...

Ю. З. Мы бросали пятак, не поделив Юсупова. Знали, что он постоянно стремится к безупречным ходам не только на шестидесяти четырех черно-белых клетках... А о Соколове мало что знали. Не представляли, если на то пошло, Соколова как личность.

Что Карпов не возвратит себе чемпионское звание, я лично не сомневался. Карпов был двенадцатым чемпионом мира, но лишь двое из его предшественников не надломились, уступая корону, а еще один, как известно, не нашел внутренних сил даже на то, чтобы противостоять претенденту. А из тех двоих сбросим со счета Алехина, который отшучивался, что дал свою шахматную корону Эйве лишь на два года взаймы. Единственным исключением остается Ботвинник, железный Ботвинник, дважды возвращавший чемпионское звание. Но Карпов не походит на Ботвинника уже тем хотя бы, что в свои чемпионские годы не знал равных себе соперников — учился побеждать не Фишера, а стареющего Корчного...

Несправедливо было, конечно, что победителю финального матча претендентов навязали на этот раз дополнительное испытание — матч с экс-чемпионом, и, прикидывая, у кого было больше шансов в этом испытании выстоять — у Юсупова или у Соколова, я переставал огорчаться, что пятак упал на решку. Юсупов не раз терпел от Карпова чувствительные поражения — зарубцевались ли раны? А Соколов прошедшим летом был в последний момент включен в международный турнир, собравший всю шахматную элиту, где и сыграл впервые две партии с Карповым. В одной — победил, а в другой, играя черными, принял ничью, предложенную экс-чемпионом.

Погружаясь в эти расчеты, я не забывал, что многие — да что там, почти все! — профессионалы скептически оценивали шансы «счастливчика» Соколова уже в матче с Юсуповым, объясняя его нежданный взлет лишь фатальным везением. Крайняя оценка была дана Полугаевским: «Соколов играть не умеет». Но Таль, например, насколько мне было известно, относился к Соколову серьезно. Да и Ботвинник, встречаясь с шахматистами Большого театра, говорил, что Соколов занимался в его шахматной школе, и, хорошо зная его недостатки, он тем не менее убежден, что все недооценивают Соколова, который является очень сильным — типа Спасского — практиком.

Я никак не мог встретиться с Соколовым. Его тренер, Владимир Николаевич Юрков, внушал мне, что Андрей вообще сторонится прессы — дескать, предвзятые мнения и очевидные вопросы ставят его в тупик. Было известно, что Соколов любит играть на гитаре, а гитарист — человек компанейский, но, по словам Юркова, Соколов досадует, когда пишут, что он «неразлучен с гитарой». В шахматных изданиях я нашел несколько партий, прокомментированных Соколовым, но он был скуп в своих комментариях — и тут не спешил открыться.

В конце августа, сговорившись с Юрковым, что он передаст в пресс-центр матча необходимые бумаги для аккредитации меня и Арканова, я приехал на Рижский вокзал к отходу вечернего поезда. Соколов стоял на перроне рядом с Юрковым, но, распознав меня, сделал шаг в сторону и затерялся в вокзальной толпе. Я вновь увидел его уже в купе за несколько минут до отправления поезда и миролюбиво заверил, что у меня нет к нему никаких вопросов. Оценив возникшую позицию, гроссмейстер Соколов сделал резкий контратакующий ход:

— А я бы и не стал отвечать ни на какие ваши вопросы.

Неужто он мнил себя новым Фишером?

Но, как бы то ни было, после трех первых партий рижского матча, две из которых, играя белыми, Соколов сдал, возобновились разговоры, что хотя в предыдущем матче Соколов и победил Ваганяна с разгромным счетом, но лишь потому, что тот играл... еще хуже?!

Я захотел сам посмотреть, что происходит в Риге, а по пути на денек заглянуть в Ленинград, где предстояла четырнадцатая партия, которую Каспаров играл белыми...

В поезде рядом со мной обнаружился пылкий любитель шахмат, однако вовлечь меня в разговор о Карпове и Каспарове ему вряд ли удалось бы, не извлеки он из портфеля, уже незадолго до Ленинграда, две «Юности» с нашим «Сюжетом»: «Проглядите. Не пожалеете». Похвала для автора, как яркая лампочка для неразумного мотылька. Попробуй-ка удержаться — не взмахнуть крылышками... Я рассказал ему, как выдуман был К. Л., он же большеголовый, которого так удобно было обращать то в прогнозиста, то в экстрасенса, чтобы пройтись по кулуарным страстям, которые и по сей день бушуют на стыке Карпова и Каспарова, но обращенный нами в конце предыдущей главы в человека, мыслящего самостоятельно, К. Л., увы, исчерпал свою роль в нашем «Сюжете» и уже не возникнет теперь — ни в Ленинграде, ни в Риге...

Внимательно выслушав мои признания, сосед по купе осторожно поинтересовался:

— Неужели и выигрыш «Волги» — выдумка?

— «Волга» была. Арканов действительно купил десять билетов «Спринта» и на девятый выиграл «Волгу».

— В таком случае у меня деликатный вопрос: как часто Арканов предоставляет вам эту «Волгу» в пользование?

— Недавно мы ее поделили. Кинули жребий: мне достался кузов и ветровое стекло, а ему — все остальное.

— Я извиняюсь, конечно...

— Пожалуйста.

Из этого содержательного разговора (будешь знать, с кем откровенничать) мне помог выбраться другой сосед по купе. Сидел у окна, отгородившись газетой, и вдруг обратился ко мне, говоря, что и ему надо завтра быть в Риге, и предлагая сразу же, как приедем, отправиться на Варшавский вокзал и взять билеты на рижский поезд. Чтобы не рисковать.

Так мы и сделали. Но и в метро, пока мы ехали на Варшавский вокзал, и в очереди за билетами я уже не мог отделаться от ощущения, что знаю откуда-то этого предупредительного человека явно восточных кровей. Немногие фразы, которыми успели мы обменяться, не проясняли, кто он такой и где я прежде мог его видеть. А билеты мы взяли на 22.20 — более позднего поезда на Ригу не было. Мой новый — а может, старый? — знакомый предупреждал, что на моем месте он поспешил бы на поезд минут за двадцать до окончания игры. Чтобы не рисковать.

Я соглашался. Он вновь давал добрый совет.

Как раз в те мартовские дни восемьдесят пятого года, когда в Москве президент ФИДЕ Кампоманес прервал первый матч Карпова с Каспаровым, в Ленинграде открылся новый концертный зал, так и названный — «Ленинград». Кто мог подумать тогда, что лишь на этой — четвертой по счету! — сцене мы увидим, как ходом коня на d7, сделанным в озарении Каспаровым, завершится фактически этот многосерийный шахматный детектив. Найдешь ли в истории спорта двух соперников, которые бы так долго, соби-

рая миллионы зрителей (вот что значит — телевидение!), выясняли, кому, наконец, быть первым?

Но до хода конем на d7, который найдет Каспаров в двадцать второй партии, было еще далеко. Я же приехал на четырнадцатую (а по ленинградскому счету — вторую) партию.

Шахматы на берега Невы завез Петр Первый. Постоянным партнером его был Меншиков. Исход их самой первой партии — по прибытии на место новой столицы — неизвестен, но рискну предположить, что проницательный фаворит, зная характер Петра, не искал выигрыша. Взялся бы кто-нибудь сделать книгу: «История шахматной дипломатии». Материала хоть отбавляй — от седой древности до наших дней... А шахматный столик Петра сохранился — стоит в его доме-музее. Гордясь своими шахматными традициями (тут у Петра нашлись достойные продолжатели: Чигорин тот же, Ботвинник...), ленинградцы стремились, чтобы новый матч Каспарова с Карповым проходил в атмосфере менее помпезной, более шахматной, что ли, чем их предыдущие матчи, что было, заметим, в духе времени. Да и Карпов с Каспаровым, не забудем, успели за это время поменяться ролями... Жаль только, что билеты на матч, вздорожавшие до пяти рублей (любопытно, что с каждым их новым матчем билеты росли в цене), в кассы фактически не попадали, а места, забронированные — совсем как в Большом театре! — для иностранных туристов, порой пустовали.

Начало партии я смотрел из ложи прессы. Карпов принял «испанку», и это обещало немалые осложнения, но первые ходы оба делали, не задумываясь. Тем временем вдоль ложи прессы, храня достоинство, пронесла себя статная брюнетка. «Секретарша Кампоманеса»,— сказал всезнающий коллега. Провожая ее взглядом, я увидел и самого Кампоманеса, и вдруг меня осенило, что именно на Кампоманеса похож немыслимо мой дорожный попутчик. Их чуть различал, пожалуй, лишь цвет волос — у Кампоманеса седины больше. А на сцене было сделано уже семнадцать ходов, и тут чемпион наконец задумался.

Я спустился в пресс-центр, окунулся в его привычную суету, приправленную злословием, и представил, какие забавные породил бы сцены, придя сюда с двойником Кампоманеса. Но чего ради, если подумать, он приехал на день в Ленинград и спешит, как и я, в Ригу?.. А Каспаров, наращивая угрозы, исподволь переигрывал Карпова, и ощущение, что тот не устоит, нарастало. Вот гроссмейстер Кочиев увидел у белых ошеломительную комбинацию, завершавшуюся матовой атакой, хотя торжество его было недолгим — кто-то нашел за Карпова промежуточный ход, предотвращающий эту атаку. Нет, столь эффектной концовки партия не обещала, но без двадцати десять, когда я заторопился на поезд, Карпов уже успел угодить в цейтнот и никак не мог избежать безысходного эндшпиля...

Мой друг Арканов, утверждая, что он относился к большеголовому как к персонажу очень даже хорошо, немного лукавит. Нет, как к персонажу, нами придуманному и вроде бы неплохо придуманному, он относился по-отечески, гордясь, как говорится, его успехами. Но внутри «Сюжета» свои взаимоотношения с большеголовым выстраивал жестко — постоянно иронизировал и над его предсказаниями, и даже над его безобидной привычкой поедать в неумеренных дозах мороженое. А я, напротив, относился к большеголовому доверчиво, доброжелательно. Такой контраст, как нам казалось, окончательно убедит читателя в достоверности этого персонажа. При распределении ролей обошлось без споров: мой друг избрал иронию, а я — доверчивость. Узнав, как «материализовавшийся» большеголовый поквитался с Арканом, я утешал его, говоря, что в том, быть может, и есть высшая справедливость, что надо расплачиваться даже за свой вымысел. При этом не забывал, что сам — во всех отношениях — хорошо относился к большеголовому. Вот он и послал мне знакомство с двойником Кампоманеса...

Никакой мистики, как вы сейчас убедитесь, эта история не таит. В ту ночь, когда мы вместе ехали в Ригу, Аршак Артемьевич — так звали моего попутчика — все о себе рассказал.

Он оказался недоучившимся историком и к своим тридцати восьми годам сменил уже много профессий, хотя продолжал мечтать только о сцене. Изредка снимался в кино — его приглашали на эпизоды, когда требовались типажи с ярко выраженной восточной внешностью. Играл обычно басмачей или иных злодеев. Но как случилось, что он, сын армянина и кореянки, оказался так схож с филиппинцем Кампоманесом?! Еще в дни первого матча Карпова с Каспаровым, когда на наших телеэкранах замелькал Кампоманес, Аршак словно увидел себя самого лет эдак через десять и, чтобы уменьшить сходство, тут же сбрил свои короткие усики. Но куда денешься от друзей, которые заимели привычку то попрекать его, что в свое время без игры присудил Корчному победу над Каспаровым, то приставать с вопросом, кого теперь предпочел бы венчать лаврами. Именно эти поднадоевшие шуточки и подтолкнули его к идее... прыгскокинга (?!)

Он рассказал, что вот уже год работает библиотекарем в одном из новых районов Москвы и организовал при библиотеке драматический коллектив. Разве не в такой же окраинной библиотеке начинал Валерий Белякович создавать свой театр-студию? Только не подумайте, нет, что он себя новым Беляковичем видит. Но опыт, почему бы не позаимствовать опыт? Его ребята не так много еще умеют, но им есть что сказать. Он увлек их идеей перенести всю эту громкую историю борьбы за шахматную корону на сцену. Игру в шахматы предстоит заменить, конечно, другой игрой — вымышленной. Ради свободы от буквализма — ради обобщений. Он придумал, как ему кажется, хорошее название для этой театральной игры — прыгскокинг: шах-мат, прыг-скок... Игроки назовутся прыгскокерами, у них будет свой президент, и уж эту роль он возьмет себе!.. А прошедший вечер, как оказалось, он тоже провел на матче — был в черных очках, чтобы не привлекать внимания... Мне оставалось только спросить: значит, и в Ригу он едет на матч? Нет, сказал, в Ригу он едет... из-за меня.

Наступил мой черед расплачиваться за вымысел. Прочитав прошлогоднюю «Юность», Аршак Артемьевич не усомнился в реальности большеголового по имени Константин Леонидович, к прогнозам которого прислушивался даже его любимый артист Калягин (не скрою, Калягин охотно принял участие в нашей мистификации). Но случайно оказавшись со мной в одном купе и узнав, как было на самом деле, Аршак Артемьевич уверовал, что если мы с Аркановым выдумали такого большеголового, то нам ничего не стоит помочь ему — выдумать правила прыгскокинга. У него сложилась идея спектакля, и название игры было, а правила не придумывались. И он тут же решил ехать со мной в Ригу (тамошний матч его не занимал — шахматы как шахматы), чтобы в поезде без суеты и спешки, по-настоящему познакомиться.

Мы действительно проговорили всю ночь, обменялись телефонами. Аршак Артемьевич увлек меня своим прыгскокингом, и мне даже казалось теперь, что он лишь в профиль походит на Кампоманеса...

В Риге, на вокзале, мы распрощались. Я отправился в шахматный клуб, а он в аэропорт — вечером у него была назначена репетиция.

Я в тот вечер наблюдал Юсупова, который вновь искал выигрыш, и Соколова, который искал спасительные ходы, но на этот раз изобретательно, и четвертая партия была отложена в ничейном положении.

Удивляло, что во время игры они друг друга словно не видели, а каждый был целиком занят своими фигурами. Удивляло, что, как ни войдешь в зал, они сидят за столиком. И за кулисы не выходили, и по сцене не прогуливались, хотя могли бы. Это Карпов с Каспаровым обязались не заходить на сцене друг другу за спину... В Ленинграде одни яростно держали сторону Карпова, другие — Каспарова. А в Риге — в тот вечер, во всяком случае,— все спокойно

выжидали, когда Юсупов наберет свои семь с половиной очков...

О Соколове так говорили:

— Видит хороший ход в наигранных схемах, но в сложных многовариантных ситуациях...

— Солист, да только опереточный.

— В ближнем бою хорош, но Юсупов не подпускает его к королю, держит на дистанции.

Последняя оценка была самой авторитетной — принадлежала гроссмейстеру Багирову.

Когда матч уже завершится, Владимир Николаевич Юрков, тренер Соколова, скажет мне, что хотя до этого матча Андрей никогда не выигрывал у Артура, но был убежден, что пришел его час, что Артур не остановит его. Голова кружилась от успехов. А Артур вначале стоял как скала, и Андрей ударился об него и раз, и другой, и третий...

А. А. Когда я говорил, что аккредитовался в Риге, многие переспрашивали: «В Риге? Почему не в Ленинграде?..» Но мне хотелось быть в Риге, и не потому, что мы с Зерчаниновым разделили «сферы влияния»... Почему-то я был убежден, что очередной матч с чемпионом мира будет играть кто-то из «рижан». Сегодня известно, что Гарри Каспаров будет встречаться не с Юсуповым...

Шансы Соколова и Юсупова перед началом поединка я расценивал как равные. Первый предварительно разгромил Вагняна, что многими было квалифицировано как сенсация. Второй не оставил никаких иллюзий Тимману, что тоже вызвало удивление. Разница в возрасте между Андреем и Артуром не столь велика (неполных четыре года), чтобы учитывать этот фактор. Кривые успехов того и другого достаточно внушительны, хотя взлет Соколова более вертикален, чем солидный поступательный подъем Юсупова. Юсупов упорен, фундаментален, менее импульсивен, чем Соколов. Зато Соколов, «заступив» в двух попытках, в третьей может улететь за рекордный флажок. Так было в зональном турнире, так было в межзональном, так в конце концов произошло и в матче с Юсуповым. В силу целого ряда объективных причин я не смог присутствовать на матче с самого начала, и когда в первых трех партиях Юсупов выиграл две, и обе во французской защите, Зерчанинов, который в эти дни успел смотаться и в Ленинград, и в Ригу, атаковал меня: «Выезжай! Можешь не успеть!» Но мне почему-то казалось, что успею. Я был убежден, что Соколов не «посыпался», что досрочно матч не кончится, что все впереди... И действительно, в пятой партии (тоже французской) Соколов уже давил и, хотя партию не выиграл, но, видимо, кое в чем Юсупова поколебал. И в седьмой партии Артур уклонился от французской, предпочтя «испанку», и проиграл. Очковый перевес стал нормальным для такого матча — 4 : 3, и впереди еще половина дистанции. Тут я уже собрался ехать, но оргкомитет попросил меня повременить ввиду определенных трудностей с гостиницей, связанных с проведением масштабной дискуссии с представителями американской общественности. Это, кстати, привело к тому, что и участники матча провели несколько партий в Юрмале, что, в общем-то говоря, их не расстроило и не привело к разногласиям между ними. Я подчеркиваю это обстоятельство, желая обратить внимание на нормальность взаимоотношений соперников. Конфликты между ними были, но они решались исключительно за шахматной доской...

В «юрмальском» периоде матча (у главных шахматистов был «лондонский» период и «ленинградский», у претендентов — «рижский» и «юрмальский») Юсупов выиграл еще одну партию, и когда я, наконец, приехал, он вел в счете — 6 : 4...

Но прежде о другом. Не могу об этом не сказать — идеальная организация рижского матча: четкость, корректность, обязательность, вежливость, исполнительность... Какие еще есть слова, характеризующие организаторов матча? Все самые лучшие! Бюллетени, спецбланки, таблицы, газеты, телефоны, билеты — все было предоставлено. Обстановка в Доме офицеров своей мягкостью, теплотой и спокойствием напоминала мне далекое время детства, когда я впервые попал (не помню уж на какой) на чемпионат СССР в Москве в Центральном доме культуры железнодорожников (у трех вокзалов). Народу много, но не битком, интеллигентного вида дяди и много лобастых подростков, чувство какого-то единения, принадлежности к чему-то святому и таинственному, доступному только присутствующим... Общительность, отсутствие подозрительности и враждебности, полное равноправие вне зависимости от возраста и профессии. Аргумент в спорах один: «Ходи! Предлагай вариант!.. Убедил!»

В Риге я снова ощутил этот непередаваемый аромат шахматных взаимоотношений, так непохожий на едкую, с примесью порохового дыма, атмосферу единоборств последних десяти — пятнадцати лет...

В один день со мной приехал прямо с международного турнира гроссмейстер Лев Псахис.

— Вы сначала сюда, а потом в Ленинград? — спросил я его.

— Я туда вообще не поеду,— ответил Псахис.— У меня нет никакого желания унижаться перед кем бы то ни было в поисках билета... И потом там страшная битва, и шахматная доска, как верхушка айсберга, далеко не отражает всех деталей и нюансов этой битвы, а здесь играют в шахматы...

Псахис так воспринимал поединок в Риге. Я с ним согласен. Здесь шла игра. На самом высоком уровне (среди «остального», как сказал в свое время Юсупов, шахматного мира). Здесь выигрывали и проигрывали. Здесь проигрыш не означал конец жизни, а выигрыш не становился единственной целью жизни. Здесь шла игра — игра как одна из сторон этой сложной и неоднозначной жизни, в которой есть еще и заботы, и радости обыденного и духовного бытия, и непредсказуемые катаклизмы и трагедии... Здесь шла игра... В Ленинграде шло настоящее сражение. Армии выжидали. В штабах происходили смещения... В маленьком пресс-центре рижского матча были установлены две демонстрационные доски — одна для Юсупова и Соколова, вторая — для Каспарова и Карпова. Даю слово, мне иногда казалось, что вторая доска как-то больше, и фигуры на ней не деревянные, а живые, озлобленные, кусающиеся... «Впрочем,— думал я,— может быть, на том самом уровне Юсупову или Соколову тоже придется показывать зубы?» Сегодня, правда, мой риторический вопрос относится уже только к Андрею Соколову...

Итак, одиннадцатая партия рижского матча, в которой Юсупов играл черными, началась при счете 6 : 4 в его пользу. Честно говоря, в этот момент у меня не было сомнений; я приехал досмотреть концовку состязания и поздравить Артура. В этом были уверены почти все заинтересованные и незаинтересованные лица...

— Обратите внимание,— сказал мне Псахис после десятого хода,— в том, как сидит за столиком Андрей, есть какая-то обреченность... И партию Артур здорово поставил...

Псахис тоже был уверен в окончательном итоге матча. Не уверен был только один человек, в позе которого проглядывалась «обреченность», даже в тот момент, когда Юсупов отложил партию по чистой инерции, потому что сомнений в ее исходе уже не было ни у кого... Соколов в этой партии пошел на свою последнюю попытку и попал в планку (как говорят прыгуны в длину), и толкнулся здорово, и пролетел одним махом через всю пропасть этой безнадежной ситуации... И кто знает, может быть, он заодно преодолел и пропасть, которая образовалась между Каспаровым и Карповым, с одной стороны, и остальными шахматистами — с другой. По мнению Марка Дворецкого, тренера Юсупова, Артур в одиннадцатой партии в здоровой позиции вдруг сделал пару непостижимо слабых ходов, в результате которых попал под мощную атаку, защищался точнейшим образом и «дожил» до доигрывания, хотя на его месте другой бы «погиб» значительно раньше... Почему так произошло? Почему, по-прежнему ведя в счете, Юсупов проиграл и двенадцатую, и тринадцатую партии? Самый простой и безусловно верный ответ: это его Соколов заставил проиграть. Но не слишком ли он прост, этот ответ, при всей своей верности?.. Видимо, настоящая разгадка скрывается в каких-то глубоких карманах сознания, подсознания, особенностей характеров, отношений к жизни,

самооценок... И, наверное, что-то еще, уж совсем нематериальное...

Гроссмейстер Юрий Разуваев спустя несколько дней после окончания матча сказал мне: «Думаю, что не только Артур, но и любой сильный гроссмейстер способен был довести свое преимущество в два очка до победы. Это говорит не только о силе Андрея, но и о какой-то особой роли, которая уготована ему в истории шахмат».

...После того, как Андрей Соколов выиграл матч, недели через три, уже в Москве я спросил Артура, тяжело ли он перенес драму последних четырех партий? Он, как мне показалось, был откровенен:

— К своему удивлению, легче, чем можно было предполагать. Не подумайте, что я умаляю победу Андрея. Нет. Он победил заслуженно и закономерно, но у меня, как ни странно, даже наступило психологическое облегчение. И до матча и во время матча я иногда спрашивал сам себя: а смогу ли одолеть своего следующего противника, если выиграю у Соколова? И подсознательно сам себе отвечал: с любым противником смогу сыграть достойно, но с целой командой — вряд ли...

...А задавал ли себе подобный вопрос Андрей? Не знаю... Он не мой по жребию.

— Юра! — сказал я моему другу Зерчанинову.— «Орел» выиграл. Твоя взяла. Раскрути Андрея, как можешь...

Ю. З. Судьба обоих матчей решалась в один и тот же день, в один и тот же час. Третьего октября в начале одиннадцатого и Каспаров, и Соколов продолжали сидеть за своими столиками. Безошибочный ход в отложенной позиции сулил каждому победу не только в очередной партии... Наконец, записав свой секретный ход, каждый из них приподнялся (слышу, как в Ленинграде и Риге одновременно отодвигаются стулья), и Соколов быстрыми шагами ушел со сцены, а Каспаров кнопку часов не нажал и вновь углубился в расчеты...

У Соколова задача была попроще — не растерять очевидное преимущество. В безнадежной, казалось бы, матчевой ситуации он вдохновился примером Карпова и повторял в этот вечер его тройной успех...

А самого Карпова, как известно, даже три победы подряд не выручили. И дело не только в том, что Каспаров после этого отказался от злополучной защиты Грюнфельда и избрал ту единственно разумную тактику, которая и дала ему победу. Я убежден, что Карпов надломился еще в предыдущем матче.

Перепроверив свои расчеты, Каспаров вновь склонился над бланком и жирно обвел каждую букву и каждую цифру записанного хода: Ке5 — d7. В тот же миг Аннет Кин, жена английского гроссмейстера Раймонда Кина, продолжавшая сидеть в опустевшем зале, устремилась к выходу...

В специальной комнате, отведенной телевидению, Суэтин успел прокомментировать для Москвы отложенную двадцать вторую партию — умело, как и требовалось от него, избежал излишних эмоций и категоричных оценок, сказав, что, хотя у чемпиона лишняя пешка, но, как известно, в ладейном эндшпиле лишняя пешка победу не гарантирует и сделать более определенные выводы позволит лишь долгий ночной анализ. А перед камерой на фоне замысловатого шахматного пейзажа, специально выполненного художником, уже сидел гроссмейстер Кин, готовясь сообщить осиротевшим соотечественникам, что нового у вчерашних «лондонцев». В комнату вбежала Аннет и взволнованно сообщила мужу, что Каспаров передумал и изменил записанный ход. С этого Кин и начал, а в оценке отложенной позиции был даже более осторожен, чем Суэтин.

Да и в пресс-центре ни один из гроссмейстеров не увидел той удивительной комбинации, которая следовала после хода конем на d7. Каспаров скажет потом, что его постигло озарение... Кто брал в расчет этот ход? Бронштейн, например, убедительно показывал, как Карпов может сделать ничью! Самым проницательным оказался Александр Рошаль. «Пахнет жареным»,— говорил он.

И в ночном кафе гостиницы «Ленинград», к которой пристроен концертный зал, я увидел на столиках отложенную позицию. К нашей телевизионной компании подошел очень вежливый молодой турист и, старательно выговаривая русские слова, спросил Суэтина, а что будет, если Каспаров сходит конем на d7?..

Просидев всю ночь над позицией, Суэтин увидел, к чему ведет этот ход. И не один он увидел под утро, что у Каспарова есть выигрыш...

Удивительно другое — утром мастера и гроссмейстеры, комментируя для своих газет двадцать вторую партию, при оценке отложенной позиции ограничились лишь туманными фразами. Один писал, что у белых лишняя пешка, зато у черных — активные возможности... Другой утверждал, что реализация этой пешки затруднена и нас ждет интересный эндшпиль... Третий советовал принять во внимание, что ограниченность оставшегося на доске материала и активные позиции черных фигур оставляют Карпову определенные шансы на ничью...

Откровеннее других выглядел Тайманов, который писал в «Ленинградской правде», что все «в значительной степени зависит от записанного секретного хода чемпиона мира». Но тоже, увы, оговаривался— «в значительной степени»...

Уличать своих коллег в трусливости я не спешу. Многие из них наверняка стремились поделиться с читателями результатами своего ночного анализа, но в редакциях газет (как, впрочем, и на телевидении) почему-то держалось мнение, что в рассказе об этом матче желательны уклончивые, ничего не говорящие оценки. А один журналист получил втык только за то, что проявил наблюдательность и заметил: стоило, дескать, Карпову надеть новый, черный костюм, и он сразу выиграл три партии... Не случайно на заключительной пресс-конференции чемпион мира скажет, что когда нарушал свое правило — не читать газетных отчетов,— у него сразу портилось настроение.

Но воздадим должное «Ленинградской правде». Стремясь поддержать престиж своего маститого обозревателя, редакция сочла нужным дать такой комментарий к его рассказу об этой партии: «Теперь — о маленьком секрете. Когда вчера М. Тайманов уезжал из нашей редакции в концертный зал гостиницы «Ленинград», он сказал: «Если Каспаров записал свой секретный ход — Kd7, то выиграет при доигрывании, ибо именно этот шаг является определяющим в продвижении белых к победе. Иные же продолжения выигрыша не сулят». Кстати, не только М. Тайманов, но и международный гроссмейстер И. Левитина в субботу днем нашла победный план...»

А в пять часов вчерашние зрители пришли на доигрывание, и уже каждый знал этот выигрышный ход. Зал замер, когда Лотар Шмид, главный судья матча, начал вскрывать конверт. Каспаров дергался — ему казалось, что судья излишне медлителен. Каспаров спешил оправдать ожидания зрителей. А Карпов сидел с бесстрастным лицом, но когда Лотар Шмид развернул бланк, шея Карпова удлинилась и, склонив голову, он попытался как бы невзначай заглянуть в бланк...

— Стоп! — скомандовал режиссер.

И все трое — любопытствующий Карпов, возбужденный Каспаров и педантичный Шмид, образцово хранящий секретный ход шахматного коня,— замерли на мониторе телеавтобуса. Да, в тот вечер Эрнест Серебрянников и Кирилл Набутов, телевизионные короли матча, помогли мне еще раз увидеть и во всех подробностях рассмотреть эту «секретную» сцену.

В тот субботний день выиграл отложенную партию и Соколов и повел в своем матче со счетом 7 : 6. Ему оставалось лишь сделать ничью в последней партии, и он легко ее сделал. Блестяще провел эту партию — не дал Юсупову ни одного шанса на победу и уже в выигрышной позиции предложил ничью. По мнению Юркова, четырнадцатая партия — лучшая в этом матче у Соколова.

А не могу ли я зацепиться за цифру 14? Каспаров, прежде чем стать тринадцатым чемпионом мира,

не уставал говорить, что это его счастливая цифра. Следующий чемпион будет четырнадцатым. А единственный претендент сейчас — Соколов. Но в своих немногочисленных интервью цифровой темы он не касается. На всякий случай спрашиваю у Юркова, кем был Андрей в 14 лет. Обычным мальчиком, как выясняется, который учился играть в настоящие шахматы. Он одногодок Каспарова, на месяц старше его. Но, как шахматист, шел вперед значительно медленнее. Зато в последние годы берет все высоты с первой попытки — так было и на юношеском чемпионате мира, и на чемпионате СССР... И в претендентском цикле прежде не участвовал...

Юрков утверждал, что основу игры Соколова не понимает никто. Ну, а можно понять все же, что он за человек? Я поехал в МИФИ — в тот день, уже после матча с Юсуповым, Соколов встречался с шахматистами института.

Коротко, не впадая в эмоции, он рассказал, где играл и что выигрывал. Ответил на все вопросы, но как-то нехотя, словно ему внушили, что, уклоняясь от ответов, оставит о себе дурное впечатление, а это никуда не годится. Несколько приоткрылся лишь в двух ответах.

— Марки не собираю. Историю не изучаю,— сказал Соколов, когда его спросили об увлечениях.

Дал понять, что просит не подгонять его под эталоны Карпова и Каспарова.

А на прямой вопрос, как он расценивает свои шансы в матче с Карповым, Соколов ответил, что Каспаров не прав, говоря, что он, дескать, не осознает, с кем ему предстоит играть.

— Я прекрасно представляю, с кем буду играть. Я дважды встречался с Карповым: белыми выиграл, черными сыграл вничью.

Да, известно, что в предстоящем матче Каспаров отдает предпочтение Карпову. А на пресс-конференции в Ленинграде, оценивая матч в Риге, он говорил, что там все решалось на финише — у кого нервная система окажется крепче...

Юркова, замечу, мнение чемпиона мира не огорчает:

— Очень хорошо! — восклицает он.— Если бы и Карпов так думал...

Кто знает, как думает Карпов? А о своей неудаче в партии с Соколовым на турнире в Бугойно он говорил так: «...очень слабо провел я партию с Соколовым. В отличие от Андрея, он-то свое дело сделал четко. Огорчило другое: Соколов выиграл у меня так, как я не раз побеждал в той же испанской партии многих гроссмейстеров».

Соколову играть в Бугойно вроде бы не понравилось: не турнир, а цирк — игра на деньги. Скучно! Скрасили настроение лишь партии с Карповым.

А. А. «Самозваный» большеголовый Сережа сказал мне:

— Теперь Соколов выиграет матч и у Карпова, а дальше посмотрим.

— Ничего себе уверенность...

— Увидите. С особой ясностью я это понял после просмотра передачи об итогах матча между Каспаровым и Карповым. Помните? В середине ноября по ЦТ. Гафт за кадром читал...

— Еще бы. Конечно, помню. Я ждал эту передачу, но она оказалась довольно слабой.

— Не в этом дело,— продолжал Сережа.— Я смотрел, слушал, сравнивал, сопоставлял... И пришел к определенному выводу: если Каспаров был на гребне «новых» шахмат по отношению к Карпову, а я имею в виду не только трактовку самой игры, но и всего того, что этой игре сопутствует, то Андрей Соколов принципиально отличается уже не только от Карпова, но и от Каспарова!

— Чем же? — спросил я.

— Хотя бы тем, что, кроме тренера, у него, по сути дела, нет постоянных помощников...

— Они могут появиться.

— Тем хуже для него. В коллективной борьбе у него меньше опыта и меньше шансов... Он должен быть рыцарем одиночества... Извините за неожиданную красивость... Есть сочинители музыки, и есть исполнители этой сочиненной музыки. Если бы не было музыки, нечего было бы исполнять. Для меня шахматист — это и сочинитель, и исполнитель в одном лице... Ссылки на то, что шахматы накопили колоссальное количество информации, партий, вариантов идей, освоить которые один человек не в силах, для меня неубедительны. Пусть каждый талантливый шахматист сам все это осваивает и усваивает, накапливает и интерпретирует в меру своего дарования. Иначе дойдем до того, что создадим некий мозговой центр, который переработает и осмыслит всю накопленную информацию, обогатит ее свежими идеями и передаст для исполнения талантливому индивидууму, обладающему незаурядной памятью и хорошей техникой... Но какое это будет иметь отношение к соревнованию между двумя конкретными личностями?

Тут я вспомнил опять Юсупова, который не без иронии сказал мне недавно: «Имея высококвалифицированный штаб, не обязательно детально разбираться в эндшпиле. Надо только довести партию до эндшпиля, отложить, сдать ее на анализ своему штабу, а на следующий день точно исполнить предписанное, не перепутав порядок ходов...»

— Я отдаю дань, Сережа, вашему романтическому накалу, но вы идеалист. А обстоятельства, окружающие нас, достаточно реалистичны. Это, во-первых. А во-вторых, вы сами признаете свою шахматную некомпетентность, а мнение компетентных специалистов во всем мире таково, что Анатолий Карпов — один из сильнейших шахматистов за всю историю этой игры и он обладает необыкновенным даром создавать такие ситуации и такие позиции, в которых чувствует себя, как рыба в воде...

— Вы правы,—произнес Сережа, улыбнувшись так, словно я угодил в его ловушку,— но я почему-то уверен, что и у Соколова есть свое пространство и свое время, в которых он чувствует себя, как птица в небе...

Ю. З. Почему же мой друг Арканов так и не познакомил меня с «самозваным» большеголовым Сережей? Я-то его с Аршаком Артемьевичем Некампоманесом уже давно познакомил.

— Вы не обидитесь,— спрашиваю я недавно,— если поинтересуюсь: кому бы вы отдали победу в предстоящем матче?

— Я должен отвечать за Кампоманеса?

— Да, такая игра...

— Я вас понял... Так вот, шахматный президент не склонен огорчать шахматного чемпиона. Так было, так будет. Мой ответ вас устраивает?

— Я ставлю себя на место Соколова...

— Он хорошо играет на гитаре?

— Мне кажется, в шахматы он играет лучше.

— Чем кто?

— Чем на гитаре.

— А разве я с вами спорю?

Поговорили и о белом коне, который ждал Каспарова у трапа самолета, когда он возвратился из Ленинграда домой. Эта история—как встречали в Баку чемпиона,— распространяясь в Москве, обретала волнующие подробности: Гарик, знавший лишь коней шахматных, не спасовал, лихо оседлал и живого коня... Коля, шофер Каспарова, правда, клянется, что из аэропорта вез Гарика на машине. Но, с другой стороны, разве не мог тот белый конь d7 материализоваться? В наш век и не такое случается...

Андрей
КУЧАЕВ

ТЯГА К ОТКАЗУ

Фельетон

Мы живем все лучше, товаров и возможностей все больше, а вместе с тем народ постоянно отказывается от чего-нибудь. Причем на совершенно добровольных началах. Например, от сладкого — лишний вес. От мучного — пузо. От жареного — язва. От соленого — пить хочется. От острого — становишься тупым (в смысле остроты восприятия). От кислого — хочется сладкого, а уже нельзя. От ходьбы — во имя бега. От бега — во имя джоггинга (то есть ходьбы).

Отказываться стало модно. Если человек не хочет ни от чего отказываться, он выглядит страшно несовременно. Вообразите себе только типа, который еще вчера был привычным. Этот тип говорил: «Ничего, буду все есть без разбору — пока толстый сохнет, худой сдохнет!» И все его поддерживали. Или: «Курил и буду курить — помните Куприна? — что он говорил? «Древние греки не курили, а все равно все вымерли!» Нет! Таких людей больше нет! То и дело слышишь: Бросил! — Когда? — Да уж год с лишком. А ты? — Собираюсь.— Все никак. Но надо! Надо! — Этот разговор универсален. Вы спросите меня, а как же «вещизм»? Приобретательство, нетрудовые доходы? Ведь если повальный аскетизм идет, то эти пережитки умрут без всяких усилий со стороны милиции и фельетонистов. Я тоже так думал. Пока не стал свидетелем одной истории. Она меня заставила задуматься.

Я знаю человека, который раньше всех начал от всего отказываться. Интуиция. Почуял моду раньше всех. Понял выгоду и пользу отказа от того или иного. Его фамилия Замашкин. В девять лет он бросил курить и больше не начинал. В шестнадцать вместе с паспортом получил последнюю в своей жизни рюмку из рук беспутного отца. Больше не пил ни капли. Бросил. А заодно бросил беспутного отца. Поступил в институт на физико-химический и бросил почти сразу: сумел взять под уздцы самолюбие и задавил в себе карьериста. Пошел паркетчиком. Бросил, потому что скользкое дело. Взялся за обивку дверей — тоже бросил, потому что нашел за одной дверью женщину, которую взял в жены и пошел к ней под начало: она завмаг, он — продавец, потом завсекцией, потом зам. Потом ревизия. Потом конфискация имущества. Жены. А он все сам бросил: жену, имущество, детей, работу. Отказался от всего и остался честным и чистым. Пошел форточником. То есть не в старом понимании этого слова, а в новом: современные дома делают без форточек, а люди их любят и не все еще отказались от них. Он им открывает форточки в большой мир. В месяц совершенно честно зарабатывает... Не будем уточнять. Ровно столько, сколько нечестно можно заработать за два месяца. И то не всегда. Один. Семьи нет. Алименты не щиплют: пока не зафиксирован у фининспектора, частник-ремесленник, оформленный в фирме «Заря». Не курит. Ну, разумеется, не пьет. Ест только орехи и изюм, причем мало. Машиной, транспортом не пользуется — бегает всюду на своих двоих с рюкзаком. Живет в служебном помещении (оформлен еще при дэзе, жилконторе по-старому). Затраты минимальные. Все привязанности давно бросил. Чувствуете? Вызревает идеал. Но вот тут-то и история, которая заканчивалась грустно. Ожоги разной степени тяжести. Дело было так. Загорелся дом, где он квартировал в служебном помещении. А надо сказать, что на окнах того помещения — решетки. Однако он пролез бы (в момент пожара он спал, коридор захватило огнем — путь закрыт), потому что был худ, как щепка. Но он не пролез. Помешал мешок. Чехол от матраса, набитый сторублевками. Он его почему-то не бросил. Вот и вся эпопея. Спасли, конечно. Не сторублевки — его самого. Люди отдали свою кожу. И кровь.

— Скажи,— спросил я его,— научила тебя чему-нибудь эта история?

— Ага,— говорит.— Надо деньги на книжке держать.

— А кожа,— спрашиваю,— кровь как? Все-таки на шестьдесят процентов чужое. Не беспокоит?

— Беспокоит,— говорит.— Шевелятся вредные привычки чужих людей, огоньки неизжитых желаний местами будоражат, чешутся родимые пятна чужих пережитков. Встану — начну бег, гимнастику, диету — изживу!

Вот я иду от него из больницы и думаю. Думаю о тех людях, которые еще не бросили своих вредных привычек: кто кружку пивца трахнет, кто «Дымком» затянется, кто жареного съест, кто острого, а кто и сладкого отведает... Пора им бросить свои вредные привычки. Очиститься. Чтобы кожа и кровь у них были безупречными на случай, если придется пожертвовать их очередному Замашкину. Если, конечно, они и этой привычки не бросят — отдавать ближнему свою кровь. Бесплатно. Тоже ведь не безвредная привычка. Для организма, я имею в виду...

Рисунок И. Оффенгендена

АВТАНДИЛ ЛЕЛАДЗЕ г. Кутаиси.

Его работы всегда вызывают споры, они активны, взрывчаты. Сам же Автандил — воплощенная мягкость, деликатность, внимание.

Мы познакомились на Сенеже, вместе работали в Доме творчества художников. Писал он без видимого усилия. У тех, кто плохо знал его, это создавало ложное впечатление легкости, безмятежности, самоуспокоенности. Но я знал — он никогда не бывает доволен своими работами.

Когда мы разъезжались, рулон Автандила был пугающе огромен, а он сетовал: вот если бы мы побывали у него в Кутаиси, он показал бы нам, сколько сделано...

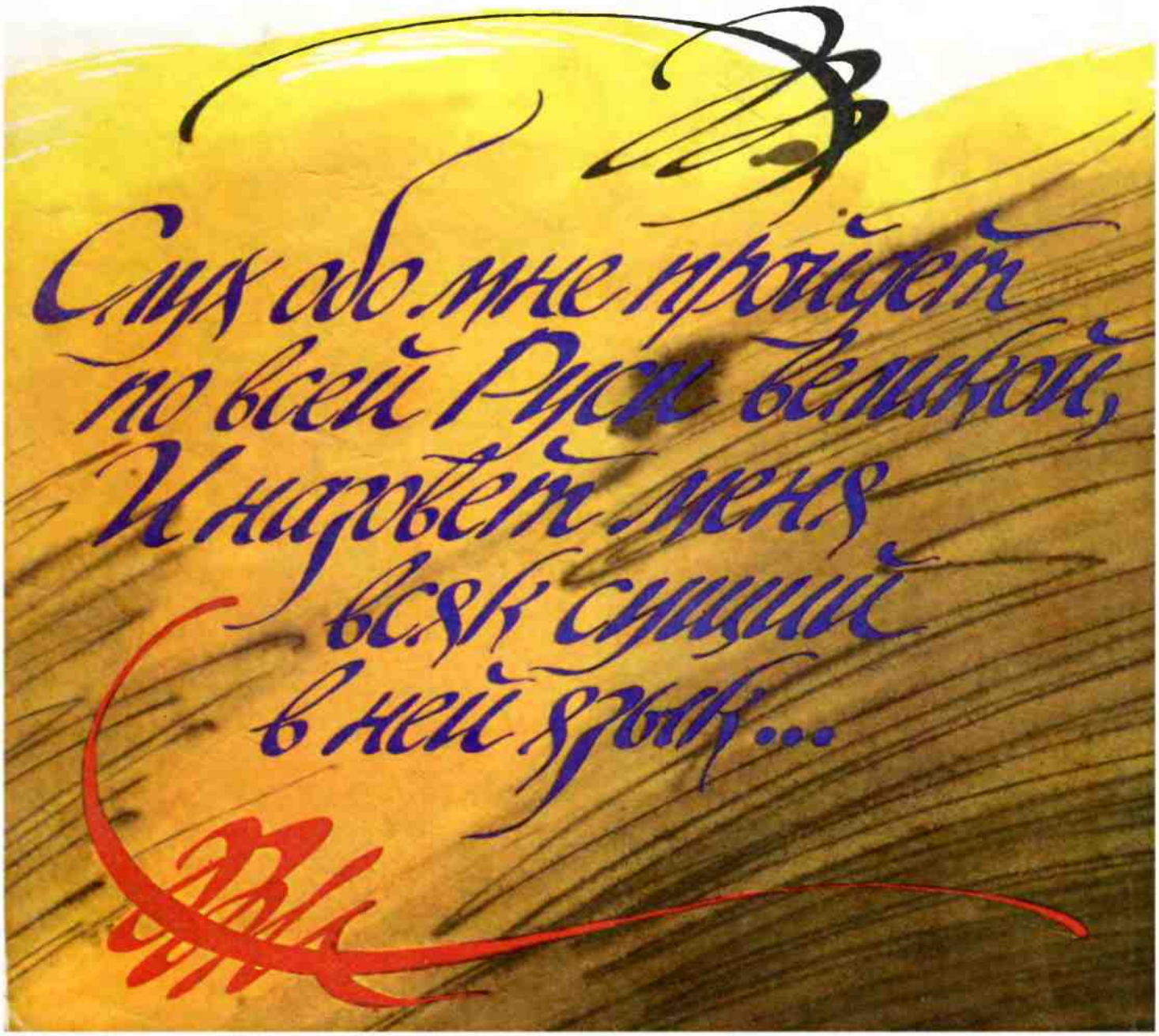
На Сенеже один за другим писал он портреты своих товарищей-художников, в том числе групповой, где стоит нас пятнадцать человек. О сходстве говорить не приходится: сама сущность пластики человеческого лица передана так, что подходишь и видишь — да это же такой-то!

Вот висят портреты в одном зале, одним художником написанные,— Автандилом Леладзе. Но каждый таит в себе неожиданность, внезапность, почти детскую открытость впечатления — качество, особенно ценимое мною в художнике, свидетельство его таланта...

А. ГАНЕЛИН

Дворцовый мост в Ленинграде.

Портрет Маринэ.

Портрет Т. Гуреидзе.

Юность. 1987. № 2. 1—96.
Индекс 71120
Цена 70 коп.